

ISSN 0131-6044

РОМАН-14 ГАЗЕТА

(1140) · 1990

Валентин Пикуль
·
ЧЕСТЬ ИМЕЮ





СТРАНИЧКА
ЧИТАТЕЛЯ

«Все, что печатает «Роман-газета», интересно, жду продолжения романа «Дети Арбата». Но особенно меня поразил, удивил, затронул роман П. Проскурина «Отречение». Давно уже прочла, а мысли постоянно возвращаются к нему.

Робустова О. И.
г. Ленинград».

«подавляющая часть произведений, опубликованных в прошлом году, были интересными. Лучшие из них: «Красные дни», «Мужики и бабы», «Кануны». Самое слабое — «Дети Арбата». Хотелось бы почитать роман В. Успенского «Тайный советник вождя». Плюрализм должен быть не только на словах, но и на деле.

Большаков В. Ф.
г. Москва».

«Хочется сказать большое спасибо за интересные произведения, опубликованные вами. На мой взгляд, прошлый год для «Роман-газеты» и, естественно, для нас, читателей, был очень удачным. Хотелось бы больше исторических романов. Ведь мы очень плохо знаем свою историю, и в этом беда наша.

Карабан В. А.
г. Улан-Удэ».

«Тираж «Роман-газеты» позволил донести до народа и сделать общественным явлением произведения, мягко говоря, не обласканные критиками. В первую очередь это относится к роману-хронике А. Знаменского «Красные дни». Большое впечатление произвели также книги В. Лихоносова «Наш маленький Париж», Ю. Лоцица «Дмитрий Донской», В. Белова «Кануны».

Коровина Н. М.
г. Обнинск».

Подводя итоги анкеты на лучшую публикацию «Роман-газеты» в 1989 году, сообщаем, что наибольшее количество голосов получили следующие произведения:

№ 13—14. Пикуль В. Каторга.
№ 1, № 2. Знаменский А. Красные дни.
№ 7, № 8. Рыбаков А. Дети Арбата.
№ 9—10. Лоциц Ю. Дмитрий Донской.
№ 5, № 6. Можаяев Б. Мужики и бабы.
№ 15, № 16. Белов В. Кануны.
№ 3—4. Смирнов В. Заулки.

В 1989 году Б. Можаяеву за роман «Мужики и бабы» присуждена Государственная премия СССР, А. Знаменскому за роман-хронику «Красные дни» и В. Смирнову за повесть «Заулки» присуждены Государственные премии РСФСР.

Благодарим всех за участие в обсуждении нашей анкеты.

РОМАН-14

ИЗДАНИЕ
ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО
КОМИТЕТА
СССР
ПО ПЕЧАТИ
МОСКВА

ГАЗЕТА

(1140) · 1990

Основана в 1927 г.

Валентин Пикуль

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

Исповедь офицера российского Генштаба

Роман

6. ХВАЛА МАТЕРИ

Певческий мост, Вильгельмштрассе, Уайтхолл, Балльплатцен, Кэ д'Орсэ и Консульта в Риме — всюду, где копилась нервная и умственная жизнь дипломатии, сразу возникало ошалелое смятение, пугливая оторопь, алчная радость или предположения, кто выиграл, а кто проиграл от выстрелов в Сараево?..

Надо же было так случиться, что выстрелы на реке Милячке совпали с народным праздником, вся Сербия отмечала день Видовдан, в кафанах Белграда сербы поднимали стаканы с вином, поминая стародавний подвиг Милоша Обилича, который зарезал султана Мурада в его же шатре. Когда же до Белграда дошло имя Гаврилы Принципа, его сравнивали с Обиличем. Столицу королевства охватило всеобщее ликование, прохожие обнимались на улицах, поздравляя один другого:

— Наконец-то мы расправились с этим толстяком! Это наше право — мстить Вене за свои унижения... Нет, мы не простили этим зазнайкам потерю Боснии и Герцеговины!

По наблюдениям немцев, «нафантазированная чернь предалась самому необузданному взрыву страстей, который, если судить по многочисленным излияниям одобрения, можно характеризовать как положительно нечеловеческий». Это понял и премьер Никола Пашич, велевший пресечь все восторги на улицах, ибо народ, восхваляя Обилича, подразумевал убийцу эрцгерцога Франца Фердинанда. Когда же премьера навестил австрийский посол барон Гизль, Пашич выразил ему сочувствие, намекнув:

— Террористы из Сараево — это подданные вашей короны, вот вы сами и разбирайтесь... нам их не жалко!

О покушении в Сараево, как и обо всех других несчастиях в семье Габсбургов, императору Францу Иосифу осмелилась доложить акушерка Шраат. Старый император заплакал:

Окончание. Начало см. «Роман-газета» № 13 за 1990 г.

— Есть ли на этом белом свете хоть одно тяжкое испытание, какое бы миновало меня?.. в моей жизни ничего не пощадили! Нет сына, нет жены, а теперь убрали и наследника...

Никто в Австро-Венгрии — ни венгры, ни славяне, ни сами же немцы — слезинки по убитому не обронил; напротив, в кругах высшего света воцарилось веселье, и аристократы даже оскорбляли покойного, а дамы посмеивались над убитой графиней Хотек, которая — вот дерзость! — осмелилась носить титул «графини Гохенберг». Гулянье на Пратере не отменяли, улицы Вены наполнила музыка... Маркиз Монтенуово, внук императрицы Марии-Луизы (второй жены Наполеона I) от ее второго брака, заявил архицинично, но вполне разумно:

— Нам давно был нужен предлог, чтобы поставить Сербию на место — в углу на коленях, и Франц Фердинанд дал нам его, а теперь его задача в этом мире окончена.

Еще точнее рассудил сам граф Берхтольд:

— Убийцам надо бы соорудить памятник! Они сделали нам в Сараево такой великолепный подарок, какого мы устали от них ждать... До сих пор мы только наступали сербам на пятки, а теперь сядем на них, чтобы услышать, как они пищат!

«Взрыв народной ярости» был умело подготовлен венской полицией, а заработать на лишнюю кружку пива — на это в Вене всегда немало охотников. Толпы людей, требующих отмщения, тащили по лужам мостовых сербские флаги, их сжигали на кострах, разведенных под окнами сербского посольства. Здание русского посольства заранее оцепили полицией, но мостовую перед фасадом посольства разобрали по камушку, чтобы высаживать оконные стекла...

Наконец на Балльплатцене стало известно, что в Сербии объявили траур по убитому эрцгерцогу. Накладывать траур поверх безудержного веселья народа — это все равно что готовить бутерброд, намазывая сверху варенья соленую икру. Конрад-фон-Гетцендорф доказывал графу Берхтольду:

— Я настаиваю на немедленной мобилизации, чтобы вразумить всю сербскую сволочь из пушек. Два-три хороших нажима дипломатии, после чего форты Землины и наши мониторы с Дуная превратят Белград в хорошее кладбище...

Балльплатцен договорился с военщиной: не объявлять мобилизации до тех пор, пока не станут ясны результаты следствия в Сараево — кто стоял за спиной убийц, кто взводил курки их револьверов? Начинался душливый, изнуряющий июль, памятный всему человечеству своим кризисом. Австрийская дипломатия уже засела за работу. Надо было так составить ультиматум Сербии, чтобы каждый его пункт заранее оказался неприемлемым для чести и достоинства суверенного государства.

— Пусть они даже отвергнут наш ультиматум, — посмеивался граф Берхтольд. — Нам и не требуется, чтобы Белград отвечал покорностью. Нам необходим именно отказ, чтобы с чистой совестью начинать войну... Не станем медлить!

Не ожидал, что окажусь в западне: все дороги в сторону Белграда были перекрыты, вдоль границы с Сербией и Черногорией плотно расположились австрийские войска. Я понимал: выкручивайся как знаешь, но попасть на допрос в «Хаупт-Кундшафт-Стелле» попросту не имею права, ибо мое разоблачение заведет слишком далеко. И тут я решил применить старую тактику желтого листа в осеннем саду, который не отличить от остальных листьев. Надо ехать в Вену, ибо какой же агент рискнет появиться именно там, в австрийской столице.

Мой паспорт, заверенный градоначальством Петербурга, не вызывал подозрений, он был оформлен на мое подлинное имя. Такое же имя было проставлено и в документах журналиста «Биржевых Ведомостей». Буду полагаться на свою сообразительность, а там... что бог даст! Пока же не затихли в Сараево погромы и пока не прекратились избиения сербов, я два дня провел в библиотеке культурного общества «Прогресс», обложив себя книгами о производстве дешевых вин из боснийской коринки. Чтобы не выглядеть сумасшедшим дураком, я старательно делал выписки...

Мне повезло, и в дороге никто меня не беспокоил. Но в числе пассажиров оказались сербы, ищущие спасения от погромов; полиция тщательно проверяла их документы, рылась в чемоданах. Я, наверное, переиграл, напустив на себя излишнее равнодушие, чем и привлек внимание полиции.

— Вы из Сараево? Ваш билет. Документы.

— Пожалуйста, — не возражал я...

Бланк «Биржевых Ведомостей», заверенный Пропером, навел проверяющих на мысль, что эта газета связана с биржей, и я подтвердил, что они недалеки от истины. Показав пачку бумаг с ценами на коринку, я сказал, что послан в Боснию от винодельческих фирм для будущих финансовых операций, связанных с закупками по сезону. Меня оставили в покое, и я до самой Вены демонстративно читал еженедельник «Гросс-Эстеррейх» («Великая Австрия»), удивляясь наглости, с какой в нем писалось: «Только в войне может возродиться новая и великая Австрия, поэтому мы желаем войны. Мы желаем войны потому, что только посредством войны может быть решительно и мгновенно достигнут наш идеал: это — сильная Великая Австрия...»

На что я мог рассчитывать, подъезжая к Вене, я и сам точно не знал, надеясь выйти на связь с нашим военным атташе Занкевичем; я рассчитывал вызвать его на встречу звонком по телефону, чтобы он передал мне другие документы. Я даже не волновался, когда поезд, миновав дачные станции Гольдберга, долго тащился вдоль Нового канала; справа проплыли массивные строения Арсеналов, и наконец вагоны остановились под задымленными сводами Венгерского вокзала. Помахивая портфелем, набитым бумагами, в сутолоке спешащих к выходу пассажиров я уже выходил на привокзальную площадь, и здесь... крих!

Здесь я напоролся на человека с громадными ушами, похожими на безобразные калоши. Встреча, какой никому не пожелаю! Кажется, за эти годы уши выросли у него еще больше, они даже обвисали на во-

ротник пальто. Память, словно удар молнии, разом высветила из былого точную справку — майор Ганс Цобель из «Хаупт-Кундшафт-Стелле», именно он завел меня на Гожую улицу Варшавы с тем злосчастливым письмом, а теперь оскал его радостной улыбки не предвещал ничего хорошего.

— Извините, — сказал он, приподняв котелок.

— Извините и вы меня, — отвечал я, обходя его...

Стало ясно, что он узнал меня, наверняка запомнив мой проклятый «профиль Наполеона». Мы разошлись, как посторонние прохожие, но я вынужден был обернуться. Все сомнения отпали: Цобель издали наблюдал за мной, потом поманил к себе носильщика, что-то говоря ему... С этого момента я попал под наблюдение венской агентуры и, петляя по улицам района Гофбурга, потащил за собой «хвост»...

Сначала филеров было двое. Но за собором св. Стефана к ним прилип и третий. Никакие мои уловки, чтобы отцепиться от «хвоста», не помогали; филеры были натасканы на слезке, как легавые собаки на дичь. После полудня, едва волоча ноги от усталости и даже не видя города, я не выдержал и зашел в уличное кафе, заказав себе венский шницель (о, горькая ирония судьбы!). Затем прошел за штору, где находился телефон. Соединившись с русским посольством, я попросил к аппарату полковника Занкевича.

— Михаил Ипполитович занят, — был ответ.

— Скажите, что время не терпит. Очень нужен...

Беда моя в том, что я не знал Занкевича, как не знал и он меня. На вопрос «кто его просит» я наобум отвечал:

— С ним будет говорить... Наполеон!

Скоро в трубке телефона послышался голос:

— Маршал Бертье... готов служить Наполеону!

Конечно, военный атташе мог заподозрить во мне провокатора. Я сказал ему, что мы оба из «одной богадельни»:

— На мне, кажется, навис «хвост»... Я пропал!

Пауза. Тягостная. Занкевич соображал. Поверил.

— Ладно, — услышал я торопливую речь, — старайтесь оборвать все хвосты. Лучше всего в аллеях за Большим рынком. Если возьмут, ссылайтесь на Пансион Ирис...

(Все агенты разведки знали, что Пансион Ирис — нелегальное бюро в Париже, где предлагали платные услуги французской разведке всякие продажные авантюристы и жулики, а заодно с ними кормились и «герцоги».)

— Адрес? — спросил я.

— Улица Мишодьер. Мадам Бернагу... запомнили?

— Да.

— Завтра в восемь сорок через Вену проходит цветочный экспресс из Ниццы в Петербург... более ничем помочь не могу!

Спасибо: все главные сведения я получил...

Разговор закончился. Мне предстояло самому думать, как дожить до утра. Конечно, филеры ждали меня на улице, и, едва я вышел из кафе, мне пришлось снова тащить за собою «хвост». Мною овладело отчаяние. Задержавшись возле мусорной урны, я у всех на виду стал разрывать свои записи о производ-

стве вин из коринки, надеясь, что возле урны филеры и застрянут, решив, что я уничтожаю секретные бумаги. Верно! Один из них тут же с головой зарылся в мусор, собирая клочки моих бумаг, а другой... не отставал. Я ускорил шаги, он тоже. Почти инстинктивно меня тянуло в зеленый район Флорисдорф, где жила моя мать... Только бы сразу отыскать ее дачу!

В этом районе улицы были почти пустынные. Моему преследователю стало труднее скрываться от моих взоров, он даже отстал, и в один из моментов мною овладело желание пристрелить его. Вот и железная ограда, за которой дом генерала Супнека. Филер где-то затаился, я не видел его. Звонок был электрический, я раз за разом нажимал кнопку...

Калитка отворилась — передо мною стояла ма-
ма.

Раньше, год назад, когда я встретил ее в «Национале», она не казалась мне такой постаревшей. Но даже сейчас я угадывал в ее лице черты той молодой и красивой женщины, какой она осталась в моей памяти с детства... Нужных слов не было, я мог лишь повторять те слова, что оставил ей в записке.

— Мама, это я, прости... прости, — говорил я.

— А разве ты виноват?

— Виноват, ибо пришел, чтобы снова уйти. Но так надо. У меня нет спасения. Только ты, мама... только ты...

Она выглянула через решетку сада на улицу и, кажется, все поняла. Мне скрывать было нечего:

— Меня преследуют. Я офицер русского Генштаба.

— Пойдем, — сказала мама, и моя рука очутилась в ее руке. — Нет такой матери, чтобы не спасла сына... Там, за домом, вторая запасная калитка. Через нее сразу попадешь на другую улицу...

Она провела меня через комнаты дома, и мы вышли с другой его стороны. Опять не было слов. Мать зарыдала:

— Увижу ли я снова тебя?

— Да. После войны...

Было слышно, как с улицы ломятся в ворота.

— Беги. Я задержу их...

Я был уже в безопасности, когда моего слуха коснулись отдаленные выстрелы. Первый, второй, третий... Что там случилось — не знаю, как не знаю и конца своей матери. Но я продолжаю свято верить, что мать ценой своей жизни оплатила мне свободу. Иначе не могло быть...

Ровно в 08.40 по средневропейскому времени от «Вестбанхоффа» отошел поезд, бравший в котлы свежую дунайскую воду.

Раз в неделю из Ниццы в Петербург пролетал курьерский экспресс, называемый «цветочным». В его составе был вагон-ванна, в котором итальянцы привозили для жителей русской столицы свежие фиалки. Итальянцам я сказал, что меня в Вене обворовали, денег на билет нету, и просил их принять меня в свою трудовую компанию:

— Я согласен делать, что надо...

Экспресс быстро наращивал скорость, в широких

цинковых ваннах плескалась вода, в которой плавали нежные цветы. Итальянцы дали мне рабочий комбинезон, делились со мною вином и сыром. Я помогал им менять воду, ухаживал за цветами, чтобы они не потеряли свою природную свежесть. Границу мы проскочили благополучно, в наш вагон жандармы даже не заглянули. За время дороги я весь пропитался запахом цветов, и с тех пор не выношу аромата фиалок. «Цветочный» экспресс прибыл в Петербург на рассвете, итальянцы (добрые ребята) дали мне на прощание букет цветов.

...Дома, на родине, мне присвоили чин подполковника.

7. «МЫ ГОТОВЫ, НО...»

Военное министерство России возглавлял генерал Сухомлинов, прозванный «шантеклером» (петушком) за его повадки молодящегося донжуана.

— Что вы мне толкуете о новинках боевой техники? — всегда возмущался Сухомлинов. — Никакая техника не может изменить сам характер войны. Как люди дубасили один другого в войне Алой и Белой розы, с таким же успехом они станут волтузить друг друга и с применением двигателя внутреннего сгорания... Драка всегда останется дракой!

Еще до выстрела в Сараево, весной 1914 года, Сухомлинов дал интервью для «Биржевых Ведомостей», открыто возвестив: «РОССИЯ ГОТОВА, НО... ГОТОВА ЛИ ФРАНЦИЯ?» Хотел он того или не хотел, но своим голосистым ку-ка-ре-ку Сухомлинов вызвал на бой берлинского Цольера, петушина буффонада министра лишь раззадорила драчливых немецких генералов. Сухомлинова очень много ругали за то интервью — до революции и даже после. Ведь русская армия и русский флот не были готовы к долгой Большой войне, ожидая нападения Германии никак не раньше 1917 года. Но к затяжной войне не была готова и Германия, во Франции и в Англии тоже считали, что война будет молниеносной и продлится не более шести месяцев. Именно на этот срок Россия была полностью обеспечена вооружением и боеприпасами, так что Сухомлинов искренно верил в готовность России. И никто ведь в Европе тогда не думал, что, продлись война более полугодом, и сразу начнется полное истощение ресурсов — не только в России, а во всех воюющих странах...

В простом русском народе, занятом своими делами ради добывания хлеба насущного, никто даже в затылке не почесал, узнав о сараевском покушении. В столице той поры самые вездельные читатели газет еще не испытывали тревоги:

— Какой-то гимназист-серб прищепнул, как муху, герцога-австрияка... значит, тот заслужил! Но это же не повод для войны, а лишь забавная тема для карикатур Пуарэ или фельетонов Аверченко... вспомните, господа! Французский президент Карно был убит итальянцем, но франко-итальянской войны не возникло. Австрийская императрица Елизавета была зарезана тоже итальянцем, но Рим даже не пошатнулся...

Находились в Петербурге даже сторонники войны

с Германией, утверждавшие, что хорошая встряска «оздоравливает наше большое общество, зараженное декадентами»:

— Я буду рад войне! Мы докатились уже до того, что стали читать «Синий журнал», русская нравственность пала так низко, что люди не стыдятся танцевать порнографический танец по названию «танго»... Это ведь ужасно... Куда смотрит полиция? Сейчас только война образумит нас и поставит все на места...

Между тем война уже началась, и даже не Австрия, а Германия первой начала избиение русских. Знаменитый июльский кризис продолжался до 1 августа, но русским стало худо еще 1 июля, и тут их приходится пожалеть.

Если русский человек более или менее обеспечен, где же ему отдохнуть летом? Конечно — в Германии, слабой хорошим лечением, дешевыми пансионатами и культурным обслуживанием. Знаменитые курорты давно облюбовала богатая и знатная публика, тратившая по триста марок в день, а лечебницы и клиники немецких светил были переполнены приезжими русскими, делавшими операции или залечивавшими острые формы туберкулеза. Наконец, множество русской молодежи училось в университетах Германии.

Один выстрел в Сараево — и сразу все изменилось!

Если в Вене во всем обвиняли сербов, то в Берлине указывали на русских как на заядлых поджигателей войны. Сначала ударили их по карману, разменивая деньги по самому низкому курсу: 100 рублей шли за 100 марок. Потом перед ними закрыли банки, и русские были рады пообедать уличной сосиской. Спать не давали резервисты, горланившие по ночам воинственные песни времен Седана, всюду развеивались знамена, грохотали барабаны, раздавались возгласы «пангерманцев»:

— Пусть все против нас, а мы против всех!..

Войны не было. Еще никого не убивали, а на улицах уже замелькали колпаки и фартуки сестер милосердия, маршировавших четким «солдатским» шагом. Еще вчера милые и услужливые, хозяева отелей сразу превратились в первобытных хамов, только разве не опустились на четвереньки. Заодно с полицией они вышибали русских на улицу. Из немецких клиник выбрасывали русских (даже тех, кто был согнут в дугу после вчерашней операции). Туристы из России не успели опомниться, как на стенах домов появились сакраментальные плакаты, призывавшие: «ЛОВИТЕ РУССКИХ ШПИОНОВ». Приказ получен — думать не надо. Не я выдумал, а свидетельствуют очевидцы: одна русская женщина была заживо растерзана. Всюду слышались крики:

— Вон бежит русский шпион... ловите!

— Где? Где ловить?

— Убегает... переодетый в женское платье!

Опять не я придумал: по улице, роняя шляпу и зонтик, бежала русская студентка. Толпа настигла ее, сорвала платье. Обнаженная барышня рыдала от стыда. Полиция бросила ее в кузов автомобиля и увезла, а толпа не унималась:

— Мы ошиблись совсем немного... Если это не шпион, так шпионка! Сейчас наши парни из полицейревира покажут ей...

С немцем, выпившим пива, еще можно было разговаривать как с человеком, но говорить с немцем, прочитавшим газету, уже невозможно. Переубедить тоже нет сил.

— Германия, — тупо утверждал он, — всегда стремилась к вечному миру, а ваш царь только и делал, что разжигал войну за войной... Мало вам досталось от японцев! Так мы устроим вам второй Порт-Артур из вашего Петербурга...

Берлин наполнялся самыми гнусными, мерзкими слухами:

— Русские вывозят золото из Франции...

— Русские посыпают раны пленных перцем...

— Русские выкалывают глаза нашим детям...

На митингах психопатки давали публичные клятвы, что они отравятся или повесятся, лишь бы не быть обесчещенными «diser Barbare» (этими варварами), уже толкающими в сторону Берлина свой безжалостный «паровой каток». Ораторы призывали всех немцев сплотиться в едином строю, чтобы дать достойный отпор подлым зачинщикам войны. Кажется, одни коммерсанты не потеряли разума, ибо им пришлось терять прибыль:

— Угораздило же этого сербского гимназиста попасть в эрцгерцога! Теперь, случись война с Россией, и мы лишимся хорошего рынка для сбыта залежалых товаров...

Только в одном Берлине скопилось до пятидесяти тысяч русских. Тех, кто протестовал против издевательств или вступался за женщин, таких немцы пристреливали. Мужья вступались за своих жен — расстрел, отцы за честь своих дочерей — расстрел! Униженные, избиваемые, оплеванные, русские думали об одном — как бы поскорее закончить этот летний сезон дома, где и солома едома. Беда людей в том, что, попав в необычные условия, оторванные от родины, лишенные денег и права переписки, русские потеряли возможность решать так, как им хочется, а решать иначе они не умели. Весь ужас был в том, что из Германии не вырваться. Немцы задерживали русских ученых, инженеров, политиков, профессуру, генералов и адмиралов. Наконец, молодых и здоровых мужчин призывного возраста без проволочек объявляли военнопленными, безжалостно разлучая их с семьями. Полицайревиры (русские «участки») с утра до ночи были забиты плачущими женщинами с детьми, которым мужья кричали из-за решеток:

— Дашенька, это недоразумение, скоро все выяснится!

— Петя, буду ждать в Марселе... пиши!

— Катя, поцелуй за меня Анечку...

— И я тебя целую, береги себя...

Доброжелательный шутман утешал женщин:

— Что вы так переживаете? У нас тюрьмы намного лучше ваших. На завтрак дают даже по куску селедки. Обязательно выводят на прогулки и учат петь хорошие песни.

Одна из женщин кричала в ответ:

— Мой муж приехал к вам с язвой желудка... Ему не вынести самой лучшей тюрьмы, будь она хоть позолоченной!

— Возможно, — не возражал шутман. — Но сейчас ведь будет война, может, я тоже не вынесу жизни на фронте...

Потом, когда дипломатические отношения Берлина с Петербургом были прерваны, русские толпами хлынули в посольство США, но там с ними разговаривать даже не пожелали:

— Все, имеющие российское подданство, отданы покровительству короля Испании...

А в испанском посольстве виконт де Молиньо охотно подписывал любую бумагу, ставил печати на любом документе, но этим помощь испанского короля и заканчивалась.

— Мы всегда уважали русских, — говорили его чиновники. — Мы высоко ценим гений Льва Толстого... Разменять деньги? У нас и своих-то нету. Впрочем, спросите швейцара. Не надо плакать, мадам. Швейцар способен на все. Из Петербурга никаких инструкторов не поступало. Обратитесь к швейцару...

Многие не могли выехать из Германии, и даже страшно читать, что пережили русские актеры во главе со Станиславским, изнуренным болезнью. Затерянные в массе беженцев, они никак не могли достичь границы нейтральной Швейцарии, их гоняли с поезда на поезд, из вагона в вагон, учили ходить строем, пассажиров били, издевались над ними. Перегруженные чемоданами и картонками, люди изнемогали от усталости и голода, а немецкие носильщики отказывались помочь им:

— Русские! Так сами и таскайте багаж...

Резервисты, вооруженные карабинами, сопровождали женщин даже в уборную.

Станиславский, наблюдая, как немцы, еще вчера симпатичные и милые люди, превратились в зверей, сделал печальный вывод:

— Мы очень много рассуждали о культуре! Но теперь выяснилось, что даже в таких развитых странах, какова Германия, народ обрел лишь внешнюю культуру, под которой прячется человек с первобытными инстинктами. Очевидно, необходима совсем иная жизнь, чтобы буржуазная культура уступила место другой — более высокой и более духовной...

Страшно! Зал ожидания пограничной станции наполняли крики женщин, бившихся в истерике, плакали дети, ругались мужчины.

Я вернулся в Петербург, когда обмолвка Сухомлинова о том, что «мы готовы», еще муссировалась в военных кругах столицы, и я, будучи надолго оторван от родины и ее армии, видел, наверное, то, что другим генштабистам давно примелькалось и даже надоело.

«Готовы ли мы?» — часто спрашивал я себя.

Однажды посетив заседание Государственной думы, я был попросту ошарашен диалогом, который возник между одним думцем и представителем военного министерства.

— Вы давали заказ на полторы тысячи пулеметов?

— Да, — следовал четкий ответ.
— Отвечают ли они последнему слову техники?
— Это *высочайше* установленный образец 1905 года.

— Хорошо. А патроны к ним тоже заказаны?
— Безусловно.
— Порохом какого образца они начинены?
— *Высочайше* установленного образца 1908 года.
— А вам известно, — последовал вопрос думца, — что этот порох 1908 года в четыре раза разрушительнее того, которым начинались пулеметные патроны 1905 года?

— Извещен. Достаточно.
— Таким образом, вы не удивитесь, если эти патроны при стрельбе тут же разорвут стволы ваших пулеметов?

— Да-а... выходит, что так.
— Если так, так зачем же вы это делаете?
— Но образцы *высочайше* установленные! — И лицо представителя военного министерства сделалось вдруг невинным, как у младенца, который в колыбели играет заряженным пистолетом...

Бесплановость рождается в моменты, когда возникает избыток всяческих планов. В таких случаях наши генералы засучив рукава устраивают винегрет из чужих мыслей, подкрепленных устаревшими доктринами, и, сами не в силах постичь сути своих выводов, они поливают свое блюдо, как уксусом, весьма основательными ссылками на историю России:

— Это когда же нас били? Господь праведный еще не оставил Русь-матушку своим вниманием.

Достаточно присмотревшись к немцам, я убедился, что у них возможен трафарет штабного мышления, зато отсутствует рутинная в вопросах вооружения, и, как бы ни почитали они своего кайзера, но все-таки они отвергли бы его «высочайший» образец, если он непригоден. Но что можно было ожидать от наших генералов, застывших на уровне войны 1877—1878 годов, когда они были еще поручиками? Теперь все они давно превратились в реликты былого, почитаемые вроде «ботика Петра Великого», на который ходят глазеть, но который держат подальше от моря. По моему мнению, бездарный полководец таит в себе «национальную опасность», от которой армию следует избавить еще до войны — отставкой! К великому сожалению, чистка армии после русско-японской войны коснулась не всех, русская армия оставалась перегруженной множеством генералов, умевших «составить компанию», чтобы как следует выпить и закусить чем-нибудь соленьким...

8. ИЮЛЬСКАЯ ЛИХОРАДКА

Трудно понять возникновение мировой бойни, прежде не заглянув в кабинеты правителей, решавших этот вопрос: быть или не быть? В промежутке дней между выстрелом Г. Принципа и объявлением войны плотно стужилась грозная атмосфера целого столетия, все его раздоры и конфликты при дележе мира. Попробуем, читатель, восстановить картину июльского кризиса в коротких, как вспышка магния, фрагментах истории.

«Кильская неделя» — праздник германского флота, сам кайзер в адмиральском обличье руководил парадом кораблей, шлюпочными гонками, вручал призы победителям. Было жарко, а вдали затаенно скользили британские крейсера. Но первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль не прибыл на германскую регату; может быть, до него дошли слова гросс-адмирала Тирпица, сказавшего:

— За один стол с этим аферистом я не сяду...

28 июня, в самый разгар парусных гонок, к борту флагманского «Гогенцоллерна» стал подходить катер. Но его отпихивали от трапов, чтобы не мешал праздновать. Тогда офицер на палубе катера совершил неслыханную дерзость. Он бросил к ногам кайзера свой портсигар, внутри которого лежала срочная телеграмма: «Три часа тому назад, — прочитал Вильгельм II, — в Сараево убиты эрцгерцог и его жена...»

— Теперь придется начинать.

Это были первые слова кайзера, которые он произнес. Вернувшись в Берлин, он на Вильгельмштрассе ознакомился с документами о покушении серба на эрцгерцога. Поверх доклада кайзер начертал: «ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА! СЕРБОВ СОГНУТЬ В БАРАНИИ РОГ...»

— Время вспомнить о Бернгарди, — намекнул кайзер.

Немецкий генерал Фридрих Бернгарди заявил о «праве» Германии господствовать над другими народами, менее жизнестойкими, нежели немецкая нация. При этом, утверждал Бернгарди, Германия имеет историческое «право» не стесняться ни дипломатическими трактатами, ни учением христианства.

В берлинской гостинице «Бристоль» собрались тузы капитала и промышленности Германии, за роскошным столом долго не утихали аплодисменты в честь Круппа фон Болена.

— Русская артиллерия, — закончил он свой спич, — находится еще в периоде формирования, зато германская не знает себе равных. Будем помнить слова Наполеона, который сказал о нас: «Пруссия вылупилась из пупочного ядра!»

В эти дни встретились в Вене два человека. Карл — новый наследник престола Габсбургов, еще молодой человек, крепко веривший в союз масонов с дьяволом, которого он сам изгонял из спальни жены Циты, и дьявол исчез при ударах грома, оставив после себя запах серы. Карл беседовал с Конрадом фон Гетцендорфом, славным альпинистом, любившим гонять армию по высоким горам. Наследник сказал:

— Скоро решится вся эта история с Сербией.

— Плодородная страна, — причмокнул генерал. — Сербия станет дивным бриллиантом в вашей будущей короне.

— А Польша? — спросил наследник престола.

— От Польши никак нельзя отказываться, как не откажемся и от Украины, совместив ее с нашей Галицией.

— Ну а Греция с ее портом в Салониках?

— Греция, — отвечал любитель горных высот, —

тоже будет неплохим приобретением, только бы в Берлине нам не подгадили... Знаете, какие там завидущие люди?

Тогда же престарелый Франц Иосиф заявил, что деликом полагается на военную мощь Германии, без которой Австрии не совладать с Россией, а Россия несомненно вступится за Сербию.

— Сейчас, — сказал император, — русский посол Гартвиг хозяин в Белграде, и без его совета Пашич ничего не делает.

10 июля в Белграде венский посланник барон Гизль со сдержанной враждебностью принимал у себя Николая Генриховича Гартвига. После ужина Гартвиг вернулся домой, слег и умер. Чтобы разом пресечь дурные толки, жена Гизля собрала окурки папирос, которые накануне выкурил Гартвиг в гостях у посла, и отдала их в лабораторию для химического анализа. Население Белграда составляло тогда около ста тысяч жителей, а проводить посла России до кладбища тронулись восемьдесят тысяч, оставив дома стариков и детей. За траурной колесницей шли вдова с дочерью, семья Карагеоргиевичей и Никола Пашич.

— Что там с окурками? — спросил он Аписа.

— Обычные окурки, каких я могу набрать где угодно...

15 июля, беседуя с германским послом графом Пурталесом, Сергей Дмитриевич Сазонов почти весело сказал:

— И все-таки, граф, ключи от мирного положения в Европе находятся сейчас не в Петербурге, а именно в Берлине, и вы можете отворить или затворить двери войны...

Впрочем, пока все было спокойно, и Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи; чиновники встретили его словами:

— Австрия серьезно ожесточилась на Сербию...

Пришлось снова повидаться с Пурталесом:

— Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, ей предстоит считаться со всей Европой, а мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа. Еще раз подтверждаю, что Россия за мир, но мирная политика ее не всегда пассивна!

20 июля ожидался визит в Петербург французского президента Пуанкаре, и в Вене умышленно медлили с вручением ультиматума Белграду, чтобы вручить его Пашичу, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой Франции... Это был ловкий ход венской политики!

20 июля... Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке Донец, о пожаре моста возле Симбирска, о судебном процессе г-жи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на ее мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты «Александрия». Подали завтрак, во время которого царь сказал французскому послу Морису Палеологу:

— Говорят, у моего кузена Вилли что-то болит в ухе. Я думаю — не бросилось ли воспаление на мозг?

Давно поговаривают, что он не в себе, но император в бедлам не упрячешь...

За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды Финского залива медленно утюжил дредноут «Франс», рыскали миноносцы эскорта. Кронштадт глухо проворчал фортами, салютуя союзникам. Раймонд Пуанкаре был принят царем у трапа «Александрии», взявшей курс на Петербург, и дивная сказка открылась во всем великолепии. Омытая золотые фигуры скульптур, фонтаны Петергофа взметали к небу струи сверкающей воды.

— Версаль, — заметил Пуанкаре. — Нет, Версаль хуже...

Вечером в старинной зале Елизаветы президента ошеломили выставкой придворного света. Плечи русских аристократок несли поlyingший ливень алмазов, жемчугов, аметистов, изумрудов, сапфиров... Алиса ужинала подле Пуанкаре, одетая в белую парчу, ее декольте было целомудренно закинута бриллиантовой сеткой. «Каждую минуту, — отметил Палеолог, — она кусает себе губы, видимо, борется с историческим припадком...» Пуанкаре произнес речь по вдохновению, а Николай II по шпаргалке.

Была ночь, когда Палеолог просмотрел питерские газеты.

— Обратите внимание, — подсказал секретарь, — сегодня бастовали в столице заводы, работающие на военную мощь.

— Их подстрекают германские агенты, — ответил посол.

21 июля... Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф Пурталес, и президент любезно расспрашивал его о французских предках. Палеолог представил английского посла, сэра Джорджа Бьюкенена; это был спортивного вида старик с неизменной свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкенена в том, что царь не станет мешать англичанам в делах персидских. Наконец ему представили графа Сапари — посла австрийского, которому Пуанкаре выразил сочувствие по случаю убийства эрцгерцога Фердинанда:

— Но случай в Сараево не следует раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов немало друзей, а Россия издавна союзна Франции... Нам следует бояться осложнений!

Сапари откланялся молча, будто не имел языка.

Сербскому послу Спалайковичу Пуанкаре сказал: — Я думаю, все еще обойдется...

Вечером французское посольство давало обед русской знати; в Городской думе угощали офицеров с эскадры. Играли оркестры, дамы танцевали, от изобилия корзины с розами и орхидеями было тяжело дышать... В этот день Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал кайзеру о беседе с Сазоновым: «Вы уже давно хотите уничтожения Сербии!» — говорил Сазонов. Возле этой фразы Вильгельм II сделал пометку:

«Прекрасно! Это как раз то, что нам требуется».

22 июля... Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака Пуанкаре отбыл в Красное Село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками — вплотную. На трибунах полно публики, белые платья дам казались купами цветущих азалий. Пуанкаре в коляске объезжал ряды солдат, рядом с ним скакал император. Потом был обед, который давал президенту великий князь Николай Николаевич — будущий главковерх.

Палеолога за столом обсели по флангам две черногорки, Милица и Стана, непрерывно трещащие, как сороки:

— Вы возьмете от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш папа, король Черногории, пишет, что его армия соединится с русской и вашей в Берлине. Германию мы уничтожим!

Потом был балет (Кшесинская свела всех с ума).

Русские войска сегодня маршировали перед Пуанкаре под звуки Лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции...

На следующий день, 23 июля, когда французская эскадра медленно растворилась в сумерках моря, покидая Россию, Австрия вручила Сербии ультиматум — провокационный! Эту бумагу состряпали в Вене так, что, не имея сербы даже крупницы гордости, Белград все равно отказался бы принять венские условия. Принять же такой ультиматум — равносильно отказу Сербии от своей независимости...

В этот же день кайзер очень крупно проболтался:

— Разве Сербия государство? Ведь это банда разбойников... Переловим их всех с помощью полиции!

Сербские министры, прижатые к стене, переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную ноту, написание которой Вена отпустила им 48 часов.

24 июля... В полдень Сазонов посетил французское посольство, где завтракал с Палеологом и Бьюкененом.

— Нам нужно быть твердыми, — сказал Палеолог.

— Твердая политика — это война, — ответил Сазонов.

Бьюкенен дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной («Но мы постараемся сдерживать германские амбиции»). В три часа дня в Елагинском дворце собрался совет министров, решили: провести мобилизацию округов, направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет: в случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в арбитры великие державы. На крыльце дворца поджидал решения посол Спалайкович.

— Пока ничего не ясно, — сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль.

В министерстве у Певческого моста его ожидал германский посол Пурталес с красным носом и слезящимися глазами.

— А мы не оставим сербов в беде, — предупредил его Сазонов.

— Послушайте, — нервно заговорил Пурталес, — австрийскому императору Францу Иосифу осталось жить совсем немного, и неужели Петербург не даст ему умереть спокойно?

— Ради бога! — воскликнул Сазонов. — Пускай он помирает! Весь мир только и делает, что дивится его долголетию.

— Вы, русские, просто не любите Австрию...

— А почему мы, русские, должны любить Австрию, которая принесла нам зла больше, нежели турки?

Сазонов отдал распоряжение, чтобы (втайне) срочно вычерпали восемьдесят миллионов рублей, хранившихся в германских банках. Германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе «неисчислимыми последствиями», вручили ноты, в которых было сказано: в конфликте пусть разбираются Вена с Белградом.

25 июля... Столичные вокзалы уже трещали, дачники металась как шальные, масса офицеров, загорелых и восторженных, скрипя новенькими портупьями, осаждали поезда дальнего следования, их провожали сородичи — с цветами, веселые, нервно-возбужденные. Никто ничего не знал, а пресса крупно выделила слова Сазонова: **АВСТРО-СЕРБСКИЙ КОНФЛИКТ НЕ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ РОССИЮ БЕЗУЧАСТНОЙ...** В Царском Селе уже знали, что Германия проводит скрытую *общую* мобилизацию. Царь на общую не решился — от стоял за *частичную*. Тринадцать армейских корпусов против Австрии были подняты по тревоге. Но было еще не ясно туманное поведение туманного Альбиона...

Сазонов конкретно заявил Бьюкенену:

— Ваша четкая позиция, осуждающая Германию, способна предотвратить войну. Если не сделаете этого сейчас, прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не придется плавать в этой крови... Решайтесь!

Лондон не сказал «нет». Лондон не сказал «да».

В это время Никола Пашич (точно в назначенный срок) вручил ответное послание на австрийский ультиматум барону Гизлю. Сербское правительство выявило в этой ноте знание международных законов и кровью своего сердца, омытого слезами матерей, создало такой документ, который историки считают самым блистательным актом мировой дипломатии. Белград с тонкими оговорками принял 9 пунктов ультиматума. И не принял только 10-го пункта, в котором Вена требовала силами австрийских штыков навести «порядок» на сербской земле. Гизль мельком глянул в ноту, увидел, что там *что-то* не принято, и... потребовал паспорта. Это означало разрыв отношений.

Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа вставали под ружье.

26 июля... Сазонов жаловался Палеологу:

— Неужели события уже вырвались из наших рук, и мы, дипломаты, неспособны управлять политикой? Подозреваю, что Германия обещала Вене

слишком большой триумф самолюбия. Но, уступив еще раз, Россия теряет титул великой державы, скатываясь в болото держав второстепенных... у нас тоже есть самолюбие!

27 июля... Сазонов так издергался, что от него остался один большой нос, уныло нависающий над галстуком-бабочкой. Время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, но даже пауза в разговоре имела значение, это золотое время дипломатии кончилось. В кабинет министра ломилась распаренная толпа журналистов. «Что им сказать? Сам ничего не знаю...»

Сазонов долго откашливался, потом сказал:

— Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю не трогать пока в печати Германию — этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти, сохранить мир!

Увы, никакой «комбинации» у него уже не было...

28 июля... Бьюкенен совещался с Сазоновым, а в приемной министра встретились Палеолог и Пурталес.

— Еще день-два, — сказал Палеолог, — и, если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, какой мир еще не ведал. Докажите свое миролюбие, воздействуя на Австрию.

— Призываю бога в свидетели, — крепко зажмурился Пурталес, — что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляем силой. История покажет, что Германия права.

— Очевидно, — пикировал Палеолог, — положение дурное, если возникла необходимость уже взывать к суду истории...

Бьюкенен выходит от Сазонова, Пурталес входит к Сазонову. В приемной министра появляется австрийский посол Сапари.

— Можете ли вы сообщить, что происходит? — спросили его.

— Коляска катится, — прищелкнул пальцами Сапари.

— Это уже из Апокалипсиса, — отвечал Бьюкенен...

Сазонов признался Палеологу, что ему не сдержать горячку Генштаба; там боятся опоздать с мобилизацией. Палеолог умолял не давать повода Германии для активных действий:

— Наш президент еще плывет во Францию на дредноуте.

— А немцы мобилизуются, — отвечал Сазонов. — Мы же еще гуляем, сунув руки в карманы, и поплеываем, как франты.

Кайзер (с большим опозданием) прочитал ответ Сербии на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и примирительным тоном. Белградская нота мешала кайзеру катить бочку с порохом дальше. Он крепко задумался, признав:

— Это вполне достойный ответ! Если бы я получил такую ноту, я бы на месте Вены счел себя вполне удовлетворенным...

Он посоветовал Вене ограничиться захватом Бел-

града, сразу приступая к мирным переговорам. Но совет кайзера опоздал: австрийцы уже объявили сербам войну. Никто не верил, что война началась. Не верил и Николай II, отправивший кайзеру телеграмму, в которой умолял его помешать австрийцам «зайти слишком далеко».

29 июля... Пурталес притащился к Сазонову, зачитав ему наглое требование Германии, чтобы Россия прекратила военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой политике, ополчится против варварской агрессии России.

Сазонов вскочил из-за стола — весь в ярости:

— Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима... Это вы! Вы стоите за ее спиной и подталкиваете на бойню...

В ответ Пурталес, натужно и хрипло, прокричал:

— Я протестую против неслыханного оскорбления!..

На стол министра легла свежая телеграмма: австрийцы открыли огонь по Белграду, рушатся здания, в огне погибают люди.

— Первая кровь наша — славянская, — сказал Сазонов.

Янушкевич, начальник Генштаба, все же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Францию об этом предупредили: «Россия не может решиться на частичную мобилизацию, ибо наши дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда явится в ней необходимость...» Вечером генерал Добrorольский прибыл на главпочтамт с указом царя о всеобщей мобилизации. Всю публику попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Добrorольский, поглядывая на часы, гулял по залам почтамта. Остались считанные минуты... вся Россия ошестинится штыками... Звонок! Вызывал к телефону Сухомлинов:

— Отставить передачу указа. Государь император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что делает все для улаживания конфликта. Мобилизация возможна лишь частичная!

Николай II принял это решение личной (самодержавной) властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира.

30 июля... Одно дело — мобилизация в России, другое — в Германии, где эшелоны катятся как по маслу. Утром встретились Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич, удивленные, что царь так легко подпал под влияние Берлина.

Но частичная мобилизация срывала план всеобщей — об этом и рассуждали... Сазонов сказал «шантеклеру»:

— Владимир Александрович, позвоните государю.

Сухомлинов позвонил в Петергоф, но там ответили, что царь не желает разговаривать. Вторично барабанил туда Янушкевич:

— Ваше величество, я опять об отмене общей

мобилизации, ибо ваше решение может стать губительным для России...

Николай II резко прервал его, отказываясь говорить.

— Не вешайте трубку... здесь и Сазонов!

— Хорошо. Давайте Сергея Дмитрича.

Сазонов настоял на срочной аудиенции, царь согласился принять министра. Но до отъезда в Петергоф министр повидал Пурталеса, крайне растерянного и жалкого:

— Берлин требует от меня информации, однако моя голова уже не работает. Весьма нелепо, но я прошу вас посоветовать, что именно я могу предложить своему правительству?

Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро начертил ловкую формулу примирения, которая обтекала острые углы конфликта, как вода обтекает камни в горной реке: «ЕСЛИ АВСТРИЯ, ПРИЗНАВАЯ, ЧТО АВСТРО-ВЕНГЕРСКИЙ ВОПРОС ПРИНЯЛ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРАКТЕР, ОБЪЯВИТ СЕБЯ ГОТОВОЙ ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ СВОЕГО УЛЬТИМАТУМА ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТ УЩЕРБ СЕРБИИ, РОССИЯ ОБЯЗЫВАЕТСЯ ПРЕКРАТИТЬ ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ».

— Пожалуйста. Я всегда к вашим услугам.

— Благодарю, — с мрачным видом отвечал Пурталес.

В Петергофе министра поджидал удрученный император. Сазонов стал доказывать, что срыв общей мобилизации расшатывает всю военную систему, графики трещат, военные округа запутаются. Война, говорил министр, вспыхнет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмет кнопку... Николай II ответил министру:

— Вилли ввел меня в заблуждение своим миролюбием. Но я получил от него еще одну телеграмму... угрожающую! Он пишет, что снимает с себя роль посредника и, — прочитал царь, — «вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир!».

Сазонов разъяснил: кайзер затем и брал на себя роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут балаганим, закончить военные приготовления. В ответ на это царь спросил:

— А вы понимаете, Сергей Дмитрич, какую страшную ответственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи?

— Дипломатия свое дело сделала, — отвечал Сазонов.

Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы:

— Позвоните Янушкевичу сами... пусть будет *общая!*

Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца.

— Начинайте, — сказал он, и тот его понял...

Схватив телефон, Янушкевич вдрызг разнес его о радиатор парового отопления. Еще поддал сапогом по аппарату:

— Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже не мог бы влиять на события. Меня нет — я умер!

Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого вечера выстукивали по городам и весям великой империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну.

31 июля... Хотя еще никто никого не победил, но все кричали «ура», а между Потсдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка. «Мне технически невозможно остановить военные приготовления», — оправдывался Николай II, на что кайзер ему отстукивал: «А я дошел до крайних пределов возможного в старании сохранить мир...» День прошел в сумятице вздорных слухов, в нелепых ликованиях. Этот день имел ярчайшую концовку. Часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда появился Пурталес.

Сазонов понял — важное сообщение. Он встал.

— Если к 12 часам дня 1 августа Россия не демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью, — сказал посол.

Сазонов вышел из-за стола. Гулял по мягким коврам.

— Означает ли это войну? — спросил он небрежно.

— Нет. Но мы к ней близки...

Часы пробили полночь, как в сказке. Пурталес вздрогнул.

— Итак, завтра. Точнее, уже сегодня — в полдень!

Сазонов замер посреди кабинета. На пальце он вращал ключ от бронированного сейфа с секретными документами. Думая.

— Я могу сказать вам одно, — заметил он спокойно. — Пока остается хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда ни на кого не нападет. Агрессором явится тот, кто нападет на нас, и тогда мы станем защищаться! Спокойной ночи, посол...

ПОСТСКРИПТУМ № 5

В конце Сараевского процесса обвиняемые заявили, что они просят прощения у малолетних детей Франца Фердинанда, которых оставили сиротами (эти «сироты» были замучены Гитлером в концлагере Маутхаузен, о чем я писал уже раньше). В наше время Сараево стал городом-музеем, где ничто не забыто, все бережно хранится. Есть дома-музеи мусульманского и сербского быта, турецкая библиотека Гази-Хусрефбека, есть музей евреев, православной церкви и даже музей старинного сервиза. «Музей «Млада Босна» и отпечатки ног Гаврилы Принципа на уличной панели стали святыми реликвиями народов Югославии...

Схема сокрытия тайны строилась очень просто. Едва грянул сигнальный выстрел «Авроры», как чиновники министерства иностранных дел в Петербурге моментально изъяли из архивов секретные депеши Гартвига к Сазонову. Это первое. А вот и второе.

Осенью 1918 года, когда Европе, очумелой от крови, страданий и грохота орудий, было уже наплевать с высокой башни на эрцгерцога Франца Фердинанда и его сироток, протокол Сараевского процесса исчез при таинственных обстоятельствах. Можно догадываться, что он еще цел...

Настал 1920 год. Не было в живых Аписа, могилу которого сровняли с землей, чтобы исчезла даже память об этом человеке; не было и майора Танкосича, прах которого вырыли из могилы, чтобы развеять его по ветру. Но остались живы в песнях и школьных учебниках «преступники», возведенные в ранг «национальных героев». Их останки вынули из чужой австрийской земли для погребения в Сараево. Однако никто из Карагеоргиевичей не соизволил поклониться их праху, король Александр сознательно отвернулся от воздания почестей; чтобы не выглядеть соучастником сараевского убийства.

Почетный караул салютовал залпом из винтовок. Сгорбленная старуха, нищенски одетая, мать Данилы Илича, поставила над могилою сына четыре зажженные свечечки.

— Золотое мое дитяtko, — шептала она.

Данила Илич был расстрелян австрийцами. Но, пожалуй, страшнее любой казни была участь тех, кого оставили жить. В декабре 1914 года Гаврилу Принципа, Неделько Габриновича и Трифко Грабеча перевели в имперскую крепость Терезиенштадт, и здесь они были замурованы в темницах. Европа о них не поминала. Красному Кресту хватало своих хлопот, потому об узниках все забыли. Это позволяло австрийским властям творить над ними расправу без страха ответственности.

Казалось, из каменной теснины Терезиенштадта, этого габсбургского «Монте-Кристо», не вырвется наружу даже слабый стон человека. Но кое-что все-таки дошло до нас... лишь детали их жизни, которая была хуже смерти. Узников подвергли наказанию голодом и одиночеством. Они сидели в цепях, а звон ржавого железа был единственной музыкой, которая проводжала их на тот свет. Наконеч цепи сняли, ибо какой смысл заковывать живые скелеты?..

Венский психиатр, профессор М. Паппенгейм, не только сумел проникнуть внутрь крепости, но и вызвал к себе доверие Принципа, который признался ему, что война не замедлила бы разразиться даже без его выстрела в Сараево:

— Мною двигали исключительно мотивы любви к народу и мести к врагам народа. Сейчас я не сплю по ночам. Думаю. Мои мысли о жизни и любви... Я понимаю, что жизнь кончилась. Лишь бы не кончилась жизнь моего народа...

Принцип был настолько истощен, что не мог удерживать карандаш. На просьбу Паппенгейма изложить свои настроения он писал, что чаще пребывает в философском или поэтическом блаженстве. Врач сохранил записку Принципа: «Что существеннее в человеческой жизни — инстинкт, воля или дух? Что движет человеком вообще? Если бы я мог два-три дня читать, то мыслил бы более ясно и выражался точнее...»

— Я не могу, — сказал Принцип, и карандаш выпал из его руки на каменный пол с таким стуком, что показался Паппенгейму чудовищным грохотом, почти обвалом древнего замка...

Неделько Габриновича перед смертью повидал поэт Франц Верфель; по его словам, перед ним предстала какая-то бесплотная, почти воздушная форма человеческого тела, которая фосфорически-прозрачной рукой цеплялась за стены тюремной камеры. Поэт запомнил «бледное видение, вроде невестственного пара, словно освобожденный из плоти дух человека готовился рассеяться в неестественном желтом блеске...».

Почти одновременно, весной 1917 года, все трое умерли от изнурения голодом. Для них, отдавших жизнь за родину, самое страшное было в том, что они уже знали жестокую правду:

СЕРБИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ,

Глава третья

ПАРИЖ БЫЛ СПАСЕН

*Вздувается у площади за ротой рта,
у зялчейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шапки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены...»
Вл. Маяковский*

Написано в 1941 году:

...узнал гораздо позже. В греках не умер дух прежней Эллады, они сами перешли в наступление, и столь удачно, что гнали легионеров Муссолини, замерзая у него даже часть Албании. Дуче психовал, замерзая в своем Палаццо-Венеция, когда вдруг начался обильный снегопад. Распахнув окна, Муссолини неистовствовал: «Пусть идет снег! Пусть от мороза передохнут все мои бумажные итальянцы, пусть выживут лучшие представители нашей расы, способные побеждать!» Об Эфиопии-Абиссинии все уже перестали думать, и вдруг 6 апреля босяки-партизаны, учинив разгром итальянцам, изгнали их из Аддис-Абебы, — факт ошеломляющий, ибо в пору громких побед фашизма Муссолини опять получил по зубам, и... где?

Гитлер держал войска в Болгарии, моторы его панцер-дивизий алчно сосали румынскую нефть. Англия послала в Грецию новозеландские и австрийские войска, но... что толку с двух дивизий? Балканы в тревоге. Королем Югославии был тогда малолетний Петр II (сын Александра, убитого в Марселе), а повелевал странною принц-регент Павел — тот самый, что в костюме Пьеро когда-то дурачился с бубном на карнавале в русском посольстве. Павел решил включить Югославию в гитлеровскую систему, но за это желал получить греческие Салоники. В марте 1941 года он тайно посетил Гитлера в Берхтесгадене, после чего был подписан протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту.

Скрыть предательство от народа не удалось, и сербы ответили восстанием, демонстрации двигались

мимо королевского конака, люди истошно выкрикивали в слепые окна:

— Лучше война с Гитлером, нежели пакт с ним! Верните страну к союзу с Россией, как делали наши деды и прадеды...

Павел был удален из конака, а королем провозгласили Петра II, которому исполнилось семнадцать лет. Москва предложила Белграду договор о дружбе, и эта дружба, памятная в истории, была бы согрета былыми традициями, скрепленная общей кровью «побратимов», какими всегда были сербы и русские.

Хронология событий потрясающая: 5 апреля в Москве был подписан договор о дружбе Югославии с СССР, а на следующий день, 6 апреля, немецкие бомбы разворотили Белград столь варварски, что город померк в пожарах; немцы с особым садизмом бомбили Сараево — город, в котором родилась первая мировая война... Свершая нападение на Югославию, Гитлер никак не «блеснул гением», повторив те же положения ультиматума Сербии, которые в 1914 году предъявила славянам и монархия Габсбургов. На четвертый день войны армия сербов была разгромлена. Петр II улетел в Каир, словно отрешаясь от прав Карагеоргиевичей на престол в белградском конаке. Южные славяне, столько веков страдавшие под гнетом османлисов и Габсбургов, теперь раздавлены и смяты пятою Гитлера...

Вся эта трагедийная информация о Балканах свалилась на меня позже, и не сразу мне стало известно это короткое имя — Тито! Изолированный от мира, я с большим опозданием освоил обстановку в нашей стране. Конечно, тогда я был лишен возможности раскрыть «Правду» от 14 июня 1941 года, где было опубликовано странное и непонятное коммюнике ТАСС, в котором Хозяин перед всем миром расписывался в добрососедских отношениях с Германией, будто она, эта Германия, собирает свои войска в Польше не ради нападения на Россию...

А тогда, простите, ради чего она собирает войска?

Документ невежественный и трусливый, мое отношение к нему самое отвратительное. Никто не переубедит меня в том, что это позорное заявление ТАСС пагубно отразилось на армии, деморализуя ее. Командиры и рядовые стали думать, что пришло время расслабиться, ибо там, наверху, Хозяин со своей легендарной трубкой в руках не спит по ночам, и он мудро спокоен, зная то, что неизвестно другим олухам, не посвященным в тайны его Большой Политики.

Возникла преступная потеря бдительности, зато появилась пассивность. Дело дошло до того, что командиры стали ночевать по частным квартирам, а в казармах раздевались на ночь, благодушничая. Между тем, словно в насмешку над нашим разгильдяйством, в германском посольстве открылась фотоэкспозиция, дабы посетители убедились своими глазами: вот что осталось от Белграда, а вот и победный марш вермахта, вступающего в Афины...

О, эти Балканы — старая боль в моем стареющем сердце!

• • • • •

Я сидел в одиночке и за время отсидки научился экономить каждую спичку, деля ее на четыре продолжные спичечки с малюсенькой серной головкой каждая. Очевидно, со мною не знали, что делать, ибо советского генерала разведки, верующего в господ бога, трудно оформить по статье «троцкистско-зиновьевского блока», а когда не найти вины человека по 58 статье, тогда его лучше всего расстрелять, чтобы он сам не мучился и не мучились его следователи¹.

Получивший клеймо «враг народа», я охотно признал себя «тайным агентом германского фашизма», тем более что я ведь действительно поставлял «дезу» немецкому абверу и установил прямые контакты с Целлариусом в Прибалтике, — что тут было скрывать? Но вскоре следователь, укрывший свое поганое нутро под псевдонимом «Шлык», оставил в покое мои личные услуги фюреру, настойчиво вынуждая меня признаться в том, что я был «агентом британского империализма». Чтобы сделать этому дураку приятное, я легко подмахнул протоколы допроса.

— Вижу, что вы меня раскололи как следует, — сказал я. — Потому решил сделать добровольное признание... Пишите. Я за деньги продавался еще разведкам Эквадора, Гондураса и Гватемалы, заодно уж моими услугами пользовалось княжество Монако, обещавшее мне долю дохода с рулетки...

Шлык, потев от радости, вел протокол, прося меня говорить не так быстро, а то он не успевает записывать. Он даже устал, бедняга, и, наверное, стал сомневаться:

— А чем вы можете доказать свои показания?

— А вот это уж не моя забота, — отвечал я. — Вы на то здесь и посажены, чтобы доказывать даже недоказуемое... Я вас понимаю: надо бить своих, чтобы чужие боялись!

В свободное от допросов время я много читал, беря из тюремной библиотеки книги, которые нельзя было прочитать на воле. Так я проглотил залпом всю «Русь» Пантелеймона Романова и увлекся изучением этюда Мережковского о Достоевском. Кстати, Достоевский у нас был на полузапрете, объявленный вредным писателем, и мне вспомнилось, что Геббельс считался в Германии большим знатоком «достоевщины». Может, именно это и дало ему сильное оружие для целей своей пропаганды, построенной на хорошем знании психологических перегибов людской совести. Подумав об этом, я заказал в библиотеке две книги: «Психология толпы» француза Г. Лебона и «Преступная толпа» С. Сигиле, тоже француза, которые до крайних пределов развили теорию стадной управляемости народных масс, покорно следующих за преступной, но сильной личностью. Странно, что этих книг не выдали на руки. Следователь — в ответ на

¹ Очевидно, автор мемуаров был арестован вместе с А. Д. Лактионовым, командующим войсками Прибалтийского военного округа; тогда же была репрессирована большая группа военных, уцелевших после 1937 года. Часть из них — по решению Сталина — была возвращена, как К. А. Мерецков, впоследствии маршал Советского Союза, на свои посты, а другая часть, некоторые с женами, была расстреляна в октябре 1941 года.

мой протест — советовал для прочтения популярный роман Николая Шпанова «Первый удар».

— Эту книгу, — сказал он, — одобрил сам товарищ Сталин, и сейчас все краскомы и все красноармейцы обязаны изучить ее... такие книги мобилизуют массы в нужном направлении. Автор толково показал, как немецкий пролетариат, вооруженный могучими идеями Ленина — Сталина, сам свергает негодный режим.

— Благодарю, — отвечал я, — но с этим романом уже знаком, прочтя его с неслыханным удовольствием...

После 22 июня 1941 года допросы прекратились. Шлык пожелал видеть меня лишь в конце месяца, и я с трудом узнал его — так он переменялся, посеревел лицом, и без того серым от беспощадного курения папирос «Казбек». Мне его было не жалко, хотя я не мог угадать причины его подавленного, угнетенного состояния. Черт меня дернул сказать:

— Вам не кажется, гражданин Шлык, что скоро мы можем поменяться местами?

— Почему? — удивился он, даже растерянный.

— Потому что вы уже неспособны к работе и вам, кажется, будет полезно общение с врачом в кабинете невропатологии.

Шлык запустил в меня тяжелым пресс-папье.

— Ну, ты... гнида старая! — заорал он, хотя прежней уверенности в его голосе я не заметил...

Этого следователя я больше никогда не видел, а при встрече с ним на том свете плюну ему в похабную морду. Допросы прекратились, но кормить стали лучше. Я получил целый коробок спичек, не изуря себя расщеплением каждой на четыре доли. Однажды вечером меня в камере навестил молодой полковник НКВД, благоухающий одеколоном «Красная Москва», за ним надзиратель внес в камеру чернила с пером и большую стопку бумаги.

— Нет, допроса не будет, — утешил меня полковник. — У меня к вам разговор иного рода. Представьте себе, что на нашу страну вдруг напало некое государство Европы... Что бы вы, старый опытный генштабист, предложили сделать для борьбы с ним? Изложите свои размышления на бумаге.

Я сразу отказался от этой странной затеи:

— Я не извещен, что творится в мире, и прежде всего должен бы знать, какое государство напало на Россию? Назовите мне противника, тогда получите и мой ответ. Но я догадываюсь, откуда пришла война...

Полковник удалился, чтобы вернуться на следующий день, и был намного откровеннее, нежели вчера:

— Нет смысла скрывать вероломное нападение Германии, наши войска отступают по всему фронту, и не в лучшем порядке... Нами оставлены многие города, под угрозой нашествия даже Киев — мать городов русских. Мне поручено узнать ваше мнение, что бы вы предприняли для противоборства?

Бояться мне было нечего, я отвечал честно:

— Сначала я бы убрал из области вооружения Кулика и всех прочих куликов, много взявших власти

на нашем болоте. Я бы выпустил из тюрем всех репрессированных «врагов народа», специалистов военного дела и конструкторов оружия, а меня, — заключил я, — можете оставить в этой камере, ибо я сейчас уже малопригоден для общего дела.

— Наркомом обороны назначен сам товарищ Сталин... Как вы мыслите борьбу с немецкой разведкой?

— Работа абвера совершенна, — отвечал я. — Сейчас, пока мы с вами беседуем, в Германии гребут горстями наших доморожденных Штиберов и Лоуренсов, все достоинство которых едино лишь в том, что в школе они сдали экзамены по немецкому языку на круглые пятерки и были весьма активны на комсомольских собраниях...

Меня избавили от неволи 22 июля — как раз в тот день, когда немецкая авиация совершила первый налет на Москву. Передо мною извинились, сославшись на «обстоятельства».

— Ваши извинения принимаю, — был мой ответ. — В конце концов, можно понять: я дворянин и бывший генерал царской армии, мои понятия о чести не всегда схожи с вашими. Но вы никогда не сможете объяснить мне, почему «врагами народа» стали сыновья крестьян и рабочих, делавших революции?..

И вот я снова в пустой затхлой квартире. Ночью прослушал немецкое радио. Боже, что творилось в эфире... какая свистопляска... как издевались над нами! Я плакал...

Страшнее страшного страха было сокрытие правды. Власть утаивала от народа свой позор — Минск немцы взяли на шестой день войны, а по радио у нас сообщали о жестоких боях на Минском «направлении» (понимай как знаешь). 3 июля Хозяин заявил по радио, что лучшие дивизии врага разбиты, танки и авиация противника нашли могилу в нашей земле. И чем дальше на восток продвигался вермахт, тем все более миллионов немцев «убивало» Совинформбюро в своих кабинетах; иногда даже казалось, что в Германии давно не осталось людей, все уже давно похоронены нами...

Когда я снова появился в разведотделе Генштаба, меня встретили очень дружелюбно, сослуживцы наперебой спешили сказать мне, что они всегда верили в мою честность.

— Сейчас, говорят, будет издан указ о праве ношения царских боевых орденов, полученных за войну с кайзеровской Германией... Много у вас таких?

— Больше, чем у вас советских, — отвечал я...

Однако в разведке меня использовали, скорее, в роли «консультанта», а затем в том же амплуа перевели ради «укрепления кадров» в Радиокomitee, занятый тем, чтобы пропаганде Геббельса противопоставить свою контрпропаганду. Возглавлял эту архисложную работу Дмитрий Алексеевич Поликарпов, и я, не будучи знаком с ним ранее, был приятно удивлен, встретив в этом партийном деятеле человека умного и честного. Он всегда говорил со мною на пределе откровенности, что и позволяло мне отвечать ему тем же.

Здесь уместно дельное примечание. Со времен

библейской давности народы мира, не надеясь только на грубую военную силу или разум своих правителей, всегда дополняли их важным фактором психологического давления на общественное мнение противников. К сожалению, наша страна оказалась совершенно неподготовленной к тому, чтобы бороться с Геббельсом и его компанией, уже имевшей большой опыт в демагогии, признаюсь, я не раз удивлялся, как искусно в Берлине отмывали черного кобеля добеда. С тотальным государством вообще труднее бороться.

И не все в нашей контрпропаганде мне нравилось. Помню, когда немецкие коммунисты, живущие в Москве, составили первую листовку, обращенную к гитлеровским солдатам, ее отнесли — ради проверки — Льву Захаровичу М[ехлису], заседавшему в высоких инстанциях. Этот авторитетный товарищ, запросто вхожий к Хозяину, всю листовку снабдил множественным грубейшим ругательством по адресу Гитлера, призывая немецких солдат сразу бросать оружие и сдаваться в плен, пока не поздно, иначе им худо будет... Помню растерянность Вильгельма П[ика], увидевшего свое творение в искаженном виде. Мне пришлось крупно поговорить с Поликарповым.

— Вы же верите в силу нашей пропаганды? — укорил он меня.

— В такую вот филькину грамоту, составленную из браня, не верю. Немецкий солдат наступает, а наш драпает. В такой момент призывать немцев к свержению Гитлера — по меньшей мере нелепо. И до тех пор, пока мы не научимся побеждать, немцы будут нашими листовками подтираться. Убеждать побеждающего врага, чтобы он покорился побежденным, — это занятие для идиотов. Наконец, сами немецкие коммунисты сказали мне, что ругать Гитлера еще не пришло время...

Я советовал вести контрпропаганду осторожно, сначала на тормозах. Напомнить о временах Фридриха Великого, который был очень талантлив, но все-таки разбит русской армией; напомнить о железном канцлере Бисмарке, человеке громадного ума, который предупреждал немцев не задирать хвост перед Россией, иначе Германия разлетится вдребезги; напомнить немцам о том, что Германия еще не расплатилась с Россией за 1813 год, когда именно русский солдат спас Европу и освободил Пруссию от наполеоновской оккупации.

— Наконец, — сказал я, — надо читать по радио дуракам в Берлине стихи немецкого поэта и патриота Арндта, который говорил, что короли приходят и уходят, а сама Пруссия, сам немецкий народ остаются... Если мы сегодня еще не обладаем ораторским искусством Ганса Фриче, радиодиктора Берлина, так давайте подсунем им Бисмарка или Арндта, которые красноречивее Геббельса... Будем бить немцев примерами немецкой истории!

Однажды, прослушав запись передачи на Германию, я сказал Поликарпову, что выпускать ее в эфир никак нельзя.

— Почему? М[ехлис] одобрил текст.

— Нельзя, — объяснил я, — чтобы московский диктор, вещающий на Германию, зараженную анти-

семитизмом, говорил с сильным еврейским акцентом.

— Помилуйте, но Лев Захарович...

— Но... акцент, черт побери! — вспыхнул я. — Какой немец поверит Москве, если услышит голос еврея?

Не знаю, дошло это до Л. З. М[ехлиса] или нет, но при встрече со мною он осмотрел меня чересчур выразительно:

— Мало сидели? Еще захотелось? — и отошел...

Я предложил, помимо официальной («белой») пропаганды, вести иногда и «черную», когда источник ее неизвестен. Немец в Германии, случайно нащупавший в эфире незнакомую станцию, может подумать, что передачу ведет тоже немец, затаившийся со своим передатчиком где-то в Германии. Для этого я как следует подготовился, решив изобразить себя тем немцем, который не забыл еще старой, добропорядочной Германии; никаких призывов — одни эмоции... Мой голос был совершенно неизвестен в международном эфире, и я решил побыть в роли радиодиктора.

Помню, как раз в Москве объявили воздушную тревогу, когда я впервые подошел к микрофону. На пульте вспыхнул сигнальный свет — можно начинать.

— Германия! — начал я. — Где твои милые, уютные города, обвитые старомодным плющом, где твоя былая философская скромность бытия и твои прекрасные музеи, наполненные сокровищами старой мысли? Я люблю тебя, умная, деловая, скромная и просвещенная Германия — страна, давшая миру так много, всем европейцам и всем нам, немцам. Теперь, у меня нет сердца — открытая рана, и она кровоточит гневом и страхом...

В сорок первом, когда всем русским людям хотелось верить в близкую гибель военной машины Германии, находились горе-ученые, строившие в угоду нашим правителям добренькие прогнозы о том, что Германия вот-вот выдохнется, ибо в ней наступит истощение от нехватки сырья.

Наша армия по-прежнему отступала, обгоняя ревущие стада колхозных коров и многотысячные толпы изнуренных беженцев, а наш академик Е. С. Варга печатно заверял публику, что еще месяц-два, и все моторы танков и самолетов Гитлера умолкнут, ибо кончатся запасы горючего. Вот именно тогда, рискуя прослыть «паникером», выступил наш знаменитый ученый А. Е. Ферсман, подсчитавший экономические возможности стран гитлеровского блока, и пришел к самому точному выводу:

— Германия развалится к весне сорок пятого года...

Я увлекся своей работой, занимаясь «черной» пропагандой, как немецкий антифашист, живущий где-то в Германии, и, подходя к микрофону, я почему-то всегда вспоминал ценное изречение Ганса фон Секта: «Офицер генерального штаба не должен иметь своего имени!» У меня и не было теперь имени — и не надо мне имени, лишь бы осталось в святости имя Родины...

1. НАША КАТЕРИНА ПРОСТО КИПИТ...

Я вернулся в Петербург еще до объявления войны, и в моей голове почти болезненно пульсировал идиллический рефрен для детского понимания: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от волка уйду...» После двукратного бегства — из Германии и Австрии — меня угнетало чувство своей непригодности для работы в разведке, и я, страдая самолюбием, считал себя «мертвецом в отпуску». Тайный агент, я как бы перестал быть тайным после двух разоблачений, и даже не удивился, получив на домашний адрес почтовую открытку, украшенную целующимися голубками: «Дорогой Наполеон! Остров Св. Елены — слишком роскошно для Вас, а потому приготовьтесь закончить свои гулянки на виселице. Сразу же заверяем Вас, что лишних свидетелей Вашего позора не будет...»

Хотя угроза войны была очевидна, но я почему-то не очень верил в то, что война возможна. Мне казалось, что июльский кризис так и останется лишь кризисом. Кажется, и сами петербуржцы, лучше других россияне осведомленные, не слишком-то верили, что доживают последние дни мира.

По возвращении в столицу первое, что меня поразило, так это бешеное падение цен на все товары и баснословная дешевизна продуктов, а цены все падали и падали — это было результатом июльского кризиса: вдруг не стало экспорта, а потому все торговцы спешили сбыть свои товары. Примерно за неделю до 1 августа (роковое число!) я был вызван в Генштаб, где без лишних свидетелей меня наградили высоким военным орденом. Почти тогда же — без публикации в газетах — я был жалован во французском посольстве орденом Почетного Легиона, который в присутствии посла Палеолога мне вручил военный атташе Маттон де ла Гиш...

После того как меня достаточно обмозжали медом, я был причислен к «Разведывательному отделению Главного управления Генштаба», работа которого была почти легальна; моя фамилия появилась в официальных справочниках должностных лиц Российской империи, только начальную букву своей фамилии «О» я просил переделать на букву «А».

Я держался несколько особняком от сослуживцев, чаще всего общаясь с Оскаром Энцелем, будущим начальником генштаба Финляндии, и полковником Сергеем Марковым, который — по словам Алексея Толстого — навсегда отравился «трупным дыханием» войны. Я занимался балканскими делами, поглощенный «изменой» болгарского царя Фердинанда, переставившего Болгарию на рельсы Тройственного союза — против России, и частенько сожалел, что Апис не довел заговор до конца, чтобы прикончить этого холуя Гогенцоллернов и Габсбургов. Мне кажется, мы просто не сумели «купить» эту продажную сволочь, а банковский концерн «Дисконто-Гезельшафт» вовремя отсчитал болгарскому царю 500 миллионов франков... С высшим начальством я мало общался, и только один раз о моих делах справился генерал Янушкевич:

— Ну, чем можете порадовать?

— Радости мало, и, пожалуй, я солидарен с мнением Конрада фон Гетцендорфа, который недавно отпустил комплимент по нашему адресу, более схожий с оплеухой: «Победить русских очень трудно, но и самим русским трудно быть победителями!»

Поглощенный делами, я жил очень скромно, совсем не грешил винопитием и не нарушал седьмую заповедь, хотя соблазнов было — хоть отбавляй. Я сознательно избегал шипов и роз Гименея, ибо, сидящий на самом вершине вулкана, скоро уже сообразил, каким извержением закончится «июльский кризис», и не одна Помпея будет засыпана пеплом...

Случай возобновил мое давнее знакомство с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, приехавшим в столицу из Чернигова. Он был старше меня лет на пять, если не больше, но выделялся своей образованностью: помимо Академии Генштаба, окончил Межевой институт и Московский университет. Я был извещен, что его брат Владимир Дмитриевич убежденный большевик, сотрудник ленинской «Искры», знаток религиозных культов. Теперь один брат готовил Россию к войне, а другой протестовал против войны... Что ж, и такое в жизни бывает!

Разговор у нас был короткий, но содержательный. Бонч-Бруевич — об этом было нетрудно догадаться — ведал делами контрразведки, и он не скрывал своей озабоченности тем, что на верхних этажах империи кто-то нам сильно гадит. Был упомянут и Сухомлинов, ослепленный старческой страстью к своей вульгарной Екатерине, даме блудливой и развязной.

— В конце-то концов, — уныло говорил Михаил Дмитриевич, — это просто баба, которой нравится быть первой в деревне. Но вокруг нее крутятся не только модистки и спекулянты бриллиантами. Через нее в дом военного министра проник и некий Альтшуллер, бывший у нас на примете еще в Киеве. Но едва раздался выстрел в Сараево, как он моментально скрылся, а следы его обнаружили в Вене. Подозрителен и полковник Мясоедов, окруженный всякой нечистью, недаром же Вильгельм II любил охотиться с ним в лесах прусского Роминтена...

К чему я вспомнил эту беседу? Только к тому, что впоследствии, когда земля горела у меня под ногами, я оказался в секретном вагоне Бонч-Бруевича, стоявшем на запасных путях революционного Петрограда, и, может, именно потому из генералов царской армии я сделался генералом советским...

И вот настал судный день — день 1 августа 1914 года!

Утро... Кайзер накинул поверх нижней сорочки шинель прусского гренадера и в ней принял Мольтке («как солдат солдата»). Германские грузовики с запыленной пехотой в шлемах «фельдграу» уже мчались по цветущим дорогам нейтральных стран, где никто их не ждал. Часы пробили полдень, но графа Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Германский посол прибыл, когда телеграфы известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург и теперь войска кайзера готовы молнией пронизать Бельгию... Пурталес спросил:

— Прекращает ли Россия свою мобилизацию?

— Нет, — кратко ответил Сазонов.

— Я еще раз спрашиваю вас об этом.

— И я еще раз отвечаю вам тем же — нет...

— В таком случае я вынужден вручить вам ноту.

Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась высокопарной фразой: «Его величество кайзер от имени своей империи *принимает вызов...*» Это было попросту глупо!

— Можно подумать, — усмехнулся Сазонов, — мы бросали кайзеру перчатку до тех пор, пока он не снизошел до того, что вызов принял. Россия не начинала войны. Нам она не нужна! У нас достаточно и своих нерешенных проблем...

— Мы защищаем свою честь, — напыжился Пурталес.

Сазонов без надобности открыл и закрыл чернильницу.

— Простите, но в этих словах — пустота...

Только сейчас министр заметил, что Пурталес, пребывая в состоянии аффекта, вручил ему не одну ноту, а... две!

Берлин снабдил посла двумя редакциями нот для вручения Сазонову одной из них — в зависимости от того, что тот скажет об отмене мобилизации. Но Пурталес допустил чудовищный промах, вручив министру обе редакции. Затем, объявив России войну, германский посол сразу как-то ослабел и, шаркая, поплелся к окну, из которого был виден Зимний дворец. Неожиданно он стал клониться все ниже, пока его лоб не коснулся подоконника.

Пурталеса буквально сотрясало в страшных рыданиях.

Сазонов подошел к нему, похлопал его по спине:

— Взбодритесь, коллега. Нельзя же так отчаиваться.

Пурталес, горячо и пылко, заключил министра в объятия:

— Мой дорогой, что же теперь будет... с нами?

— Проклятие народов падет на Германию...

— Ах, оставьте... разве вы или я хотели войны?

На выходе из министерства Пурталеса поставили в известность, что для выезда его посольства завтра утром будет подан экстренный поезд к перрону Финляндского вокзала. Сборы были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков. Но в четыре часа ночи Сазонов разбудил его звонком по телефону из министерства:

— Кажется, нам не расстаться. Дело вот в чем. Государь только что получил телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы наша армия ни в коем случае не нарушала германских границ. Я никак не могу освоить в своем сознании: с одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой — эта же Германия просит нас не переступать ее границ.

— Этого я вам объяснить не могу, — отвечал Пурталес.

— В таком случае извините. Всего хорошего.

На этом они нежно (и навсегда) расстались...

Примечательно: самые здравые монархисты — и в

Берлине и в Петербурге — отлично понимали, что в этой войне победителей не будет — всех сметут революции! Но в 1914 году все почему-то были уверены, что революция сначала возникнет в Германии.

— А как же иначе? — говорили наши головоупы. — Немцы, они, брат, культурные.

— Побольше допинга! — восклицал Сухомлинов. — Германия — лишь мыльный пузырь, заключенный в оболочку крупновской брони. Моя Катерина просто кипит! Дома сам черт ногу сломает. Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику. Щиплют корпию, режут бинты... Вот лозунг наших великих дней: все для фронта, все для победы!

Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что все-таки не он, а великий князь Николай Николаевич, матерый алкоголик и бабник, назначен верховным главнокомандующим, как дядя царя. Петербург давно не видал такой жарыщи, а Янушкевич уже хлопотал о валенках и полуботках.

— Помилуйте, с меня льет пот. Какие валенки?

— Еще и подковы с шипами на случай гололеда.

— Да мы через два дня будем в Берлине, — смеялся министр. — Нынешняя война не Семилетняя, когда наша бедная Лиза не знала, как ей устыдить Фридриха Великого...

На Исаакиевской площади озверевшая толпа «патриотов» уже громила германское посольство — уродливый храм «тевтонского духа», отвечающий призыву кайзера: «Цольре зовет на бой!» С крыши летели на панель бронзовые кони Буцефалы, вздыбившие копыта над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев; рубили в куски старинную мебель, под ломами дожгих дворников с жалобным хрустом погибала драгоценная коллекция антиков графа Пурталеса...

Берлин упивался теvтонской мощью, тамошние ораторы утверждали, что «железное исполнение долга — это ценный продукт высокой германской культуры». Немецкие газеты предрекали, что это будет молниеносная война — война «четырех F»:

Frischer. Frommer. Frölicher. Freier.

Освежающая. Благочестивая. Веселая. Вольная.

Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами:

— Еще до осеннего листопада вы все вернетесь домой...

В русском Генштабе появился полковник Базаров, бывший военный аташе в Берлине, он просил дать ему свои же секретные отчеты с 1911 года. Был удивлен:

— Я не вижу пометок министра. Читал ли их Сухомлинов?

— Подшивали аккуратно. Наверное... читали.

Базаров отшвырнул фолиант своих донесений.

— Это преступно! — закричал он. — Что мне с того, что его Катерина кипит, как самовар, если я в Берлине напрасно вынюхивал, подкупал и тратил казенные тысячи... Не я ли предупреждал эту Катерину,

что военный потенциал немцев превосходит наш и французский, вместе взятые.

— Вы забыли об Англии, — тихо напомнил Энкель.

— Да плевать я хотел на вашу Англию! — совсем осатанел Базаров. — Для англичан война — это спорт, а для нас, для россиян, война — это смерть...

Бравурная музыка лилась в открытые настежь окна. Шла русская гвардия — добры молодцы, кровь с молоком, косая сажень в плечах, — они были воспитаны погибать, но не сдаваться.

Сухомлинов названивал в Генштаб — Янушкевичу:

— Ради бога, побольше допинга! Катерина кипит... Хочется рыдать от восторга. Я уже отдал приказ, чтобы курорты приготовились для приема раненых. Каждый защитник отечества хоть разок в жизни поживет у нас, словно Ротшильд.

— Владимир Александрович, — отвечал Янушкевич, — люди по три-четыре дня не перевязаны, раненых не кормят. Бардак развивается по всем правилам великороссийского разгильдяйства. Без петровской дубинки не обойтись! Пленные ведут себя хамски — требуют вина и пива, наших санитаров обзывают «ферфлюхтер руссен»! А наша воздушная разведка...

— Ну, что? Здорово наавиатили?

— А наша артиллерия...

— Небось наснарядяли?

— Я кончаю разговор. Неотложные дела.

— Допингуруйте, дорогой. Побольше допинга!

Империя вступала в войну под истошные вопли пьяниц, с тихим ужасом воспринявшим сообщение газет о введении в стране «сухого закона». Все алчущие спешили напоследок надраться так, чтобы в старости было что рассказать внукам: «Вот кады война с германом началась... у-у, что тут было!»

Из храмов выплескивало на улицы молебны Антанты:

— Господи, спаси императора Николая...

— Господи, спаси короля Британии...

— Господи, спаси Французскую Республику...

Литавры гремели, дождем хризантем покрывались брусчатые мостовые «парадиза» империи. Самое удивительное, что добрая половина людей, звавших сейчас «На Берлин!», через три года станет кричать «Долой войны!».

На пороге кабинета Сазонова уже стоял Палеолог:

— Умоляем... спасите честь Франции!

Август. Немцы шли прямо на Париж.

2. ПАРИЖ НАДО СПАСАТЬ

Я никогда не бухался на колени перед громогласными доктринами германской военщины, всегда твердо зная: России можно нанести поражение, но победить ее нельзя. «Перевоевывать» войны на иной лад — занятие бесполезное, но повторять историю пришлось, и в 1944 году наши солдаты шли по тем же лесам и болотам, где в 1914 году погибали их отцы и деды. Они побеждали, чтобы освободить Европу от насилий фашизма, а мы ложились костьми, чтобы спасти честь Франции!..

Лето выпало жаркое: вокруг Петербурга горели леса и массивы торфа, столица плавала в едком дыму, который окутывал улицы пеленой, словно саваном, едко щекотал ноздри. Как мне было грустно в пустой квартире, где после смерти отца я все оставил так, как было при нем, а он оставил все так, как было еще при матери.

Помню, что входную дверь я закрывал, но она оказалась открытой, и потому появление полковника Базарова было для меня неожиданным. Равнодушно оглядев запустение моего жилья, он сразу заговорил, что войны могло бы не быть:

— Если бы проклятая Англия в самом начале кризиса твердо заявила о своем боевом союзе с нами и Францией, после этого кайзер поджал бы хвост. Но в Лондоне исподтишка радовались, как мы грыземся, и только теперь заявили, что не позволят немцам нарушать нейтралитет Бельгии. Впрочем, не буду чесать в понедельник то место, что чесалось еще в воскресенье. Война — факт!..

— Павел Александрович, у вас ко мне дело?

Дело касалось меня. При штабах армий заводились разведотделы, но за неимением специалистов возглавлять их брали жандармов. Базаров сказал, что глупость подобного решения очевидна, ибо разведка — тем более в условиях фронта — это не полицейская облава.

— Сейчас образован Северо-Западный фронт под общим командованием генерала Жилинского, готовый к удару по Восточной Пруссии, дабы оттянуть немецкие силы от Парижа. В составе фронта две армии. Первая — генерала Ренненкампа, известного по кличке «желтая опасность»¹. Вторая — под командованием генерала Самсонова, прозванного за богатырскую статью «Самсоном Самсонычем»... В какой вы хотели бы служить?

Я спросил коллегу о генерале Ренненкампе:

— Можно ли доверять Павлу Карлычу? «Желтая опасность» уже проявил себя ложью, хапужничеством и негодайством.

— Что делать? — со вздохом отозвался Базаров. — Ренненкампу особо доверяет сам государь император, который не может забыть его услуги в пятом году... Кстати, Жилинский тоже склонен не доверять «желтой опасности»...

Разговор с Базаровым был у нас откровенным.

— Я не доверяю авторитету и Жилинского, который в войне с японцами возглавлял штаб при Куропаткине, подтверждая те глупости, которые делал тогда Куропаткин. Жилинский сберег свою репутацию при дворе, умея очаровывать придворных дам, но... популярности в армейской среде не обрел. По сути дела, это военный бюрократ, недаром в Генштабе его зовут «живым трупом»...

Выслушав это, я просил время подумать.

¹ Это странное прозвище имело простое объяснение: «желтая» — по цвету желтых казачьих лампасов, которые носил П. К. Ренненкамф на своих штанах, «опасность» — в память о 1905 годе, когда этот генерал жестоко подавил революционное движение в Сибири.

— Время не ждет. Я пришел за вашим «да» или «нет».

— А кто при Самсонове начальником штаба?

— Генерал-майор Постовский.

— Это «сумасшедший мулла»? — спросил я.

— Да, таковым именуют его, не считая вполне нормальным, ибо он делает себе «намазы», как правверный мусульманин.

— А кто при Самсонове военным агентом? Француз?

— Нет. Англичанин. Майор Нокс.

— Павел Александрович, — спросил я, поразмыслив, — а в какой из армий, в Первой или Второй, хотели бы вы служить сами начальником разведотдела?

— Ни в какой, — ответил Базаров, поднимаясь.

Вокруг не за власть — люди погибают за Отечество!

Дело историков разобраться, почему на войну с Японией русские шли неохотно, а нападение Германии на Россию вызвало пробуждение национальных чувств. Так было в 1914-м, так было и в 1941 году... Наверное, в русском народе слишком сильно давнее недоверие к Германии, которая со времен Петра I представляла для царского двора временщиков, а немцы входили в «элиту» придворного общества. Наконец, в эпоху крепостничества помещик брал в управляющие именно немца, и тот плетью и палками выколачивал из людей оброки.

Теперь против многонациональной России ополчились единопациональная Германская империя, спаянная «железом и кровью» из четырех королевств, шести великих герцогств, пяти просто герцогств, семи княжеств и трех «вольных городов» (Гамбурга, Любека и Бремена). В эти дни я слышал выражение одного интеллигента «Сатана связался с Люцифером», но кто тут был Сатаной, а кто Люцифером — об этом не хотелось думать. Мне виделось иное. Крестьянин, выходя весной в поле, всегда надеется, что осенью соберет урожай. Армия, вступая в войну, обязана верить, что в конце ее будет победа. И пахарь и солдат одинаково терпят лишения ради конечного результата. Не будь этой манящей впереди цели — к чему же тогда наши усилия?

Увлеченный общим патриотическим порывом (не боюсь высоких слов), я совсем не хотел оставаться в Петербурге на правах «тыловой крысы», и вскоре состоялось мое официальное назначение начальником разведки при штабе Второй армии Самсонова. Но прежде у меня возник разговор в кабинете генерала от инфантерии Н. Н. Янушкевича, который был памятен мне по Академии Генштаба, где он читал лекции по военной администрации. Николай Николаевич мог считать свою карьеру удачной, ибо теперь состоял начальником штаба при главкомверхе, умея ладить и с барином и с его кучерами. Оскар Энкель предупреждал меня, что в беседе с Янушкевичем следует быть осторожным, ибо он находит особое удовольствие от перлюстрации писем офицеров Генштаба, но я, помнится, утешил Энкеля ответом, что перепискою не грешу.

В разговоре с Янушкевичем я высказал сомнения:

— Пока что я имею хомут, не имея лошади. Наляживать разведку вслепую, не имея агентуры, дело трудное. На доверие немцев Восточной Пруссии нельзя рассчитывать, ибо, как вы сами догадываетесь, нас не встретят цветами.

— Вы же служили в погранстраже Граево, — сказал Янушкевич, проявив осведомленность в моей биографии. — Попробуйте наладить связи с местными контрабандистами.

— Простите, — отвечал я, — но прокурору, карающему вора, не следует прибегать к помощи воровского жаргона. Откуда мы знаем? Вербуя контрабандистов, можно ли быть уверенным, что они, часто бывая в Восточной Пруссии, уже давно завербованы германской разведкой, и согласятся стать «герцогами», чтобы получить от немцев марками, а от меня — рублиями... Нет уж! — сказал я. — С этой сволочью не стоит связываться, дабы сохранить чистоту мундира.

Янушкевич напомнил мне, что в таком «грязном» деле, как шпионаж, отбросов нет — есть только кадры.

— Верно! — согласился я. — Но меня взяли в разведку Генштаба не из отбросов общества, ночующих под мостами Обводного канала. Единственное, что могу сделать, так это привлечь к работе поляков или мазуров, населяющих Пруссию с давних времен, благо сейчас их древняя столица Эльк (нынешний город Лык) открывает нам дорогу в Пруссию.

— Прусские мазуры — лютеране, — возразил Янушкевич.

— Но они же и славяне, порабощенные крестоносцами, мазурам выпала участь наших ливов и эстов в Прибалтике.

— Воля ваша, — отвечал Янушкевич...

С удовольствием кота, поймавшего мышь, он открыл секретный сейф своего кабинета. Я считал его умным человеком, но он удивил меня глупостью, когда с таинственным видом извлек наружу роскошный бювар с казенной надписью: «Дело № 00001. МАРИЯ СОРРЕЛЬ». В бюваре хранилась фотография голый женщины, которая, лежа в постели, вздымала за здравие мужчин бокал с вином. Я не был бабником, даже возмутился:

— Помилуйте, при чем здесь эта дешевая порнография, если речь у нас идет о серьезных делах?

Янушкевич с тем же удовольствием кота плотоядно обозрел на фотографии сочные прелести красотки.

— Вы, — начал он, — напрасно ополчаетесь противу жандармов, взявших в свои опытные руки дело фронтальной разведки. Как видите, жандармы тоже даром хлеба не едят. Именно они раздобыли не только эту карточку, но им удалось даже составить список господ офицеров Первой армии, имевших удовольствие «употребить» эту даму. А в конце этого списка, — сказал Янушкевич, показав и сам список, — мы видим «желтую опасность» со стороны самого генерала Ренненкампафа.

— Напомните, как зовут эту женщину?

— Мария Соррель.

— Французенка?

— Таковой считается.

— А вы уверены в этом? — спросил я, и мне стало тошно. — Вы меня извините, Николай Николаевич, но это еще не разведка. Если мы станем коллекционировать фотографии всех красоток, так нам не совладать с разведкой противника и, уж конечно, трудно наладить свою разведку.

Янушкевич с огорчением захлопнул бювар.

— Повезло же Павлу Карлычу... на старости лет! Хороша его Гильза Патроновна, хороша. А на меня вы напрасно обиделись, — построжел Янушкевич. — Этой фотографии придавал немалое значение не только главнокомандующий. Его императорское величество тоже высочайше оценил вкус Ренненкампа. У вас же, я вижу, иной вкус?

«Дурак ты дурак», — подумал я, поднявшись, чтобы откланяться. Мне стало ясно, что налаживать фронтową разведку будет трудно. В 1918 году, когда Янушкевича арестовали, он был пристрелен конвоирами, и мне, признаюсь, не стало его жалко. Не жалел я потом и генерала Ренненкампа, как не жалел и его Гильзу Патроновну — эту Марию Соррель!

С началом войны среди офицеров появилась глупая мода — украшать себя разными побрякушками, чтобы произвести впечатление на слаонервных женщин. Идет, бывало, офицер, весь опутанный ремнями португепи, при шпорах, а сам обвешался револьвером, биноклем, фотокамерой «кодака» и даже свистком для поднимания солдат в атаку, — смотреть страшно! Я, конечно, этим барахлом не увлекался, мои сборы на фронт были скромнее: купил десять банок мясных консервов у Елисеева, обзавелся пачками кофе и табак — этого пока хватит...

До сих пор я не распознал взаимосвязь событий, возникших после моих бесед с Базаровым и Янушкевичем. В кармане мундира уже лежал билет на варшавский экспресс, когда — совсем неожиданно! — со мною пожелал встретиться А. И. Гучков, слишком авторитетный в политических кругах Думы как один из лидеров кадетской партии. Поначалу я расценил его желание совсем иначе: Гучкова я чуточку помнил еще по англо-бурской войне, в которой он, как и я, участвовал добровольцем; я отделался тогда пленом, а Гучков тяжелым ранением...

Александр Иванович обеспокоил меня по телефону:

— Вас не затруднит короткая встреча, скажем, на Стрельне. С вашего соизволения, со мною будет Николай Виссарионович Некрасов, тоже думец и мой соратник.

Я согласился, хотя к политическим говорунам относился так-сяк. Бранить кадетов могут только праздные люди, ибо ловкачество входит в их партийную программу так же естественно, как желание человека обедать. Мы встретились в ресторане «Стрельна». Некрасов, знакомясь, почему-то не заикнулся о своем политическом кредо, представившись «профессором Томского университета по возведению мостовых конструкций». Мне это было безразлично даже в

том случае, если бы он назвался «ученым по изготовлению кислых щей». Мы уселись за столик, и ведьма-цыганка, качнув в ушах громадными серьгами, задела низким, страдающим голосом: «Слышишь ли, разумешь ли?..»

Я слушал и разумел, а Некрасов напомнил нам о «сухом законе», обязательном для всех:

— Коньяк подают только в стакане под видом чая, который надо помешивать ложечкой...

Гучков вдруг пылко заговорил, что война возникла совсем не потому, что была необходима России или Германии:

— Все гораздо проще! Стрела сорвалась с тетивы не потому, что ясна цель, а просто потому, что руки политиков устали держать тетиву в долгом напряжении. Но, поверьте, в мире есть еще надполитические и наднациональные силы, способные организовать человеческий материал в наилучшем общественном порядке.

— Это... — наемкнул я, нарочно запнувшись.

— Это... — не решился Гучков сказать открыто.

— Смелее! — прикрикнул я. — Догадываюсь о тайном сообществе людей с благожелательными намерениями... Не так ли?

— Примерно так, — кивнул Гучков.

Не требовалась ума палата, чтобы сообразить, в какую шайку меня увлекают. Ясно, что оба думца желали бы втянуть меня в свои масонские плутни, в которых загробная мистика настояна на густых дрожжах тайной политики. Я ответил:

— Знаете, из кабака не идут в церковь, а из храма божия не станут шляться в кабак. Паче того, вы, господа, и ваша ложа являетесь лишь филиалом известной французской фирмы.

Об этом я был извещен достаточно точно.

— Неправда, — тихо возразил Гучков, — мы уже давно порвали с гегемонией французских масонов, ибо у нас, у русских, своя программа, более широкая... поверьте мне! И шкура у нас покрепче, самой высокой выделки — почти дубленая.

— Жизнь в России и без того сложная, — отвечал я, — так стоит ли осложнять ее розенкрейцерскими выкрутасами времен Очакова иль покоренья Крыма? Сейчас война, — рассудил я, — и Екатерина Великая правильно сделала, что во время войны со шведами и турками пересажала своих масонов за решетку, чтобы не вредили своими связями с врагами России.

— Вот мы и добиваемся... мира, — ляпнул Гучков.

— А зачем вам понадобился мир? — спросил я.

— Чтобы не было войны.

— У нас получается детский разговор. Но я всегда был далек от пацифизма. Не Россия напала на Германию, а Германия напала на Россию, в таких случаях мне, русскому офицеру, надо воевать, а не думать о символическом значении треугольника или «Розового креста» мальтийского рыцаря Кадоша...

Некрасов словно очнулся от сладкой дремоты:

— Видно, вы читались Тирь Соколовской, которая с того и кормится, что не умеет разгадать, сколько будет дважды два... Между тем все гораз-

до сложнее! Интернациональная надстройка масонов всего земного шара способна разрушить узкополитические козни продажных правительств.

На этот вызов я решил не отвечать.

— Вы, я вижу, плохо относитесь к нам, политическим лидерам *будущей* России? — напрямик спросил Гучков.

— А почему я должен относиться к вам хорошо? Почти все политики, наобещав целый короб всяческих благ, молочные реки и кисельные берега, потом до самой смерти объясняют народу, что они хотели сделать и каковы причины, помешавшие им исполнить свои обещания. Между тем полнота политической власти не всегда влечет за собой и полноту ответственности.

— Вы... монархист? — вдруг спросили меня.

— Неубежденный. Всегда был далек от людей, которых еще протопоп Аввакум именовал «шишами антихристовыми», а я приму любой строй, лишь бы он был угоден народу.

— Может, вам близки замыслы социалистов?

— Тоже нет, — отвечал я. — Социалисты требуют распределения жизненных благ из принципа «всем поровну», но я сторонник древней латинской формулы: «каждому свое».

Некрасов молчал, но почему-то — даже молчащий! — он казался умнее Гучкова, и я повернулся к Некрасову:

— Вы ошиблись во мне... Что честно, то не таится света. А что несет зло, то прячется в потемках. Если бы помыслы масонского братства были столь чисты, так они были бы всем известны. Ведь не желают быть тайными «Общество народной трезвости» или «Союз взаимопомощи зубных врачей». Извините, господа. Я уже дал присягу, входя в состав русской армии, и вторую клятву давать не намерен. Честь имею.

Гучков с Некрасовым переглянулись, и по их взглядам я понял, что в конце разговора мне удалось поставить жирную точку. Кажется, я все решил правильно. Но я никак не мог предполагать, что этот витиеватый разговор обернется трагедией для меня через три года, когда Гучков станет военным министром.

Уже через день я был в Варшаве, похожей на переполненный госпиталь. С театральных афиш красовалась опереточная Люцина Мессаль, обещавшая передать доход с концерта в пользу увечных русских воинов. Накоротке я повидался с Николаем Степановичем Батюшиным, попросив у него казенный автомобиль.

— Вы сразу на фронт? — спросил он меня.

— Но прежде загляну на Гожую улицу.

— Зачем? — удивился Батюшин.

— А вдруг мне откроет двери пани Вылежинская?

— Не надейтесь. Она уже посажена нами в тюрьму.

— Вот как? На какой срок?

— Этого ей хватит, чтобы состариться.

— В чем же моя «жена» провинилась?

— Вернувшись из Италии, попалась на контактах

с Юзефом Пилсудским, который сейчас в Вене создает польский легион «Стрелец», направленный против нас — против России, мечтая о возрождении «Великой Речи Посполитой» — от моря до моря... Так что забудьте навсегда об этой Гожей улице.

Я поехал по следам Второй армии генерала Самсонова, уже нацеленной для удара в подвздошину Восточной Пруссии.

Россия была обязана спасти Париж...

3. ДВУМЯ КЛИНЬЯМИ

Старое еще не сдавалось новому, наши генералы негласно делились на «огнепоклонников» и «штыколюбов». Первые уповали на массивированный огонь, вторые — на молодецкое «ура», памятью об известном афоризме Суворова: мол, пуля — дура, а штык — молодец... Штыколюбыв не слишком-то жаловали громы пулеметов, вспоминая слова знаменитого Драгомирова:

— Чтобы укокошить человека, достаточно и одной пули. Но зачем всаживать в него десяток пуль сразу, если его можно прикончить одним точным выстрелом...

Август 1914 года... Мое мнение о тех днях: беспорядок и путаница рождались не в окопах, а в высших инстанциях, и чем выше стоял начальник, тем больше хаоса он порождал: русский солдат нес главные потери даже не в атаках, а при отступлении. Когда же солдат бежит, офицеры пускают в лоб себе пули, а с плеч генералов срывают погоньи... Полно всяких эмоций!

В любом случае солдат, выбравшийся из кошмара боев, всаживает штык в землю и говорит с предельной ясностью:

— Сволочи! Предали... нажрали себе морды, как бураки, а мы пять дён не жрамши. Рази ж это война? Убивство...

Тоже эмоции. Достоверные. Но в монографиях для них не хватает места. Историк мудро погружен в кабалистику дат и цифр, выводы им заранее сделаны. Но, как говорил наш маршал Жуков, нельзя судить о войне только со своей колокольни — надо взглянуть на себя и глазами противника. Всякий актер мнит о себе, что он красавец, но иногда полезно выслушать и мнение публики, то аплодирующей, то свистящей...

Да, нет труднее занятия — быть баталистом!

Знаменитого «чуда на Марне» еще не было, а потому Франция каждодневно требовала от русских «чуда в Пруссии», чтобы Россия не забывала о союзническом долге, обязанная оттянуть от Парижа часть немецких сил...

Я проезжал знакомые места, напомнившие мне пограничную молодость, с поляками говорил на их языке, и все они, как я мог заметить, от души желали побед нашей армии. Батюшин снабдил меня в дорогу целым ворохом немецких газет, взятых у пленных, и я с немалым удивлением читал, что русскую армию сравнивают с ордами Чингисхана, желающими

ми поработить мирную и культурную Германию. В сообщении из Франкфурта-на-Майне говорилось, что в этом городе уже нашли приют первые беженцы, прусские аристократки, взывающие лично к германской императрице, чтобы она своим авторитетом повлияла на военных, обязанных отстоять их древние замки, уютные фольварки и богатые фермы. В газетных карикатурах русские изображались косоглазыми уродами с волосами до плеч, на остриях казацких пик они поджаривали чудесных немецких младенцев.

Шофер, молодой парень, недавно призванный из запаса, гнал автомобиль по дороге на Пултуск. Он уже возил на фронт штабных офицеров, по себе знал, что творилось в Пруссии, куда недавно вошла Первая армия генерала Ренненкампа.

— Грабят много? — спросил я его.

— А чего там грабить? Комод или трюмо на себе ведь не потащишь, — отвечал он, смеясь. — Вот один наш дурак шелковую обивку спорол с мебели, прятанок себе наделал. Ну, как водится, получил по морде... А там, у немцев, и грабить не надо. Войдешь в дом — все открыто; сыр, колбаса — это пожалуйста. Зато хлеба не найдешь. Одни булки. Наши ребята, особо из крестьян, без хлеба прямо звереют.

— А что же хозяева? Разве не звереют, наблюдая, как вы портянки из шелка крутите, их колбасу с сыром жрете?

— Ха! — воскликнул шофер. — Да там хозяев и не ночевало. Все драпанули так, что весь скот остался непоен, некормлен. Свиной там — туча, и все жрать просят. Визжат.

— А как же ландштурм? Партизаны есть ли?

— Одного поймали. Пьян хуже сапожника. Залез на колокольню с ружьем и давай палить по нашим. Ну, посадили его. Вмиг протрезвел. Отобрали ружье, дали хорошего тумака — и все.

Впоследствии я сам убедился, что наше командование вело себя с немцами чересчур либерально. Пултуск поразил меня невозмутимой провинциальной тишиной, даже городовые куда-то попрятались. Над городом нависала вязкая отвратительная жара. Возле древней синагоги, которая почти выросла в землю, словно надгробие, я зашел в убогий ресторанчик, где полно было жирных мух, отчаянно бившихся с налету в оконные стекла, а выводок тощих кошек встретил меня просительным «мяу». Из соображений брезгливости я ограничил свой обед вареными яйцами, а когда покинул ресторацию, мой автомобиль был окружен еврейскими детьми, между ними шустро сновали дремучие еврейские старцы в ермолках.

— А ну, цадики, — прикрикнул я. — Расступитесь...

Следующая остановка — в городке Прасныше, который возвестил о себе зловонием кожевенной фабрики, ощутимым издалека. Здесь временно разместился резерв Второй армии, которая уже была на марше, буквально погибая в глубоких и зыбучих песках бездорожья. На выезде из города я увидел наспех раскинутый походный госпиталь, к большому шатру под флагом Красного Креста тянулась длинная солдатская очередь.

— Что тут происходит? — спросил я из автомобиля.

Последний в очереди солдат охотно пояснил:

— Так что, ваше высокоблагородие, всем нам тиф от холеры прививают, а оспой, слава богу, уже переболели...

Ехали дальше.

— Стой! — заорал я шоферу.

Автомобиль замер. Перед нами, совсем близко за поворотом, прямо посреди шоссе, строился в железный порядок батальон немецкой пехоты. Хищно торчали шишаки шлемов «фельдграу», обтянутых серою парусиной, блестяла новенькая амуниция, сверкали бляхи на поясах. С ними бог! Тут шофер захохотал:

— Фу, как вы меня напугали.

— Да я и сам, братец, перепугался.

— Это ж — пленные. Передых делали, а теперь их дальше погонят... тудыть, где волков хорошо морозить.

Только теперь я заметил наших конвоиров, по-хозяйски гулявших вдоль строя пленных. Немецкие унтер-офицеры по праву заняли места во главе колонны, сплошь обвешанные гирляндами толстых свиных сосисок, два фельдфебеля держали под локтями круглые головы жирного прусского сыра.

— Трогай, — велел я шоферу...

Автомобиль медленно катил вдоль строя военнопленных, которые вполне равнодушно смотрели на меня, а я пристально вглядывался в их лица. Хотелось верить, что я неплохой физиономист и, казалось, угадываю: вот, наверное, баварец, тоскующий по кружке крепкого «мюншенера», вот долговязый пролетарий из рабочего Веддинга, а этот коротышка в очках сидел, может быть, в канцелярии, угождая начальству. Разные и в то же время поразительно одинаковые, какими их сделала серая униформа, а дисциплина сплотила всех в чеканном строю даже здесь — под охраню русских конвоиров. Каюсь, в этот момент я не хотел видеть в них заклятых врагов, а только людей... обычных людей, вырванных войною из привычного уклада жизни.

И вдруг — совсем неожиданно — мне вспомнился тот безграмотный парень-солдат, стоящий в очереди на прививку. Врачи прививали ему «тиф от холеры», а вот этим немцам, глядящим на меня, смолodu прививали страшную вакцину войны против мира.

Теперь по существу дела. Не помню, кто мне это рассказывал, но история была широко известна в офицерских кругах русской армии. Случилось это в русско-японскую войну, когда Самсонов, лихой кавалерист, окончивший Академию Генштаба, командовал бригадой в Сибирской казачьей дивизии. Как раз было время жестоких боев под Мукденом. Прямо из атаки, еще не остывший от ярости боя, Александр Васильевич пришел на мукденский вокзал — к отходу поезда, переполненного ранеными и удивившими подальше от фронта. На перроне появился и Ренненкампа; когда Павел Карлович садился в вагон, Самсонов, не боясь множества свидетелей, вре-

зал Ренненкампу жестокою оскорбительную пощечину:

— Вот тебе на вечную память... носи на здоровье!

Ренненкамф, ничего не ответив, скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал нагайкой вслед уходящему поезду:

— Ферфлюхтер проклятый! Я повел свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит меня с фланга, а он просидел весь бой в гаюляне и даже носа оттуда не высунул...

Если об этом случае хорошо знали в армии, то наверняка о нем был достаточно извещен и военный министр Сухомлинов, а потому он — хотя бы по нормам военной морали — не должен был давать две соседние армии под начало Самсонова и Ренненкампа, — армии одного фронта, должны взаимодействовать на едином направлении главного удара.

Ладно уж «шантеклер», у которого в голове «кипающая Катерина», но ведь об этой стародавней вражде генералов хорошо знал и немецкий полковник Макс Гоффман, который как раз в те времена состоял военным аташе при русской армии в Маньчжурии. А теперь Макс Гоффман сидел в штабе 8-й армии, оборонявшей Восточную Пруссию, и... И тут можно задуматься: забыл эту драку Макс Гоффман или учитывает ее в своих умозаключениях? Скорее всего он — человек большого ума — учитывает, что Ренненкамф способен на прямое предательство, дабы отомстить Самсонову за ту оскорбительную пощечину на перроне мукденского вокзала...

В моем настроении что-то изменилось. Среди русских генштабистов Гоффман давно был на примете, ибо он мало напоминал тех шаблонных немецких генералов, которые любят неукоснительно следовать приказам. Прекрасно владевший русским языком, он презирал всех — и даже Шлифена, и даже Мольтке, при которых состоял в германском генштабе. Именно он, Макс Гоффман, умевший выпить два литра вина еще до завтрака, никогда не терял головы и упорно работал над планами нападения на Россию. Человек он был резкий, неуживчивый, себя ставил выше всех. Гоффман презирал любое начальство — как свое, так и чужое. Наверное, и сейчас он сидит в своем штабе прусского Мариенбурга, пожирая бесчисленное количество сосисок, и смеется над своим генералом Притвицем, издевается над указаниями из Берлина...

Ему попросту наплевать на меня, спешащего на встречу тем «Каннам», которые готовятся нашей армии.

Шофер завернул автомобиль в сторону просеки.

4. ВПЕРЕД — С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Еще в июле — до объявления войны — немецкие аэропланы стали нарушать воздушные границы России, в небесах — лениво и сонно — плавали дирижабли, следя с высоты за передвижением русских войск. Зенитной артиллерии тогда и в помине не было, а солдаты, задирая головы, рассуждали:

— Во, гады, до чего додумались! Мало им на земле пакостей, так они еще в облака забрались...

Теперь, когда почти не осталось свидетелей тех событий, а время безжалостно вытоптало их могилы, писать о трагедии августа 1914 года все равно тяжело. Тяжело и горько! Будем же объективны. Не пристало нам, русским, похвастаться успехами, как не пристало и принижать своего противника. «Да ведают потомки православных», что Первая армия Северо-Западного фронта повела наступление на Восточную Пруссию хорошо.

Тут, читатель, без карты не обойтись. Вот древний Кенигсберг (славянский Кролевец), а вот и польская Варшава; если между ними провести линию, то где-то посредине ее и отыщем то памятное место, где русские солдаты решали судьбу Парижа — судьбу всей Франции! На карте хорошо видны Мазурские озера, и армия Ренненкампа обходила их с севера, а Второй армии Самсонова предстояло огибать их с юга — так было задумано. Клинья двух армий должны были сомкнуться, чтобы в них увязло прусское войнство. Париж и Берлин лихорадило. Толпы берлинцев осаждали редакции газет, ожидая известия о том, что германская армия вошла в Париж, а в Париже французы расхватывали газеты, чтобы узнать — вошла ли русская армия в пределы Восточной Пруссии, когда же они услышат тяжкий грохот знаменитого «парового катка» России?..

Для немцев осталась загадкой быстрая мобилизация русской армии. На самом же деле секрета не было: Петербург послал на битву войска, лишь наполовину готовые для войны; командующий фронтом Жилинский, сидя со своим штабом в Волковыске, не желал слышать, что нет походных пекарен, что слаба лошадиная тяга, что мало тяжелой артиллерии.

— Вперед! — указывал он. — Только вперед...

Всеми немецкими войсками в Восточной Пруссии (8-й армией) командовал генерал фон Притвиц; Мольтке считал его баламутом, которого лучше не трогать, ибо кайзер любил Притвица именно за его бесподобное умение рассказывать бравые «солдатские» анекдоты. Один корпус 8-й армии был целиком составлен из местных жителей-прусаков, он считался самым стойким, а командовал им генерал Франсуа — потомок парижских гугенотов, искавших в Германии спасения от резни Варфоломеевской ночи. Полковник Макс Гоффман, презирающий всех, советовал Притвицу не мешать Ренненкампу «лезть на рожон»:

— Ясно, что у Ренненкампа генеральная дирекция — на Кенигсберг! Пусть он подальше оторвется от своих границ, пусть от него оторвутся тылы и обозы, а тогда его можно бить, пока с юга не успела подойти армия Самсонова...

Но не таков был генерал Франсуа, чтобы выслушивать советы, даваемые полковником:

— Я расколочу башку Ренненкампу гораздо раньше, нежели вы, Франсуа, успеете сожрать в казино полсотни сосисок...

Притвиц велел ему быть скромнее. На путях Второй русской армии лежал городишко Сталлуленен, и бургомистр ударил во все колокола, призывая жителей спастись скорее.

— Казаки идут! — кричал он. — Дикари из Сибири!..

Франсуа предъявили первых военнопленных. Вряд ли эти люди понимали столь скорую перемену в своей жизни, но Франсуа тоже не понимал, что под Сталлупененом он разбил только передовой отряд русских, который попросту... заблудился. Тут и смеяться нечего: ведь русскому человеку нетрудно заблудиться в немецкой провинции. Франсуа вышел из себя, увидев перед собой адъютанта Притвица с приказом — отойти.

— Передайте генералу Притвицу, — не покорился Франсуа, — что я отведу войска, когда все русские разбегутся по домам и закроют за собой двери... Победа близка!

Вторая армия надвинулась на корпус Франсуа в районе двух городов — Гумбинена и Гольдапа; безжалостный «паровой каток» расплющил под собой лучший корпус 8-й германской армии. Узнав об этом, фон Притвиц даже не пошевелился, ибо врачи не советовали ему делать резких движений, а полковник Макс Гоффман пошел в казино и заказал себе десять порций сосисок.

— Так ему, дураку, и надо, — сказал он, о Франсуа...

Следует заметить: Франсуа был разбит только офицерами и солдатами Второй армии — без вмешательства Ренненкампа.

Гумбинен (ныне город Гусев) встретил русских настежь открытыми дверями квартир, контор и магазинов, но в них — ни одного человека. Жители, убегая из города, даже не погасили лампы, и город встречал русских ярким вечерним освещением. Кое-кто из немцев, покидая свои дома, оставил для русских записки, прося, чтобы они не забывали поливать цветы. На кухонных плитах еще не остыли кофейники, к ужину были накрыты семейные столы, наши солдаты впервые за весь боевой день как следует поели в спокойной домашней обстановке.

Ренненкампу доложили, что наступать далее невозможно: все дороги плотно забиты громадными стадами коров, овец и свиней, гонимых жителями к станциям железной дороги. Павел Карлович решил, что немцы приступили к эвакуации войск и населения из Восточной Пруссии в районы за Вислою, о чем он сразу оповестил ставку Жилинского.

— Можно и расслабиться, — мудро изрек он. — Не в мои-то годы выносить такое напряжение битвы...

Между прочим от Гумбинена панически бежал только корпус генерала Макензена, а генерал Франсуа, отступив, энергично приводил свой корпус в порядок. Приказ Ренненкампа об отдыхе своих частей был передан по радио таким детским кодом, что немцы разгадали его сразу, прибегнув к помощи учителя арифметики... Притвиц застыл в раздумьях о людской суете, а Макс Гоффман распечатал бутылку с вином.

— Последнее слово за мной, — сказал он. — Еще не ясно, куда провалился генерал Самсонов со своей армией...

Всю ночь за лесом вспыхивали разноцветные ра-

кеты — зеленые, красные, желтые. А днем горизонт застилали дымы пожаров и костров. Но странно, что дым бывал разным. Не сразу в штабе сообразили, что это сигналы: белесый дым указывал расположение русской пехоты, а темный — артиллерии.

Вторую армию я застал на марше, когда она, палящая солнцем, двигалась по столь глубоким пескам, что жалко было глядеть на лошадей, которые выбивались из сил, влача через холмы пушки, снарядные фуры и походные кухни. Пруссия была богата железнодорожным хозяйством, но колея германских дорог не совпадала с шириною российских, и чтобы пользоваться дорогами Пруссии, нам прежде следовало иметь трофейные паровозы и вагоны. Падали лошади, в их построики впрягались люди, помогая себе лошадиными призывами: «Ннно-о... ннно-о...»

Самсонова я впервые увидел мельком, когда он знакомился с пополнением новобранцев, только что прибывших в его армию, еще замордованных унтерами, оболваненных наголо. Внушительно возвышаясь над молодняком, «Самсон Самсоныч» решил провести опрос жалоб и претензий:

— Не обижают ли вас младшие офицеры?

— Никак нет... рады стараться.

— Получали ли вы свои три фунта хлеба на день?

— Получали, ваше превосходительство.

— Получали ли портянки с сахаром?

— Получали...

И что бы ни спросил их Самсонов, на все следовал ответ: получали. Наконец и генерал заподозрил недоброе:

— Может, и ананасы вам выдавали?

— Давали, — радостно отозвались новобранцы.

— И угря под соусом крутон-моэль?

— Получали...

— Дураки вы все, мать вашу так! — внятно произнес Самсонов и, понурясь, пошел к своему автомобилю...

Начальник самсоновского штаба генерал Постовский («сумасшедший мулла») принял меня сдержанно и без радости, как в нищей семье, и без того несытой, принимают лишнего хлебника. Молча он ознакомил меня с приказом Жилинского, похожим на понукание. «Задержка в наступлении 2-й армии ставит в тяжелое положение 1-ю армию», — писал он, как бы оправдывая Ренненкампа. Между тем я даже без подсказок Постовского убедился, что армия Самсонова по двенадцать часов в сутки выдирается из песков, но еще не выбилась из графика движения.

— Люди измотаны, — огорченно сказал Постовский. — Мы словно тащимся через Сахару, лошадям нет овса, солдаты голодают...

На привале я подслушал такой диалог солдат:

— Опять чечевица! Раньше-то ее даже лошадям не скармливали, потому как лошадь лысеть начинала. А теперича нам суют — русский солдат, мол, все сожрет, а лысеть станет не сзади, а спереду. Оно и видно, что хлеба нам не видать.

В направлении на Алленштейн армия выбралась

из песков на гладкие дороги, связывавшие множество деревень и баронских фольварков. Шоссе были заранее перерыты поперечными канавами, подступы к сыроварням и спиртовым заводам опутывала колючая проволока. Яровые хлеба были немцами уже скошены, но остались на полях, не убраны; громадные просторы топорщились ботвою кормовых бураков. Жители уходили от нас, поджигая свои дома, в загонах оставались стада коров, жалобно блеяли бесхозные овцы. Солдат удивляло, что в домах прусских бауэров были телефоны, а в каждой деревне имелся ресторан, клуб с подмостками и бильярдные комнаты.

Это одна сторона дела. Но была и другая. Армию возмущало поведение немцев, бегущих от них, словно от чумы. Солдаты не понимали, в чем дело. Неужели они такие страшные? Все объяснилось очень просто. Пятьдесят тысяч русских, так и не успевших выбраться из Германии, уже были убиты, изнасилованы, ограблены, сидели в тюрьмах, разлученные с детьми и женами, — и вот, чтобы свалить грехи с больной головы на здоровую, Вильгельм II велел насытить Европу грязными слухами о нашествии азиатов, творящих в Пруссии неслыханные зверства. Берлинские газеты развопились на весь мир, будто в пределы непорочной Пруссии вторглись косоглазые орды дикарей, которым ничего не стоит вспороть животы почтенным бюргерам или разбить череп младенца прикладом...

Пропаганда страха перед русскими была поручена пасторам. На стенах домов, церквей или станций висели красочные олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах. Длинные лохмы волос сбегали вдоль спин до копчика, из раскрытых ртов торчали клыки, будто кинжалы, а глаза — как два красных блюда. Под картинками было написано: «РУССКИЙ КАЗАК. Питается сырым мясом младенцев». Однажды на улице Омудефофена я увидел казаков, силившихся поднять с колен молодую немку с грудным ребенком на руках. Казаки ее поднимали, она снова падала. Мне пришлось вмешаться.

— О чем она причитает? — спросил урядник. — Бьемся с ней, бьемся... ровно припадочная, а мы ни хрена не понимаем, чего этой дуре от нас надобно?

— Она просит, — объяснил я, переводя речь задуренной женщины, — чтобы вы не съели ее ребенка, согласна даже на то, чтобы самой быть съеденной вами.

— Да типун ей на язык! — стали материться казаки...

Но постепенно, по мере продвижения армии в глубь Пруссии, эти слухи примолкли, жители стали возвращаться в покинутые жилища. Нас они уже не боялись, но, увидев конные разъезды, пугливо прятались, говоря: «О, Kosaken, Kosaken...» Наши офицеры стыдили их, выслушивая в ответ всякие басни:

— Пасторы в своих проповедях предупреждали, что в темных лесах Сибири, где еще не ступала нога культурного человека, водится особая порода зве-

рей — казаки, и ваш царь специально разводит их для истребления немцев...

Брошенные селения понемногу оживали, возвращенцам велели открыть магазины и мастерские. Некоторые товары коммерсанты готовы были отдать офицерам даром, но никто и никогда не поддавался этим искушениям, говоря:

— Нет, нет! Мы имеем приказ только покупать...

За один рубль шли три немецкие марки. Если же хозяин лавки не возвращался, ее запирали, а военный комендант накладывал на замки свою печать. При всеобщем житейском достатке пруссаков не было случая, чтобы они отказались от получения дармового обеда из нашей солдатской кухни. Постовский указал срывать всюду олеографии, изображающие «русских зверей», но я ему отсоветовал:

— Да пусть висят, вам-то что?

— Как что? Зачем эта гадость?

— Для контраста, — пояснил я...

Во время этой беседы в Постовском неожиданно пробудился «сумасшедший мулла», шепотом он предупредил меня:

— Если Александр Васильевич станет обижать вас, вы сразу жалуйтесь мне, а я с ним поговорю как надо...

В ответ на эту глупость я только козырнул, не совсем понимая, зачем Самсонову меня обижать? Меня в это время тревожило иное — не столько сам генерал Самсонов, сколько его армия. Зная о переписке с Жилинским, я чувствовал, что армия идет вперед, но идет с закрытыми глазами.

У меня не было оснований для того, чтобы относиться к Самсонову плохо, скорее, я относился хорошо к этому массивному, грузному генералу с широким русским лицом. Самсонову недавно исполнилось 55 лет, я знал его за человека честных и твердых правил, он казался мне воплощением силы и прямоты храброго солдата. Наверное, эти качества Самсонова в свое время и привлекли в нем Пржевальского, звавшего его в свои азиатские экспедиции.

— Напрасно я не согласился, — рассказывал мне Самсонов. — Я романтик Востока, и в Азии мне легче дышится... подальше от начальства. Вообще-то, — признался Самсонов, — на мое место прочили Брусилова, и, может быть, Алексей Алексеевич, человек талантливый, лучше меня справлялся бы на посту командарма... Вы говорите, — продолжал он, — что моя армия бредет с закрытыми глазами? Допускаю. Но сие не от меня зависит. Я повинуюсь приказам Ставки и окрикам Жилинского, который толкает меня в спину...

Судьба баловала Самсонова, но начальство держало его подальше от Петербурга — на задворках империи. После войны с самураями он был атаманом войска Донского и Семиреченского, потом стал генерал-губернатором Туркестана, немало сделав для развития этого края. Самсонов осваивал новые площади под посевы хлопка, в пустынях бурил артезианские колодцы, в Голодной степи проводил оросительные каналы. В солидном возрасте он женился

на молодой женщине, имел двух детей. Со вздохом тоскующего мужа Самсонов показал золотой медальон, внутри которого хранились изображения сына и дочери, показал и фотографию жены.

— Мое запоздалое счастье, — сказал он, не скрывая своей любви. — Что бы я делал без этой женщины?..

Мадам Самсонова показала мне красивой барышней, очень довольной тем, что стала «превосходительной» дамой, которой позволено теперь заказывать платья в Париже у Демулена. Странно, но я запомнил ее облик, что мне пригодилось впоследствии. Пряча фотографию в бумажник, Александр Васильевич вернулся к нашему разговору:

— Вы правы, что бредем с закрытыми глазами. Но что делаете вы, разведка, чтобы открыть нам глаза?

При всем желании угодить Самсонову я не мог похвастать своими успехами, сославшись на отсутствие агентуры:

— Вот, разве что местные поляки, желающие нам победы... иногда помогают. Но я доверяю не всем, а больше доверяю тем, кто не берет денег за информацию. Невозможно мне оборвать и все телефонные провода, олутовавшие Пруссию, словно цепи — опасного преступника. С любой захудалой фермы немец способен докладывать о нас прямо в штабы Кенигсберга. Я находил потаенные аппараты в погребах с картошкой и даже... Даже обнаружил их в пчелиных ульях!

Наконец я сказал Самсонову, что были случаи поимки шпионов, переодетых священниками или в женское платье.

— Проверке такие случаи не поддаются, ибо кто же давал мне право задира́ть юбки на женщинах, вызывающих подозрение? Но разоблачать переодетых иногда приходилось. Их выдавала походка и слишком размашистые движения.

— Вешали? — отрывисто спросил Самсонов.

— Нет. Не вешал. Но одного пристрелил.

— Законно?

— Да, он очень хорошо от меня отстреливался...

В конце разговора Александр Васильевич Самсонов подкупил меня чересчур откровенным признанием.

— Ах, какой из меня полководец? — горестно сказал он. — Жена плохо переносила жару в Ташкенте, ради нее вывез семью в Пятигорск, чтобы попить нарзанов. Все было тихо да мирно, вдруг — бац! — этот выстрел в Сараево. Вызывает меня Сухоминов и говорит: бери армию... Я, — признался Самсонов, — даже одной дивизией не смог бы командовать, а тут сразу — армия, в которой девять дивизий. А из Волковыска жмут: давай, давай, вперед, только вперед. Вот и гоню армию... Верно — с закрытыми глазами!

И об этом тоже «да ведают потомки православных»...

5. ОБСТАНОВКА

Постовский оказался дальновиднее многих.

— Смотрите! — развернул он передо мной карту. — Жилинский, этот «живой труп» с охладевшим сердцем, вообразил, что после успеха Ренненкампа у Гумбинена немцы отступают за Вислу, и теперь настоятельно требует от Самсонова отрезать им пути отступления. Ближе к истине будет другое: немцы сознательно открыли перед Ренненкампом «дирекцию» на Кенигсберг, а все свои силы массируют против нашей армии... Макс Гоффман — скотина мыслящая!

— Вы не ошибаетесь? — намекнул я.

Постовский превратился в «сумасшедшего мулу».

— Побойтесь гнева Аллаха! — закричал он. — Если в этом бардаке ошибаются все, то я, начальник штаба Второй армии, волею судьбы лишен права делать ошибки...

Английский майор Нокс, приставленный к нам вроде официального соглядатая, не вызывал у меня симпатий. Казалось, его присутствие при штабе Самсонова понадобилось союзникам лишь затем, чтобы подталкивать нашу армию, и без того разогнавшуюся на маршах. Мне претило явное пренебрежение Нокса к нашим солдатам, которые, по его мнению, плохо готовы к войне, ибо никогда не играли в футбол. Нокс не заметил в быту наших офицеров и ни одного теннисного корта.

— Это правда, — согласился я, — что наши офицеры к сорока годам редко сохраняют осиную талию, а нашим солдатам, марширующим с полной выкладкой по сорок миль в день, не до футбола — лишь бы дотянуть ноги до привала. Но мы, русские, не понимаем и ваших солдат, идущих на войну с пачками разноцветного пипифакса, не поймем и ваших офицеров, которые тащат в окопы резиновые надувные ванны. Если говорить объективно, — сказал я, — то самые крепкие вояки в Европе, это мы и немцы, и нам одинаково смешно, что французская пехота не может расстаться с красными штанами, а ваши кавалеристы красуются красными мундирами.

— Умирать надо красиво, — заметил Нокс.

Тут меня передернуло. Я вспомнил концлагерь в Трансваале и сказал, что буры сражались в тех же костюмах, в каких пасли скот, а к войне относились, как к охоте на диких животных. Вряд ли мои слова понравились Ноксу, но в ответ он сказал, что английская армия способна наступать только в тех случаях, когда обеспечит свой тыл, когда последний солдат пришьет последнюю пуговицу к своему мундиру.

— А вы? — с усмешкой спросил Нокс. — Ренненкамф не вошел в Пруссию, а просто свалился в нее, словно пьяный в ближайшую канаву. Первая армия едва отодвинулась от границ, как ее обозы уже застряли, и пушкам нечем стрелять...

Я смолчал, признав сущую правоту Нокса, который справедливо отомстил мне и за пипифакс и за надувные ванны в окопах. Лучше бы этой пикировки с Ноксом не возникало! Моих академических зна-

ний не хватало, чтобы мудро оценивать обширную и зловещую панораму восточно-прусских сражений.

Во многом, очевидно, повинен я сам, ибо оказавшись беспомощен в налаживании разведки на путях армии к Алленштейну. Сейчас, перебирая в памяти детали минувшего, я вижу, что, форсируя наступление, мы забыли о своих тылах с такой же легкостью, с какой обыватель летом забывает о сохранении зимней шубы. Обозы погибали в хвосте армии, не успевая подтягиваться за нею, а связи между частями не было... Увы! Об этом даже стыдно писать: армия Самсонова не имела запасов телеграфной проволоки, и мы были вынуждены вести переговоры по телефонам из квартир пруссаков, а кто выслушивал нас на другом конце провода — об этом можно догадываться...

Наконец, можно считать позорным, что Жилинский, словно кучер, настегивал Самсонова и Ренненкампа, желая видеть в них своих «рысаков», а эти «рысаки» тянули в разные стороны. Ненавидя друг друга, наши генералы проводили не одну совместную, а сразу две самостоятельные операции. То, что принято в штабах называть «оперативной увязкой» между соседями, полностью отсутствовало, фланги армий не смыкались, а наоборот, размыкались, и, усиливая их разобщенность, между ними в лесах загнивали Мазурские озера и болота, уже заброшенные всякой падалью... Стоит ли продлевать эту тему? Думаю, нет смысла, ибо библиотечные полки ломаются от избытка книг, в которых все сказано, и, пожалуй, лучше, чем у меня.

В один из дней я допрашивал пленного немецкого офицера, облик которого был словно скопирован с карикатур из юмористического журнала «Симплициссимус». Но он оказался достаточно начитан в вопросах военного права и морали военного человека. В его словах я скоро уловил знакомые пангерманские интонации и даже не удивился этому.

— Если в жизни, — сказал офицер, — мы наблюдаем сплошь да рядом, что один человек возвышается над другим, то почему более сильная и более умная нация неспособна возвышаться над другой, ослабленной физически и умственно... Разве вы осмелитесь отрицать породу аристократии?

— В отношении племенного скота вы правы, — ответил я. — Тут я с вами согласен, что племенные быки имеют право на содержание в улучшенных коровниках, но... Люди не скоты!

Этот офицер запомнился даже не беседою с ним, а тем, что в его сумке я обнаружил карту Восточной Пруссии.

— Я заберу ее у вас, — сразу сказал я.

Это была превосходная топографическая карта, изданная для офицеров рейхсвера еще в 1907 году, когда кайзер проводил в Пруссии маневры своей армии, чтобы поугубить Россию. Карта указывала и все фортеции близ Мазурских озер.

— Когда вы нас ждали? — спросил я.

— На сороковой день после вашей мобилизации, учитывая русскую неорганизованность. За этот срок,

пока вы наматываете портянки, мы бы успели разделиться с Францией.

— Значит, мы появились вовремя, — заметил я. — Кстати, Япония объявила вам войну... Как вы к этому относитесь?

Мой вопрос вызвал безудержный смех офицера: — Никак! Японцы не полезут штурмовать Берлин, а станут обделять свои делишки в Китае... вот уж о японской угрозе мы, немцы, плакать не будем!

Сообщить о планах 8-й армии в обороне и построениях в штабе Притвица офицер отказался, а я не имел права настаивать на его признании. В эти дни Самсонов подарил мне хорошую ездовую кобылу — уже под седлом — по кличке Норма, верхом я часто выезжал на передовые позиции, знакомясь с положением дел на фронте. В самсоновской армии были два примечательных генерала, оба из образованных генштабистов. Командир 13-го армейского корпуса Николай Алексеевич Ключев показался мне маловыразительным человеком, наш знаменитый А. А. Брусиллов отзывался о нем неважно: умный, знающий, но карьерист и свою карьеру ставил выше интересов России... Ключев жаловался мне:

— У меня большие потери. Все от германских пулеметов... стригут и стригут, словно косят...

Не сам Ключев, а его солдаты вразумили меня в старой воинской примете. После боя убитые немцы лежали с лицами, обращенными в сторону наступающих, и один ефрейтор сказал:

— Недобрый знак! Видать, драпать придется.

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

— Эвон как лежат... и на нас смотрят. Примета на войне дурная. В нее еще наши прадеды верили и нам верить заказывали. Не хорошо, если убитый враг на тебя зырит...

15-м армейским корпусом командовал генерал от инфантерии Николай Николаевич Мартос, потомок великого скульптора. Это был человек с утонченным лицом русского интеллигента, а узкая бородка придавала ему сходство с Дон Кихотом. За личную храбрость в войне с японцами Мартос был награжден «золотым оружием». Недавно он разгромил из пушек немецкий городок Нейденбург, и я, естественно, спросил Мартоса:

— Была ли в этом крайняя необходимость?

— Иначе было нельзя, — пояснил Мартос. — Немцы выкинули на кирхе белый флаг, а когда мы вошли в город, из каждого окна посыпались пули... Почти всюду засели ландштурмовцы, вооруженные чем попало, даже охотничьими ружьями, а прусские мегеры поливали солдат из окон крутым кипятком... На войне как на войне, говорят наши союзники-французцы, и они правы: щадить противника — не жалеть себя...

Вечерело. Через призмы бинокля я разглядел вдалеке ленту шоссе, по которой посыльные мальчишки мчались куда-то на велосипедах. В окрестных лесах рыскали лающие своры доберманов-пинчеров, натасканных на то, чтобы находить раненых. В лучах прожекторов, которые скреживались в небе, подобно

клинкам в поединке, вдруг ярко высветился русский аэроплан... Вот по этим же дорогам 1914 года в 1945 году снова будут проходить наши усталые солдаты, чтобы штурмовать древнюю цитадель Пруссии — Кенигсберг.

Над лесными болотами Пруссии, казалось, парил загробный дух Шлифена, словно предвещая крах всему, что он задумал при жизни. Все планы Шлифена рушились, а теперь Притвицу предстояло своей шкурой расплачиваться за хвостовство, с каким генерал Франсуа вовлекал его в позор поражения.

— Лучше бы мне не знать, что случилось...

«Перед нами как бы разверзся ад, — сообщал очевидец. — Врага не видно, только огонь тысяч винтовок, пулеметов и артиллерии. Части быстро редуят. Целыми рядами лежат убитые... между орудий рвутся снаряды... по полю скачут лошади без всадников. Наша пехота прижата к земле огнем русских», — так писал немец, уцелевший под Гумбиненом, не вписанным в хронику русской военной славы, и не потому, что не хватило чистого листа, а просто о Гумбинене забыли. Однако не забыл даже Уинстон Черчилль, писавший: «Очень немногие англичане слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа...» Мы не виноваты, что нам достался позор «похабного» мира в Брест-Литовске, а когда сиятельные дипломаты стран-победительниц рассаживались за столом Версаля, русская кровь была списана ими со счетов, как лавочки списывают убыток в товаре на «утруску и усушку»...

...Гоффман, почти злорадствуя, известил Притвица в Мариенбурге, где Притвицу жилось спокойно:

— Что вы скажете об успехах Франсуа и Макензена? Два кретина поработали на славу. Теперь по шоссе к Гумбинену не проехать даже на телеге — все шоссе сплошь завалено трупами наших солдат. Приятно доложить, что запас русской артиллерии рассчитан по двести двадцать четыре выстрела на один пушечный ствол, но...

— Но сколько же они выпустили? — спросил Притвиц.

— Кажется, четыреста сорок... Теперь за Гумбиненом образовался «слоеный пирог», в котором солдаты лежат, как тесто, а начинкою к пирогу служат наши господа офицеры.

Притвиц, забыв о предостережениях врачей, начал делать резкие движения. Центр 8-й армии был взломан, Самсонов двигал войска к Алленштейну, и Притвиц, далеко не трус, уже видел себя в «мешке» окружения двух русских армий, которые вот-вот сожмут свои железные «клещи»...

— Где? — одним выдохом спросил он.

Макс Гоффман умел читать мысли начальства.

— Вот здесь, — показал он на карте, — под Алленштейном.

— Но Ренненкампф недвижим.

— Зато крайне подвижен Самсонов.

— Вы думаете...

— Я жду, когда все обдумаете вы.

На самом же деле, что бы там Притвиц ни думал, Гоффман надеялся управлять его мыслями, ибо — и это справедливо! — он по праву считал себя умнее генералов. Притвиц всем телом навалился на стол, блуждая глазами по карте.

— Знать бы нам, — рассуждал он вслух, — надолго ли застрял Ренненкампф в палатке своей шлюхи? Если он решил как следует выспаться, тогда мы, возможно, еще успеем отразить натиск Самсонова... Впрочем, — вскинулся Притвиц от карты, — срочно свяжите меня с Франсуа!

Франсуа он велел немедленно отходить, сознавшись, что не видит иного выхода, кроме общего отступления:

— Пруссию придется оставить... Конечно, жаль оставлять столько добра с молоком и маслом, но это необходимо. Вся восьмая армия займет новые позиции на Висле.

— Но сейчас, — грубо вмешался Гоффман, — уже не мы, а войска Самсонова ближе к Висле. Что ответил вам Франсуа?

— Он сказал, что русские не преследуют его. Но Самсонов не снижает темпов на марше, и может случиться так, что его войска окажутся на Висле раньше нас... Сейчас, — заключил Притвиц, — попрошу всех удалиться из моего кабинета.

— И даже мне? — удивился Гоффман.

— Даже вам. Я буду звонить в Кобленц — прямо в ставку его величества, дабы сообщить Мольтке о своем решении, ибо вы сами видите, что Пруссия для рейха потеряна...

6. ЯВЛЕНИЕ БОГОВ

В «клубе господ» — среди господ — сидел господин...

Дело было в Ганновере, а господина звали Пауль фон Гинденбург унд Бенкендорф; лакей подносил ему пиво в персональной кружке, по краям которой плясали веселые чертики с бесенятами. Гинденбург пребывал в заслуженной отставке, а потому, спрашивается, почему бы ему, черт побери, и не выпить? Если пьет всякая нищая мелюзга, так генералу на пенсии сам великий господь бог велит наливать полнее...

Когда человеку 68 лет, торопиться некуда. Если же истории угодно, пусть она сама торопит его; а он лучше посидит дома, читая газету. Гинденбург не ведал своей судьбы. Сразу предупредим читателя: отставная шваль не представляла собою ничего замечательного, но в тех случаях, когда посредственность обретает значение великой личности, тогда любая тварь истории невольно делается превосходным явлением.

Итак, наш генерал пребывал в гордом унынии отставки, сохраняя невозмутимость камня, отодвинутого в сторону от большой дороги. Похвальное качество! Именно оно и решило судьбу Гинденбурга... Ставка кайзера находилась в Кобленце, и там, гордые успехами на западе, еще мало думали о делах на востоке. Однако Мольтке предупреждал Вильгельма II, что никакие успехи на западе не будут чего-либо

стоять, если «русский медведь», выбравшись из берлоги, встанет на задние лапы.

Истерический звонок генерала Притвица из прусского Мариенбурга даже не вывел, а просто вышиб Мольтке из равновесия. Притвиц докладывал, что 8-я армия еще способна, наверное, унести ноги за Вислу, но он, ее командующий, уже не ручается, что 8-я армия на Висле удержится. Мольтке, вконец ошарашенный, перебирал варианты спасения.

— Притвиц *убрать*... за полный развал фронта! На его место сгодится любой бездельник из отставки, зато штабом должен руководить человек небывалой энергии...

— Там уже есть Макс Гоффман, — подсказали Мольтке, — руководящий оперативным отделом штаба.

— Гоффман в Мариенбурге и останется, — решил Мольтке. — Но Гоффман не годится, ибо способен только критиковать... Вы же сами знаете, какой у него отвратный характер!

Как раз в это время в Бельгии пал Льеж, взятый Эрихом Людендорфом, который теперь приступил к осаде крепости Намюра. Людендорф когда-то был адъютантом Мольтке.

— Срочно отзовите Людендорфа из-под стен Намюра.

Людендорф прибыл в Кобленц моментально, еще не остывший после горячки боя с бельгийцами.

— Вы, — сказал ему Мольтке, — не будете отвечать за то, что случилось в Восточной Пруссии, но вы будете ответственны за все, что случится с Пруссией. Сейчас там требуется для работы в штабе человек с вашими нервами...

Понятно. Людендорф спросил:

— Если генерал Притвиц вылетит на свалку, то кто же будет командовать восьмой армией?

— Для этого нужен человек без нервов. Такого мы ищем, перебирая списки отставных генералов... Пока мы нашли только один застарелый пень, который еще не догнил до конца. Зная ваш горячий характер, Эрих, я понимаю, что командующий армией не должен мешать вам... Во — Гинденбург!

Очевидец выбора Гинденбурга писал: «Единственной причиной его избрания было то обстоятельство, что при его флегматичности от него ожидалось *абсолютное бездействие*, дабы предоставить *полную свободу Людендорфу*». Пригодилась и такая подробность: «Людендорф хорошо владел русским языком, а Гинденбург, уроженец прусского Позена, достаточно хорошо понимал русский язык. Вильгельм II, живший в Кобленце, сразу принял Людендорфа и оснастил его мундир орденом «Пур ле мерит», выразив уверенность в скорой победе.

— Я, — напомнил кайзеру Мольтке, — уже послал телеграмму Гинденбургу... может, вы его примете тоже?

— А зачем мне этот старый болван? — отвечал кайзер...

Берлинским газетчикам не стоило труда живописать подвиги генерал-майора Эриха Людендорфа, которому исполнилось сорок лет: вся жизнь впереди!

Зато они здорово попотели, чтобы представить Гинденбурга в наилучшем свете. Сначала его просто не отыскали в списках генералов рейхсвера. Перерыли все что можно — никаких следов. Наконец случайно встретили его на букве «Б»: Гинденбург начинался с Бенкендорфа.

— А-а-а! — обрадовались газетчики. — Это же родственник графа Бенкендорфа, того самого, что был на святой Руси шефом корпуса жандармов и умер от нервного изнурения, истощив свои силы в борьбе с крамолой... Пишем!

Имя Гинденбурга стало приобретать особый блеск, доступный лицемерию немецкого читателя. Но тут случилась беда. Гинденбург за время отставки здорово растолстел от пива, штаны на нем никак не сходились. Жена Гертруда с двумя дочерьми (которым позже Гитлер столь нежно лобызал ручки) срочно кинулись шивать в штаны генерала обширные клинья. В самый пикантный момент примерки расширенных штанов Гинденбурга обеспокоил почтальон с новой телеграммой от Мольтке.

— «Пур ле мерит»? — с надеждой спросила жена.

— Пока не награждают. Но Мольтке диктует мне сесть на ганноверский поезд, который отходит в четыре часа утра, а этот зазнайка Людендорф встретит меня в пути.

— Могли бы и уважить твои годы... орденом! — недовольно ворчала жена. — Смотри, тебя не приглашают даже в Кобленц, а сразу гонят на вокзал...

«Бракосочетание» Гинденбурга с Людендорфом, начальником его штаба, произошло именно на вокзале в Ганновере. Людендорф одним прыжком выскочил из салон-вагона, прицепленного к мощному локомотиву, а навстречу ему, не ручаясь за сохранность штанов, двинулся сосредоточенный Гинденбург, и первые его слова были таковы:

— Что ты скажешь?

Людендорфу было что сказать, ибо, выехав из Кобленца, он по документам изучил обстановку на фронте Восточной Пруссии, и потому Гинденбург, выслушав его доклад, сказал:

— Лучше и не придумать! Пошли спать...

Они уселись в салон-вагоне экспресса, который сразу помчался в сторону Берлина, где их компанию хотела оживить прекрасная Маргарет — жена Людендорфа.

— Ей очень хочется поглядеть на мой новый орден, а потом мы выставим ее на перрон, — обещал Людендорф. — Теперь же я позволю изложить наши ближайшие планы...

Он сообщил, что армия Ренненкампа — по материалам ставки Кобленца — начала подозрительное отклонение в сторону Кенигсберга, уже далеко оторванная от Самсонова грядой Мазурских болот и озер, а Самсонов по-прежнему гонит свои войска на запад, словно желая отрезать 8-й немецкой армии пути отступления.

— Я не вижу иного выхода, кроме одного: сначала обрушиться на армию Самсонова, выдвинутую вперед, чтобы использовать его отдаленность от армии Ренненкампа...

Гинденбургу хватило терпения лишь на 15 минут.
— Ты здорово соображаешь, — похвалил он докладчика. — Но пойми правильно и меня — я должен сначала выспаться..

Маргарет, подсевшая к ним в Берлине, сама пожелала покинуть их в Кюстрине, и с перрона помахала мужу ручкой. Женщина не выдержала пытки скукою мужских разговоров. Позже, скандально разведясь с Людендорфом, она сообщила в своих мемуарах, что в такой компании тупиц и дураков, какими были Гинденбург с ее мужем, ей бывать еще никогда не приходилось. Так что она без сожаления рассталась с ними... Экспресс наращивал скорость, приближаясь к Мариенбургу, где располагалась ставка 8-й армии.

— Проснитесь, генерал, — с трудом разбудил Людендорф своего командующего. — Нас, кажется, встречают...

Среди встречающих был и Макс Гоффман.

— Явление богов, — саркастически заметил он, когда вслед за громадною тушей Гинденбурга появилась фигура Людендорфа, оснащенная высшим военным орденом Германской империи...

Гинденбург первым делом спросил встречающих:

— Все ли в порядке? Где тут можно выспаться?..

Всегда останется насущным здравый философский вопрос:

— Собака крутит хвостом или хвост крутит собакой?

То, что Людендорф раскручивал Гинденбурга как ему хотелось, это объяснять не приходится. Но тогда возникает вопрос: кем же будет крутить Макс Гоффман?..

Гоффману можно и посочувствовать: вертеть Людендорфом так, как он крутил Притвицем, ему было труднее, хотя он еще не терял веры в свои силы. Когда-то они оба проживали в одном берлинском доме и, кажется, не могли похвастать добрососедскими отношениями, — недаром же Людендорф ворчал: «Мало, что я имел Макса своим соседом, так теперь вижу в своем оперативном отделе». При появлении в Мариенбурге Людендорф напомнил:

— Надеюсь, вами исполнен мой приказ, переданный мною еще из Кобленца, чтобы Франсуа и вся армия скорее оторвались от противника, дабы реформироваться заново.

— Да, — отвечал Гоффман, — но такой же точно приказ я отдал еще раньше из Мариенбурга, а ваш приказ из Кобленца лишь подтвердил правильность моих распоряжений...

Людендорф тогда же, наверное, решил, что, если станет писать мемуары, так имени Гоффмана даже не упомянет, будто его и не было. В их соперничестве побеждал все-таки Гоффман, и как ни крутил своим хвостом Людендорф, но его предначертания каким-то образом всегда выглядели лишь повторением приказов Гоффмана, из чего можно сделать вывод: полковник Гоффман был той собакой, которая с большим умением крутила хвостом — генералом Люден-

дорфом, а Людендорф раскручивал самого Гинденбурга.

Между тем Гинденбург недаром получил прозвище Маршал Что Скажешь; при любом вопросе он поворачивался к Людендорфу:

— Что ты скажешь? Лучше нам не придумать...

Чтобы раз и навсегда избавиться от влияния Гоффмана, Людендорф, минуя оперативный отдел, общался лично с командирами корпусов, используя телефоны и телеграф. Гинденбург не вмешивался. Он настолько заостенел в прошлом, которое было лучше настоящего, что один вид телефонного аппарата вызывал в нем тошнотную слабость.

— Пусть этой штукой подъезжает молодежь, — говорил он, — а мы при Седане побеждали глоткой...

Людендорф не отвечал за то, что натворил до него Притвиц, но он становился ответственным за все после удаления Притвица. Следовало принять решение — почти фатальное, от которого будет зависеть не только его карьера, но, пожалуй, и весь ход войны — как на востоке, так и на западе. Людендорфу снились еще бельгийские пожары, во сне бельгийские франтиреры стреляли в него из окон своих квартир.

— Когда же увижу прусские сны? — говорил он...

На разъездах и станциях между Инстербургом и Кенигсбергом нервно покрикивали паровозы. Одни эшелоны разгружались, другие грузились заново — пехотой, пушками и тюками прессованного сена для кавалерии: 8-я армия перетасовывала свои дивизии, словно опытный шулер карты, чтобы начать всю игру сначала. Некоторые части ландвера и ландштурма (из местных жителей) были сознательно распущены по домам, но вместе с оружием.

— Побольше ярмарок! — наказывал Людендорф. — Русские охотно поддерживают прежнюю торговую жизнь, чтобы народ торговал и веселился... Этим надо воспользоваться! В нужный момент вы прямо с ярмарочных площадей ударите им в тыл — взводами, ротами, батальонами...

Навещая Гинденбурга, Людендорф информировал:

— Ренненкампф после ошеломляющего успеха при Гумбинене мог бы делать из нашего мяса отбивные котлеты, но вместо этого он снова застрял, даже не преследуя отступающих.

— Можем ли мы, собирая силы на юге, игнорировать армию Ренненкампфа, нависшую с севера подобно грозовой туче? Собрав все войска против одного Самсонова, — рассуждал Людендорф, — мы рискуем оголить пути, ведущие к Кенигсбергу, а «желтая опасность» в лице Ренненкампфа может развернуться, чтобы раздавить нас всех...

Макс Гоффман выложил перед ним оперативный план русских, подписанный Жилинским, и его перехваченную радиogramму, найденную в портмоне убитого офицера. «Энергично наступайте, — заклинал Жилинский Самсонова. — Ваше движение навстречу противнику, отступающему перед армией Ренненкампфа, имеет цель пресечения немцам отхода к Висле».

— Что вы скажете? — ухмыльнулся Гоффман.

— Все не вяжется.

— А не вяжется потому, что Ренненкампф врет, — объяснил Гоффман. — Он врет, обманывая Жилинского, а Жилинский, обманутый Ренненкампфом, невольно обманывает Самсонова. Ренненкампф давно потерял соприкосновение с нами, но продолжает врать Жилинскому, будто он нас преследует. Я все продумал... все, пока вы гостили в Кобленце.

Людендорф проглотил обиду. Он еще сомневался:

— Не случится ли так, что Самсонов, попав под наш первый удар, призовет на помощь армию Ренненкампфа, и тогда вся наша восьмая армия окажется в мешке русских...

Пришло время смеяться Гоффману:

— Ренненкампфа я лично знаю по битвам на полях Маньчжурии, и он никогда не придет на выручку Самсонову. Гляньте на карту: какой разрыв между армиями русских, и мы этот разрыв должны использовать... *Ренненкампф не придет!*

7. СЛЫШУ ГОЛОС ТАНГЕЙЗЕРА...

Прошлое имеет привычку как бы переключаться с будущим — это даже закономерно. В летописи событий, словно в преемственности поколений, затаилась своя удивительная генеалогия, иногда трудно поддающаяся анализу.

Откуда же было тогда знать нашим дедам и прадедам, что армия Самсонова залезла в те самые гнилые прусские леса, где укрывался тихий и никому не известный Растенбург, который много лет спустя Гитлер избрал для размещения своего знаменитого «Вольфшанце» («Волчье логово»). Русским солдатам из армии генерала Самсонова не могло быть известно, что, сражаясь с Гинденбургом и Людендорфом, они насмерть бьются с теми самыми людьми, которые привели Гитлера к власти...

Сейчас там тихо. Даже трагически тихо в болотистых лесах, что лежат близ мазурского Кенштына, а земля бывшей Пруссии стала землей народной Польши, но она, эта земля, не сберегла ни черепов, ни братских могил русских солдат, павших здесь в августе 1914 года.

Не остались в живых и восемнадцать тысяч узников, которых осенью 1940 года согнали в эти леса, чтобы они замуровали в бетон глубокие бункеры ставки Гитлера, готовящего нападение на Россию.

Теперь там — на месте минных полей — сеют поляки рожь и кормовой рапс, а на месте «Вольфшанце» остались лишь гигантские глыбы замшелого бетона, исковерканные взрывами чудовищной силы. Советские воины увидели их лишь 27 января 1945 года и не могли понять, какие циклопы и ради каких целей разобрали здесь эти чудовищные монолиты. Правда открылась нам позже, и теперь из Кенштына катят нарядные автобусы с туристами,

чтобы люди могли увидеть страшное место, где почти все время войны прятался Гитлер.

Но разве не символично, что он избрал для себя «Волчье логово» именно в этих пропащих местах, неподалеку от места, где когда-то гремела первая великая битва первой мировой войны? Ныне не осталось людей, которые бы лично знали генерала Самсонова. Но еще бродят по миру, щелкая вставными зубами, те самые «волки», которых мы выгнали из «Волчьего логова»...

Говорят, что теперь там часто поют соловьи.

Случилось это после страшного рукопашного боя...

Ночь была прекрасная. В глухом лесу — на bivуаке — я выбрал кочки посуше, накрыл их попоной, чтобы выспаться. Денщик задал Норме овса, и лошадь, погрузив морду в обширную торбу, громко хрупала надо мною, дополняя походный уют своим животным теплом. Я уже засыпал, когда лес пронизало диким, почти истошным воплем... Я схватился за револьвер.

— Что там? — вскинулся я, спрашивая солдат.

— Да кто же его знает? На то и война...

Я снова улегся на попоны, но вдруг послышалось пение. Сильный мужской голос выводил в ночном лесу знакомую арию Тангейзера из оперы Вагнера. Мне стало даже не по себе. Крик — это еще можно понять, но чтобы вот здесь, в этих чащобах Пруссии, давали бесплатный концерт... это никак не укладывалось в моем сознании. Один из солдат, разбуженный пением, поднялся с земли, возмущенный:

— Во, зараза какая! Не даст поспать... нашел время!

Я проверил барабан револьвера, мне сказали:

— Вы куда? Не надо ходить,

— Почему?

— Да страшно как-то.

— Мне тоже. Однако певец-то отличный... Ведь не граммофон же там кто-то заводит...

Я осторожно вошел в лес, следуя на призыв поющего голоса. Тангейзер — великий миннезингер XIII века, о котором в немецком народе слагали легенды, вдохновившие Вагнера, и вот теперь, казалось, он подзывает меня к себе. Из-за туч пробилась луница, осветив лесную поляну, на которой я увидел немецкого офицера без фуражки. Лицо его было гладко выбритым, как у актера, и, прижав ладонь к сердцу, он хорошо поставленным голосом изливал свою душу в любовной арии. Наверное, решил я тогда, передо мною оперный певец, призванный из запаса, который так потрясен ужасами войны, что, бедняга, спятил... Я невольно заслушался его пением.

Но тут подо мною громко хрустнул сучок, певец смолк.

— Bravo, bravo, — неожиданно сказал я, хлопав в ладоши. — Сегодня вы превзошли сами себя...

Немецкий офицер как-то слепо-безумно смотрел на меня.

— Я — великий Тангейзер, — отвечал он вполне серьезно. — Но боюсь, что Елизавета ко мне уже не вернется.

У меня не оставалось сомнений: это был сумасшедший. Тут я заметил, что глаза певца полны слез и во взоре невыразимая мука... Надо было увести его из леса.

— Я не хочу вам льстить, — сказал я. — Но директор театра послал меня к вам, чтобы продлить контракт до конца сезона... Поверьте, он ждет вас... пойдете!

Но едва я сделал попытку увлечь его за собой, как певец вырвался из моих рук и, ломая кусты, скрылся в лесу, и долго-долго потом я слышал из мрака его чудесное пение...

Наверное, я был последним, кто слышал его голос!

ПОСТСКРИПТУМ № 6

Как говорили великие ораторы древности, «вернемся к нашим баранам»... Пора нам покончить с Ренненкампом!

Я не желаю интриговать читателя, чтобы он гадал — а что будет дальше, а посему никогда не боюсь сразу раскрыть перед ним свои карты. Паче того, в такой проклятой истории, какова наша, попросту необходим конец, чтобы добродетель возторжествовала, а зло было наказано...

Когда судьба армии Самсонова была уже решена, Ренненкамф не стал ждать своей очереди и подлейше бросил свою армию на произвол судьбы. Конечно, он забрал с собою Марию Соррель, вместе с нею уселся в автомобиль, который и умчал счастливых любовников в глубокий тыл. За такую активность Ренненкамфа с позором изгнали из числа русского генералитета — как труса, обманщика и невежду. Правда, царь пытался защищать своего любимца, но его дядя, великий князь Николай Николаевич, доказал царю, что Ренненкамф всегда был большой сволочью, а вместе с ним виноват и командующий фронтом Жилинский...

Английский историк Ричард Роуан писал, что предательское поведение Ренненкамфа известно, «но никому и уже никогда не удастся установить, в какой мере вина за катастрофу армии Самсонова падает на генерала, а в какой — на коварную шпионку Марию Соррель». Да, мы не знаем, какова роль этой женщины в сдерживании Ренненкамфа, чтобы он не спешил на штурм Кенигсберга, чтобы не торопился на выручку армии Самсонова... Разоблаченная офицерами штаба Первой армии Мария Соррель нашла свой конец в прусских лесах, повешенная на суку ближайшего дерева. Повесили ее сами офицеры!

Осталось разобраться с П. К. Ренненкампом...

Место действия — Таганрог, время — март 1918 года.

Ф. И. Смоковников (из мещан города Витебска) копался на огороде возле одного из домишек на окраине города. Он был уже стар, не замечен в пьянстве, равнодушен к женщинам, и по всему было видно, что в огородных делах разбирается слабо. Ковырялся в земле — больше для приличия.

Соседи уже заметили, что огородник боялся белых, он боялся и красных, зато поджидал немецких оккупантов:

— Вот немцы придут, кулаком трахнут — порядок будет!..

Но сначала кулаком трахнули ночью в двери его дома:

— Гражданин Смоковников, откройте... телеграмма...

Он открыл дверь. На пороге стояли чекисты:

— Гражданин Смоковников, вы... Ренненкамф?

— Впервые слышу. Какой еще там Рененене...

— Ну, пойдете. Хватит дурака валять...

Боровоподобная личность «желтой опасности» была настолько выразительна, его портреты столь часто мелькали на страницах газет, что отпираться было немислимо. Ренненкамф понимал, что большевики не простят ему 1905 года, когда он возглавлял карательные отряды в Сибири. Но он был, наверное, удивлен, что его судили за события августа 1914 года:

— Ну-ка, расскажите, как вы предали армию Самсонова?..

Царская власть не рассчиталась с ним. Белогвардейская разведка тоже проморгала «огородника». Вот и получилось, что за гибель армии Самсонова ему пришлось держать ответ уже перед Советской властью... Возмездие было неизбежно, и ревтрибунал вынес ему смертный приговор.

Часть третья

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГА

Глава первая

ДОЛГИЙ ПУТЬ

*Долгий путь. Он много крови выпил.
О, как мы любили горячо —
В виселиц качающемся скрипе
И у стен с отбитым кирпичом.*

Ник. Тихонов

Написано в 1942 году:

...под Москвой. Было очень много ликований, но мне, признаюсь, эта операция не принесла ощущения полноты победы. Не буду сваливать все на холода, заморозившие технику вермахта, ибо на русские морозы еще задолго до Геббельса ссылался и Наполеон в своем знаменитом «28-м бюллетене». Но все-таки наступление, закончившееся для нас успеш-

но, не казалось мне таким сокрушающим ударом, чтобы радикально изменить положение на фронте. Отбросить противника далеко от Москвы не удалось. Ясно, что немцы отогреются по весне, перецелкают на себе вшей, обновят технику, и потому летом нам следует ожидать серьезных оперативных решений...

А я не ладил с начальством. Вскоре меня отстранили от пропаганды, но и других поручений не давали. Курс военной статистики в Академии Генштаба был сильно урезан, лекции занимали лишь четыре часа в неделю. Чувствовалось, что моя неприкаянность вызвана какими-то побочными соображениями, и я сознательно пошел на обострение обстановки.

— Мне, — заявил я в особом отделе, — не совсем-то понятно, почему в такое трудное время, какое переживает Отчизна, меня, кадрового специалиста, держат под шкафом, словно забытый мусор... Чем вызвано недоверие? Или виной тому мой последний арест? Так все уже выяснилось. Я вам преподнес Бориса Энгельгардта, я действительно вышел прямо на Целлариуса... Не понимаю! Лучше уж пошлите меня на фронт рядовым солдатом.

— У вас другие фронты, — ответили мне...

Было видно, что моего визита не ожидали, и дальнейший разговор никак не блистал крупными народными мудростями. Сначала мне ядовито намекнули на мой расхождение с начальством:

— Говорят, вы не исправились.

— Но я же не ребенок, чтобы, нашалив, исправляться. Мои убеждения сложились не сегодня, и не вам меня перекраивать.

— А вы разве не боитесь противоречить людям, облеченным высоким доверием партии и народа!

— Я старею. Семьи нет. Дети не сидят по лавкам, ожидая, когда их накарячат. Так чего мне бояться? Кажется, отжил свое честно, а теперь желаю умереть честным человеком, чтобы смерть застала меня при исполнении долга.

— Честным... ведь вы были в немецком плену?

— При царе это не считалось вселенским позором, напротив — мученичеством, и бывших в плену награждали орденами.

— За что? За трусость?

— Простите, — обиделся я, — тогда же в баварской крепости Ингольштадта сидели в одной камере два офицера. Одного звали Шарлем де Голлем, а другого Михаилом Тухачевским, и трусами их никак не назовешь, хотя они тоже сдались в плен...

Это озадачило моих собеседников:

— А вас взяли в плен? Или сдались сами?

— Сам... На войне случаются такие острые коллизии, когда даже смелый человек бывает вынужден поднять руки...

Этот корявый разговор был продолжен в более просторных кабинетах с гораздо большим количеством служебных телефонов, и портрет Хозяина не был литографией для всеядного ширпотреба, а был исполнен маслом на холсте, вставленный в золотую раму. Тут рассуждали более откровенно.

— Сколько у вас было орденов?

— До революции?

— До.

— Много! Но в семнадцатом я обменял их на пуд белой муки, о чем до сих пор горестно сожалею. Из советских же орденов имею лишь медаль «XX лет РККА».

— У вас отличные аттестации по службе до революции.

— А как же иначе? Если уж дослужился до генеральских эполет, так, наверное, чего-нибудь стоил... Не так ли?

— Хорошо. Где бы вы хотели теперь быть?

Вопрос был поставлен напрямик, и потому он требовал от меня предельно искреннего ответа — без экивоков:

— Для работы в Германии я сейчас попросту не гожусь. Мои знания лучше использовать в Югославии, где началась народная война против немецких оккупантов.

Ответ был малоутешительным для меня:

— Вы плохо представляете себе обстановку в отрядах Тито, там война очень жестокая, и вам физически не выдержать всех ее тягот. Ведь вам уже далеко за шестьдесят.

— Но еще не семьдесят же, черт побери! — чересчур горячо возразил я. — Раньше в русской армии служили и позже, даже в отставке оказывая немалые услуги отечеству. Поверьте, что на здорovie я никогда не жалею.

— Хорошо, — закончили разговор. — Мы подумаем, где вам удобнее сейчас быть. Всего доброго...

Мне почему-то казалось, что меня ожидают Балканы, и я даже удивился, когда мне предписали скорый вылет в Тегеран.

— Вы имеете представление о Персии, нынешнем Иране?

— Осмеливаюсь судить об этой стране лишь по экзотическим романам Пьера Лоти, где с большим толком воспеты женщины — ароматные, как розы Исфагана.

— Вот и хорошо, — сказали мне.

Конечно, я знал о Персии не только по романам.

Иран был перенасыщен агентами абвера, активность которых вызвала большую тревогу не только в Москве, озабоченной сохранностью бакинских нефтепромыслов, но и в Лондоне, где не могли смириться с угрозой нефтеносным источникам в районе Персидского залива. В августе 1941 года британские войска вошли в Иран с юга, а наша армия вошла с севера, чтобы обезвредить свои границы от диверсий на Каспии и на Кавказе.

В таких сложных условиях наша разведка в Иране приступила к уничтожению вражеской агентуры. Это было чертовски трудное дело, тем более что немцев поддерживали племена кашкайцев и бахтиаров, которые терпеть не могли бумажных денег, зато абвер расплачивался с ними чистым золотом.

Я вылетел из Москвы в те самые трагические дни, когда немцы заканчивали окружение нашей ар-

мии в районе Барвенково, маршал Тимошенко оставил там 480 000 человек и всю боевую технику, а в нашей печати стыдливо признавались, что 90 000 «пропали без вести». Вермахт двигался на Сталинград! Наш самолет садился на дозаправку именно в Сталинграде, уже переполненном беженцами, город на Волге стонал от рева скота, гонимого на восток, все были взволнованы самыми мрачными слухами.

Мы летели через Астрахань и Баку, наш «дуглас» основательно трясло в тучах. Конечно, в мои годы не станешь ориенталистом, но я все-таки запасся в дорогу дешевым разговорником «Русский в Персии», изданным до революции, и теперь зубрил:

— Кэнди вэ чай дарид? — есть ли у вас чай с сахаром? Бераи бенда лехаф-э э-табистани лазим ест! — прошу дать одеяло...

В разведуправлении Москвы меня предупредили, что в январе 1942 года немецкая авиация сбросила над Ираном сотню парашютистов, владеющих восточными языками, чтобы с их помощью оживить работу абвера на границах с Индией и СССР. Посадка нашего «дугласа» в сильно разреженном воздухе Тегерана показала мне скорее падением самолета в облаке густейшей пыли, окутывавшей аэродром, заставленный авиацией англичан; здесь же, под крыльями самолетов, сновали юркие «джипы» с хохочущими и орущими «томми». Дверь фюзеляжа открыли, и внутрь «дугласа» пахнуло такой жарницей, будто я угодил в ванну с горячим глицерином. Я спустился по трапу на землю, повторяя понавившуюся мне, персидскую поговорку:

— Самый вкусный виноград всегда достается шакалу...

Английский контроль. Я предъявил документы — ревизор Управления банков СССР. Молодой британский офицер в шортах и безрукавке едва глянул в бумаги, спросив меня по-русски:

— Долгая дорога... верно, папаша?

— Долгая, сынок, — ответил я в том же духе.

Но это мимолетное «папаша» еще раз напомнило мне о моем презренном возрасте. Я появился в Тегеране для ревизии «Русско-иранского банка», солидного учреждения, которое с давних времен сотрудничало с персидскими деловыми кругами. Всегда плохо смыслил в вопросах денежных обращений, а теперь — в роли московского ревизора — я имел этот банк лишь прикрытием для своих дел, весьма далеких от развития экономики. Директор банка мог быть вполне уверен, что я не посажу его за растрату. Я входил в подчинение майору Сергею Сергеевичу Т[уманову], который возглавлял группу советской разведки, жестоко боровшейся с нацистским подпольем в Иране...

На выходе с аэродрома Т[уманов] ожидал меня в автомобиле. Тегеран к вечеру высветился неоновыми рекламными, сверкали витрины фешенебельных магазинов, в нарядной столичной публике царило некое оживление праздности, столь несвойственной москвичам; среди мотоциклов и автомашин бежали

ослики с поклажей, тут же величаво выступали караванные верблюды.

— Вас прислали... — начал майор Т[уманов].

— ...в помощь вам, — опередил я его вопрос.

При этом объяснил: мои задачи просты, хотя и хлопотливы — я должен установить связи с влиятельными белоэмигрантами, согласными помочь родине в ее трудные дни, мне следовало наладить контакты и с богатой армянской колонией, которая душой всегда была близка армянам нашего Еревана.

— Может быть, — сказал я Т[уманову], — кто-либо из этих людей, сочувствующих нашей стране, сумеет помочь нам...

Т[уманов], легко управляя машиной, сказал, что в Иране обстановка гораздо сложнее, нежели ее представляют в Москве, а вожди племен, живущих в горах, агентов абвера не выдадут:

— Немцы берут их за душу не только золотиком с дурной лигатурой, но и тем, что выдают себя за «освободителей мусульман от британского и русского империализма», — старая песня, известная нам со времен кайзера! Но сейчас, когда фюрер жмет на Сталинград, немцы рассчитывают — через Кавказ — объединить свои армии с армией Роммеля, которая — через Каир — выйдет в Палестину и Сирию, а потом развернется и далее — прямо на Индию... В каком вы звании? — вдруг спросил Т[уманов].

— Всего лишь генерал-майор.

Машина в его руках рыскнула в сторону.

— Простите, — сказал Т[уманов], — я ведь только майор, а Москва велела принять вас, как своего подчиненного.

— Все верно. В таком деле, каково наше, чинопочитание излишне. Я охотно исполню все ваши указания.

— Благодарю. Вот и «Континенталь», где для вас снят номер с душем и ванной. Не пейте сырой воды. Директора банка легко запомнить: Иосиф Виссарионович Гусаков. Вот вам и мой телефон. В случае каких-либо осложнений — звоните...

Иосиф Виссарионович оказался милейшим человеком.

— Каковы ваши первые впечатления от Персии?

— О! — воскликнул я, взваливая на стол разбухший портфель, набитый пачками газет, которых я никогда не читал. — Пьер Лоти прав: розы благоуханны, персиянки очаровательны, а лохмотья нищих по-рубенсовски живописны... Итак, с чего мы начнем?

— Сначала я позволю себе отчитаться в кредитах.

— Надеюсь, вы меня не очень стесните во времени? Знаете, я человек в годах, а тут... такие шеншины... такие шеншины! Где мне, старому петербуржцу, устоять перед ними?..

Кажется, бедняга поверил, что я опытный ловец и провожу свои вечера в самых темных кварталах Тегерана, куда женатые люди не заглядывают. В чем-то мне здорово повезло. Под видом важного московского финансиста я установил связи, нужные для группы Т[уманова]. От этих встреч с «нужны-

ми» людьми мне запомнились роскошные рестораны, обнаженные спины женщин, сверкание посуды в руках вышколенных официантов, надрывные возгласы джазов, а в глыбах тающего льда серебрилась наша каспийская икра и леденели бутылки с превосходным шампанским. Одному эмигранту, который сомневался, стоит ли ему связываться со мною, я сказал на ушко — как самое сокровенное:

— Не забывайте, что я лично знаком с Иосифом Виссарионовичем, и обязательно напомню ему о ваших заслугах...

Вскоре я был извещен, что нашей группе удалось перехватить секретный код, которым агентура абвера связывалась с фон Папеном, гитлеровским послом в Стамбуле; мы предотвратили серию взрывов и пожаров на нефтепромыслах Баку, которые были отлично спланированы во 2-м отделе абвера на Тирпицфер в Берлине. Я был вполне доволен собой, но мое блаженство в Тегеране скоро закончилось... В один из дней, когда я подходил к банку, помахивая портфелем, возле меня резко затормозила легковая машина. Я не успел даже среагировать, как дверца ее распахнулась. Три выстрела в упор отбросили меня к стене здания, интуитивно я загордился от них портфелем.

Машина отъехала. Пули, пробив портфель, застряли в пачках газет, а одна засела во мне. Иосифу Виссарионовичу, когда меня внесли внутрь банка, я назвал телефон Т[уманова]:

— Скажи, чтобы Сергей Сергеевич приехал...

Меня поместили в английский госпиталь. Т[уманов] спросил:

— Вы запомнили лицо стрелявшего?

— Кажется, его лицо было русского типа.

— Лежите. Самолет в Москву будет вечером...

Итак, дело было сделано. Мы не смогли тогда выловить лишь двух матерых агентов абвера. Это был эсэсовец Юлиус Шульце, замаскированный под видом муллы, которого укрывал в Исфагане главарь кашкайских племен, и прохлопали опытного резидента Майера, работавшего под самым нашим носом — могильщиком на армянском кладбище Тегерана. Обратной дорогой я летел уже над калмыцкими степями, и в районе Элисты по нашему «дугласу» всю ивановскую жарили немецкие зенитки...

Орден Боевого Красного Знамени мне вручили уже в московском окружном госпитале. Оправлялся я с трудом, благодаря всевышнего именно за то, что надоумил меня таскать в своем дурацком портфеле совсем не нужные мне пачки газет. Если бы не эти газеты, не видать бы мне ордена, как своих ушей...

Битва в Сталинграде была в самом разгаре, когда переполненный людьми поезд увозил меня в глубокий тыл — в самую глубь страны, где была очень трудная и голодная жизнь без тепла и уюта, с мучительным ожиданием весточек от мужей, с рыданиями женщин при вручении им похоронок. Всю дорогу я смотрел в окно, как ребенок, не раз готовый заплакать. В глубоких снегах стлыли древние леса, картины русской провинции оживали передо

мною в порушенных храмах без куполов, в запустении старых гостиних лабазов эпохи Екатерины Великой, в старинных зданиях губернских и уездных гимназий, где теперь разместились тыловые госпитали. Было морозное утро, кружился мягкий снежок, когда я сошел с поезда на перрон промерзшего вокзала древнего русского городка, тихо курившего дымками печных труб. Здесь в годы войны — за очень высоким забором — располагалась школа для подготовки наших агентов и диверсантов, а я был назначен руководить этой школой... Мне выделили квартиру в городке; с утра до ночи для меня куховарила слезливая старуха Дарья Филимоновна, меня возлюбил ее кот Вася, и любовь кота бывала особенно пылкой в день получения мною генеральского пайка. Тут уж он не отходил от меня, издавая то нежное, то свирепое «мурлы-мурлы» с таким артистизмом, что надо иметь железное сердце, дабы устоять перед его желанием вкусить от моих благ.

Школа считалась интернациональной, в ее аудиториях слышалась речь поляков, чехов, болгар и немцев, в основном это была молодежь, и мне нравилось с нею общаться. Группы курсантов, уже готовые для работы в немецком тылу, я с офицерами школы всегда провожал на аэродроме, целуя каждого троекратно, и жалел каждого, как отец своих сыновей. Да простится мне эта сентиментальность: я ведь невольно вспоминал молодость...

В один из вечеров, томимый одиночеством и тоскою, я решил прогуляться по городу, занесенному снегом. Незаметно добрал и до станции. В зале ожидания возле холодной печки сидела изможденная женщина, вокруг шеи которой, словно веревочная петля, была обвита старая шкура лисицы, когда-то, наверное, украшавшая эту даму. Возле нее сжались в комок две девочки. Вещей с ними не было, и поначалу я принял их за беженцев. Мне казалось, они так и останутся здесь, обреченные на тихое умирание. Что-то больно кольнуло мне в сердце.

— Куда вы едете? — спросил я женщину.

— Не знаю... мы теперь ничего не знаем.

— Билет у вас в какую сторону?

— Нет у нас билетов. Нет и никогда их не будет.

На меня с надеждой воззрились девочки. Чего они ждали от меня? Чудесной посадки на поезд? Или... куска хлеба?

— Продуктовые карточки у вас при себе? Тогда их можно отоварить, — подсказал я. — Утром, когда откроются магазины.

— Нет у нас карточек, — отвернулась женщина...

Руками без перчаток, посиневшими от стужи, она перебрала облезлый хвост лисы через плечо. Даже кокетливо!

— Кто вы и откуда? — спросил я.

— Мы... немцы, — услышал я. — Мы... высланы.

Не знаю почему, но в этот момент мне вспомнилось, что лучшая гроздь винограда всегда достается шакалу. Молча я вышел из зала ожидания. Постоял на перроне. Вернулся обратно.

— Но так же нельзя! — заговорил я. — Вы тут

замерзнете... погибнете. Без билетов, без денег, без карточек.

— А кому нужны мы теперь? — спросила женщина.

— Мне! — выкрикнул я так, словно отдал приказ...

Я привел несчастных в свой дом, отпихнул кота: — Иди к чертовой бабушке... Дарья Филимонова, — велел я на кухню, — ставьте самовар да печи топите пожарче...

Я сам накрыл стол. Смотрел, как пугливо едят женщина и ее дети. Чувствовал, что они боятся уйти из моего дома.

— Вы останетесь здесь, — сказал я женщине. — Вы и ваши дочурки. Не волнуйтесь... Как-нибудь проживем...

...Боже, как поздно я обрел тихое семейное счастье!

1. «ЦО ТО БЕНДЗЕ!»

Французское правительство покинуло столицу, вот-вот готовую пасть, перебравшись в Бордо.

В утешение парижанам газеты публиковали карты Восточного фронта, на которых мощная стрела русского наступления врезалась графическим острием прямо в Берлин. Французы более рассчитывали на помощь далекой России, нежели ближайшей Англии, дружно осмеивая британских солдат, которые на союзном фронте старались занимать вторую позицию, благородно уступая первую французам. Положение немецких солдат в битве на Марне было незавидное, и когда французские врачи наугад вскрыли несколько их трупов, то в желудках обнаружили лишь красные комки кормовой свеклы. Кажется, немцы уже созрели для поражения, натошак атакуя французов. Шлифен, наверное, был гениальный стратег, но вершиной германской стратегии стала все-таки продуктовая карточка. За широкие планы Шлифена немцы расплачивались мизерным пайком маргарина, добавляя в хлеб целлюлозу. Но когда Мольтке снял с фронта два корпуса и кавалерийскую дивизию, чтобы спешно перебросить их в Пруссию, положение французов на Марне резко улучшилось. Россия в эти дни была столь популярна, что французские патрули брали своим паролем названия русских городов, и на выкрик «Москва» они отзывались именами Рязани и Калуги...

В коалиционных войнах трудно найти примеры, чтобы союзник жертвовал собою ради успехов союзников. Но август 1914 года убедил весь мир в том, что Россия свято верна союзническому долгу. В эти дни Петербург информировал Париж. «С удовольствием констатируем факт переброски немецких сил против нас, чем облегчается положение французов...» Даже французский маршал Фердинанд Фош уж на что не любил делить свою славу, но и тот вынужден был открыто признать:

— Именно русским солдатам мы всегда останемся благодарны за то, что имеем право гордиться «чудом на Марне»...

Между тем в прусском Мариенбурге полковник Макс Гоффман объяснял пассивность Ренненкампа эпизодом на вокзале в Мукдене, когда Самсонов дал Ренненкампу по морде:

— Не думайте, что Ренненкампф забыл этот случай и не пожелает отомстить Самсонову за свое публичное унижение...

Пришлось потревожить сладкий сон Гинденбурга. — Решайтесь, мой генерал, — сказал ему Людендорф.

— Я — как ты скажешь, — мудро отвечал Гинденбург...

Самое пикантное во всем этом: хотел того или не хотел Людендорф, но так уж получалось, что все-таки не собака крутила хвостом, а хвост раскручивал собаку, — Людендорфу поневоле приходилось следовать за мнением Макса Гоффмана:

— Именно на том убеждении, что Ренненкампф не придет на помощь Самсонову, мы и будем строить всю операцию...

Неизвестно кто, Людендорф или Гоффман, но один из них подошел к телефону, на чистом русском языке сказал:

— Генерал Ключев? Здравствуйте, дорогой Николай Алексеевич, рад вас слышать... К сожалению, обстановка изменилась, вашему корпусу придется отступить назад. Понимаю, понимаю... отступить всегда неприятно. Но — что поделаешь? Так надо...

...неоправданные потери в пехоте, особенно среди офицеров, бравировавших своей лихостью, считавших особым шиком дефилировать с сигарой в зубах под косящим огнем вражеских пулеметов. И все лишь ради того, чтобы не прослыть трусом и заслужить прозвище «молодчага». Во всех армиях мира офицеры шли в атаку позади солдат, а в русской офицер шел впереди солдат, помахивая тросточкой или былинкой травы, почему самая первая пуля доставалась непременно ему. Выговоры не помогали.

— Я же офицер, черт возьми! — оправдывались «молодчаги». — С кого же, как не с меня, брать пример солдату?..

Предгрозовые дни августа застали меня в уютом и уютном Нейденбурге, где немки почтительно кланялись нам, русским офицерам, а поляки снимали шляпы; по вечерам немцы закрывались на все запоры, а поляки, до нашего прихода в Пруссию принужденные говорить по-немецки, теперь свободно распевали гимны своей стародавней вольности:

Плыне, Висла, плыне
по польской краине,
а допуки плыне,
Польска не загине...

Постовский руководил самсоновским штабом тоже из Нейденбурга, недалеко от границы с Россией, и настроение «сумасшедшего муллы» было далеко не из лучших. Он сказал:

— Когда старый козел гоняется за молоденькой козочкой, тогда всем нашим козляткам бывать сиротами.

— Вы намекаете на Павла Карлыча?

— Да, — ответил не сразу. — Я вообще не доверяю генералам, сделавшим карьеру в пятом году, когда они играли незавидную роль карателей. Может, подобные люди тогда и были нужны его величеству, но для войны они вряд ли годятся... Ренненкампф уже попался (и не раз) на грязных машинациях с продажными интендантами, а теперь не стыдится таскать за собою молодую красивую сучку, словно желая доказать подчиненным и всем нам свое геройское «молодечество»...

Самсонов удивлял меня своей выдержкой и, даже ненавидя Ренненкампфа, никогда не бранил его открыто, признавая в нем своего боевого соратника, обязанного прикрывать его армию с правого фланга. На рабочем столе Самсонова я видел раскрытый том Масловского о Семилетней войне, когда Восточная Пруссия покорно присягнула на верность России, и рукою моего генерала были жирно подчеркнуты в тексте слова графа Шувалова, сказанные еще в 1760 году: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга достать Берлин всегда можно...»

Я доложил данные разведки, которые никак не могли вызвать радостных эмоций. Активное перемещение немцами эшелонов за линией фронта казалось мне подозрительным.

— Вы меня не пугайте, — грузно поднялся Самсонов и, достав платок, смачно в него высморкался. — Русские генералы с детства пуганные... всякими сказками.

— Извините. Я не вправе вмешиваться в ваши распоряжения. Но мне думается, что 13-й корпус генерала Ключева, как и 15-й корпус генерала Мартоса, рискованно выдвинулся вперед, а «бедным михелям» никак не смириться с потерей Алленштейна, этого важного узла железных дорог всей Пруссии.

— Алленштейн... как его историческое название?

— Олштын — древний польский город, когда-то столица епископов... Наконец, — договорил я, — наши буквенные коды, придуманные для развлечения младенцев, надо полагать, уже давно расшифрованы немцами, а штаб вашей армии, смею заметить, ведет переговоры по радио даже открытым текстом...

Самсонов, явно раздраженный, захлопнул книгу.

— Ключев чего-то попятился назад, — сказал он, — хотя причин для отхода не вижу. Правда, у него большие потери. Николаю Алексеевичу, наверное, стало жалко солдат.

— Мне тоже их жалко. Тем более что наши солдаты четверо суток не видели хлеба. Там, в Алленштейне, пять пивоваренных заводов, но одним пивом сыт не будешь...

Самсонов признал, что обозы безнадежно отстали, а солдаты измотаны бесконечными переходами и боями. Но подвоза не было: узкая колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Жилинский из Волковыска не скрывал, что все эшелоны с боеприпасами и провизией застряли где-то возле самых границ, образовав страшную «пробку» за Млавой.

— Если пробка, — диктовал Самсонов, — пускай

сбрасывают вагоны под откос, дабы освободить пути под новые эшелоны.

Жилинский отбил ответ по телеграфу, что за Млавой откоса не имеется. Вся эта дурацкая перебранка происходила на моих глазах. Самсонов вызвал к себе Нокса.

— Дорогой майор, — сказал он ему, — вы уже достаточно наблюдали за успехами моей армии, а теперь... Теперь, я думаю, вам лучше бы покинуть армию.

Впоследствии Нокс, ставший генералом, сыграл зловещую роль в сибирском правительстве адмирала Колчака, а тогда, еще скромный майор, он с некоторым вызовом отвечал генералу, что в леса Пруссии его загнало не праздное любопытство:

— Я должен координировать совместные действия русской армии с нашей, желая видеть развитие вашего успеха.

— Это вам не удастся, — грубо ответил Самсонов — так грубо, словно отпихнул Нокса от себя. — Ваша армия слишком далека, а я неспособен координировать свои действия даже с Жилинским и, стыдно сказать, даже со своим соседом по флангу...

Нокс, кажется, был смущен. Европейцы всегда много болтали о «загадочной русской душе», парижане восхваляли особый «славянский шарм», а Нокс выразился о нас конкретнее.

— Все русские похожи на сумасшедших, — сказал он, когда мы покинули штаб Самсонова. — Широта славянской природы совмещается с узостью предвидения. Вы считаете нас, англичан, слишком осторожными на войне, но согласитесь, что именно этого качества вам никогда и не хватало.

Я не стал вдаваться в полемику, кратко ответив, что в калейдоскопе событий трудно выявить общую картину. Со стороны Мазурских озер в направлении Нейденбурга наплывали темные грозовые тучи, вдали, словно переблеск сабель, полыхали молнии, вонзавшиеся в гущу лесов. Было душно, смутно, тревожно.

Наверное, и Нокса угнетали дурные предчувствия.

— Вы, надо полагать, знаете больше Самсонова?

В этот момент я вспомнил старую солдатскую притчу о тех убитых врагах, которые пустыми глазами глядят на своих победителей, словно предсказывая им скорое отступление.

— Наше положение сейчас как при... Ватерлоо!

— Не понял вас, — оторопел Нокс.

— Наполеон выиграл бы эту битву, если бы на помощь ему вовремя подоспели войска маршала Груши. Но Груши не пришел, и Наполеон перестал быть Наполеоном.

Нокс все понял и натужно засмеялся.

— Смелое сравнение Самсонова с Наполеоном, — сказал он. — Но еще смелее сравнение Ренненкампфа с Груши...

Все началось как-то исподволь, хотя сведения с передовой еще не давали причин для нервозности. Накануне возле Орлау нами была полностью разгромлена немецкая дивизия. Но на этот раз противник,

даже разбитый, крепко цеплялся за свою позицию. Мне удалось связаться с Ключевым раньше Постовского, и Ключев сказал, что он не «пятится назад», хотя все-таки немного отошел, ибо на этом отходе настаивали из штаба.

— Ерунда, — ответил я. — Вы не слишком-то доверяйте местным телефонам. Прежде убедитесь, кто говорит с вами.

— Говоривший представился Постовским, и в разговоре с ним я убедился в его отличном знании обстановки.

— Вас обманули, а подключиться к нашим проводам — это для немцев раз плюнуть...

В числе пленных стали попадаться «михели», еще вчера спокойно сидевшие в гарнизонах на Висле, и это настораживало. Мне казалось, что противник усилился в два раза, но я ошибался. Позже выяснилось, что немцы имели даже четырехкратное превосходство над нами в силах пехоты, противник подавлял нас артиллерией и множеством аэропланов. Однако мощное острие нашего клина еще воизалось в самую сердцевину Пруссии, дорогу для Второй армии Самсонова прокладывали 13-й и 15-й корпуса генералов Ключева и Мартоса. Мне тоже удалось перехватить разговор немецких штабов, Гинденбург оповещал ставку кайзера в Кобленце: «ДУРНОЙ ИСХОД ДЛЯ НАС НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ». Это признание Гинденбурга меня несколько приободрило: значит, и противник не уверен в своем успехе...

После войны, вчитываясь в материалы германского рейхсархива, я убедился, что в восьмой армии Гинденбурга царила такая же неразбериха, как и в наших частях. Но «михелей» выручала отличная связь и быстрая передвигка резервов по рельсам, чего у нас-то и не было. Расплющить нашу армию немцы собирались в четыре часа утра 13 (26) августа, но планы были спутаны непокорным генералом Франсуа... Он отказался атаковать нас на рассвете, самовольно перенес атаку на время полудня. Но в полдень Франсуа вторично ошеломил Людендорфа — новым отказом. Атаку отложили на час, потом ее оттянули еще на три часа.

После всего этого Франсуа вообще забастовал.

— Ничего страшного, — весело сказал он, — бывает же так, что концерт откладывают по болезни артиста...

Гинденбург и его свита нагрянули в штаб Франсуа, который остался непоколебим в сознании своей правоты:

— Пока я не получу перевеса в тяжелой артиллерии, я не строну свою дивизию с места, чтобы не видеть ее погибающей с воплями на русских штыках...

Макс Гоффман, недослушав перебранки генералов, уселся в автомобиль, докатил до ближайшей станции, где ему вручили сразу две радиogramмы — Ренненкампа и Самсонова, переданные в эфир открытым текстом. С этими радиogramмами Гоффман перехватил Гинденбурга и Людендорфа в дороге.

— Оставьте бедного Франсуа в покое, — сказал он. — Наш трамвай еще не ушел... Читайте сами: завтра генерал Ренненкампф останется далеко от

Самсонова, а Самсонов расценивает бои с нами как бои с нашим арьберггардом, прикрывающим отход восьмой армии в сторону Вислы...

В середине дня 6-й корпус армии Самсонова оставил позицию возле городка Бишофсбурга, но все попытки Гинденбурга потеснить левое крыло русской армии не удалось. Однако потери с нашей стороны были ужасающими.

— Дерутся страшно, — сообщил мне Постовский. — В седьмом пехотном полку не осталось ни одного офицера, а солдат полегло сразу три тысячи... Целое кладбище!

Ближе к вечеру до Нейденбурга дошло известие, что 4-я дивизия оставила на поле боя уже пять с половиной тысяч солдат. Фронт стал напоминать мясорубку.

— Пушки мы оставили тоже, — хмуро признался Постовский. — Что делать, если на один наш пушечный ствол немцы выставляют сразу четыре... Наконец, — сказал «сумасшедший мулла», — нельзя же уповать на одни сухари, ибо хотя бы раз в неделю русский солдат имеет право нажраться мяса.

— В чем дело? — отвечал я. — Вокруг все дороги забиты брошенным скотом, так не начать ли его реквизицию, как это всегда делалось в старые добрые времена? Наконец, — напомнил я, — у каждого солдата был неприкосновенный запас.

— Давно прикоснулись. Ни крошки не осталось...

У меня сложилось убеждение, что мы вступили в бои не с арьберггардом отступающего противника — напротив, перед нами возникла очень крепкая армия, обновленная резервами и хорошо передислоцированная для активного наступления против нас.

Александр Васильевич нехотя согласился со мною.

— Возможно, — сказал он. — Но Жилинский настаивает, чтобы я держался за Алденштейн, дабы оседлать главную железную дорогу, связующую Восточную Пруссию со всей Германской империей... В одном вы, конечно, правы: немцы усилились! Даже дивизия Макензена, недавно драпавшая от нас, теперь держится стойко. Тяжелее всех достается ныне бедному Мартосу, но его пятнадцатый корпус стоит как вкопанный...

Вот уж не знаю, сколько русских пленили немцы, но мы гнали и гнали в свой тыл длиннющие колонны плененных немцев. Жаркий день угасал, до окраины Нейденбурга едва докатывался грохот тяжелой артиллерии, где-то «пахавшей» позиции.

— Это не наша, — сказал Постовский за ужин. — Четвертая дивизия отходит, ибо у нее не осталось даже окопов.

— Куда же делись окопы? — спросил Нокс.

— Они сровнялись с землей, а земля перемешалась с людьми. Положение на флангах, чувствую, обострилось...

Это было еще мягко сказано. В согласное и почти мажорное звяканье посуды вдруг резонансом вмешались посторонние звуки с улицы. Мы оставили стол и, на ходу пристегивая оружие, вышли на площадь Нейденбурга... Перед нами катились санитарные фуры, шли солдаты без фуражек, иные топали босиком, пе-

рекинув сапоги через плечо, редкий из солдат тащил на себе винтовку. Вид людей был почти ужасен: покрытые коростой пыли и грязи, в кровавых струпьях, изможденные...

Самсонов повелительно окликнул одного из них:

— Эй... босяк! Ты почему оказался здесь?

— А где же нам ишо быть? — ответил ему солдат. — Пять ден не жрамши, и — держались... А чем? Чем воевать? — «Босяк» в бешенстве продернул затвор винтовки, но ни одна гильза не выскочила из пустой обоймы. — Вот так воевали... до последнего патрона, — с глубоким надрывом сказал солдат. — Ныне все кончилось... амба всем! Потому я здесь, а не там...

Самсонов не треснул солдата в ухо. Самсонов не покрыл его матом. Самсонов не велел солдату вернуться назад:

— Иди, братец, куда ноги тащат... бог с тобою!

Эту чересчур выразительную сцену наблюдал и майор Нокс, наверняка запомнивший обоюдное бессилие — и солдата и генерала. Я понял, что мое место не здесь. Самсонову я сказал, что навешу дивизию Мартоса. Александр Васильевич отвел меня в сторону, чтобы наш разговор остался между нами.

— Поезжайте, — широко перекрестил он меня. — Но вы начальник армейской разведки, слишком много знаете о наших делах, а посему... Простите, вам следует быть очень осторожным.

— Ясно. В плен сдаваться нельзя.

— Ни в коем случае, — подтвердил Самсонов. — И будет, наверное, лучше, если вы появитесь на передовой в форме солдата, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

— Я вас понял. Понял и благодарю...

Самсонов со вздохом извлек из-под мундира золотой медальон с фотографиями своих детей и сказал мне тихо:

— Ради них... я обязан сохранить честь. Честь русского солдата! Чтобы детям не было потом совестно. Прощайте...

Больше я никогда не видел генерала Самсонова.

Денщик вывел оседланную Норму, я сказал ему:

— Спасибо, дружище. Ты оставайся здесь...

Навстречу мне бурно изливался поток отступающих и раненых, ковылявших по обочинам, а я ехал на фронт — навстречу гулу батарей, вспоминая удивительную красавицу, еще вчера вопрошавшую меня в тоскливом отчаянии:

— Цо то бендзе? Цо то бендзе?..

На этом, читатель, мемуары нашего героя обрываются, свое повествование он продолжит потом, а сейчас придется далее говорить за него мне... Конец этого дня сохранил три подробности, место которым если не в анналах истории, то хотя бы в грязеотстойниках, необходимых для каждого шотландского хлева. Штаб Жилинского в Волковыске вдруг посетил верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич.

— Где Самсонов? — спросил он еще с порога,

— Очевидно, в Нейденбурге, — ответил Жилинский.

— А где сейчас топчется армия Ренненкампа?

— Не знаю, — честно ответил командующий фронтом.

Могучая оплеуха чуть не обрушила его на пол.

— Сволочь! — сказав ему главковерх. — На кой черт тебя здесь посадили, если ты ни хрена не знаешь? Ренненкампа обязан двигаться к югу... к югу... к югу! Слышишь?..

Павел Карлович Ренненкампа, получив такой приказ, чуточку стронул кавалерию в сторону Алленштейна и вскоре задержал ее движение, что сразу же заметила с высоты небес германская авиаразведка. Между тем присутствие при штабе любвеобильной Марии Соррель становилось подозрительным, а на все доводы своего штаба Павел Карлович тут же приводил свои доводы:

— Если я стану гнать немчуру слишком напористо, она мигом окажется за Вислой и тогда Самсонов не успеет посадить их в «мешок». Жилинский не возражает режиму моих марш-маршей, а нам следует помнить и о блокаде Кенигсберга...

Солнце скрылось за лесом. День 13 (26) августа заканчивался. Именно в этот день французский посол в Петербурге Морис Палеолог услышал от русского министра Сазонова:

— Кажется, там все не так, как надо бы... Но мы не подведем нашу доблестную союзницу — Францию! В любом случае вы можете считать, что Париж нами уже спасен...

«Цо то бендзе? Цо то бендзе?» — Что-то будет?

2. ТАННЕНБЕРГ — БЫВШИЙ ГРЮНВАЛЬД

14 (27) августа... Еще темно. С опозданием на сутки, но ровно в четыре часа утра генерал Франсуа перешел в наступление. Все командование восьмой армии заранее собралось на высоком холме, откуда оно и посверкивало оптикою биноклей, стереотруб, линзами очков и моноклей. Против русского корпуса стояли два немецких, которым нечего было делать, ибо за них работала одна лишь тяжелая артиллерия.

На походном планшете была укреплена карта: где-то впереди лежал городишко Усдау, от него тянулись рельсы железной дороги, минуя деревушку Танненберг — место слишком памятное, где в 1410 году войска поляков, русских и литовцев учинили полный разгром Тевтонского ордена; битва исторического значения именовалась Грюнвальдской, именно тогда был надолго задержан германский «дранг нах остен».

Теперь Гинденбург, позевывая в белую нитяную перчатку, стоял на том самом месте, где истлели в прах кости его предков. Гоффман оставил трубку полевого телефона:

— Усдау взят... русские отошли!

Гинденбург величаво кивнул, а Людендорф плотоядно потер ладонь о ладонь. Сейчас там, где были русские траншеи, земля вставала дыбом, развороченными пластами она заживо погребала убитых и ране-

ных, даже без помощи оптики было видно, как между огненных гейзеров мечутся жалкие фигуры русских солдат, тут же разрываемых на куски новыми взрывами. В редких паузах между залпами орудий Франсуа еще кричал, что он был прав, перенеся атаку на сегодня:

— Сегодня все и решится... даже без штыков!

Солнце стояло уже высоко, приближаясь к полуденному зениту, когда немцам стало ясно, что сражение выиграно:

— Господа, не пора ли нам вернуться в Лобау?

Походный штаб Гинденбурга был раскинут в Лобау, где рестораторы держали готовый стол для обеда. Рассаживаясь по автомобилям, довольные генералы обсуждали начало дня:

— Может, вчера Франсуа и был прав в своем несправимом упрямстве. Русская оборона прорвана нами сегодня, словно жалкая промокательная бумага, и дорога на Нейденбург открыта...

Но обед был прерван сообщением с передовой:

— Корпус Франсуа бежит.

— Опять? — взревел Людендорф.

— Опять... на станции в Монтове его солдаты штурмуют вагоны поезда, чтобы удрать поскорее до Остеруде.

Стекло моногля выпало из глазницы Людендорфа и качалось поверх мундира, как маятник, задевая орден «Пур ле мерит». Мучительная тишина нависла над столом, как пороховой дым над развороченными траншеями русских. Людендорф спросил:

— Где вторая дивизия?

— Остановлена русскими возле Гросс-Таурзее.

— А где бригада генерала Мюльмана?

— Задержана к востоку от Хенрихсдорфа...

«Притвиц, Притвиц... неужели Притвиц был прав?»

Пожалуй, один только Гинденбург не терял хладнокровия, почти равнодушный, он продолжал насыщение желудка.

— С русскими всегда так, — ворчал он, тщательно пережевывая пищу. — За один день с ними никогда не справиться. Они умеют наступать даже в том случае, если им оторвать ноги. Но мы, слава всевышнему, уже вошли в Усдау, а потому...

— Усдау снова в русских руках, — сообщил Гоффман. — Сейчас на вокзале в Остеруде стоит под разгрузкой свежая дивизия ландвера, прибывшая из Шлезвига. Но я не вижу возможности передвигать резервы, ибо все дороги забиты стадами скота и фургонами с барахлом. Жители деревень бегут в сторону станций, и солдатам ландвера предстоит бодаться рогами касок с рогами быков и баранов.

— Не до юмора! — резко заявил Людендорф, поднимаясь из-за стола. — Но если мы сегодня останемся в дураках, истратив массу снарядов впустую, то генерал Самсонов будет глупее вас, не используя выгоды своего положения...

Самсонов не воспринял трагически удар немцев по его флангу возле Усдау, но и сам не заметил, что его медлительное тугодумие оказывает противнику «любезную услугу» (слова об услуге — из материалов рейхсархива). 13-й и 15-й корпуса Ключева и Мартоса

почти не встречали сопротивления. Поставский тоже не сразу сообразил, что немцы, открыв семафоры перед войсками Ключева и Мартоса, группируют силы по русским флангам, готовя корпусам Ключева и Мартоса хороший «мешок». Таким образом, мнимое улучшение на фронте грозило армии Самсонова ухудшением обстановки. С востока и запада фланги Второй армии оказывались обнаженными. Русских спасало пока лишь то, что немцы уже выдохлись, их пехота едва таскала ноги, давно не кормленная, как были не кормлены и сами русские...

— Резина, — сказал Самсонов, указывая на карту.

Да, фронт, словно резиновый, растягивался все шире, и на пространстве в 70 миль, не имея между собой связи, русские полки, бригады и дивизии перемещались не туда, куда следовало, а туда, куда их зачастую вела лишь интуиция офицеров. По этой причине русские, идя в атаку, кончали ее всеобщим хохотом, увидев, что атакуют своих. А вступая в деревню, где должны быть «свои», они погибали под огнем блиндированных автомобилей. Немцы гнали колонны пленных русских, которые нарывались на русских же, угонявших в тыл колонны немецких военнопленных. В этом всеобщем хаосе, крутившем жизнями трети миллиона человек, не могли разобраться ни Самсонов с Поставским, ни Гинденбург с Людендорфом.

Людендорф хотя бы четко знал, чего ему бояться. Попирая свое самолюбие, он повторял доводы Макса Гоффмана:

— Если генерал Ренненкаммп еще не выжил из ума и развернет свою армию к югу, чтобы поддержать Самсонова, тогда вся наша комбинация треснет, как паршивая бочка, а к древнему позору германцев при Грюнвальде добавится новый позор... скорее всего вот тут! При Сольдау...

Самсонов часто спрашивал у Поставского:

— А что Жилинский? Думают они там или нет?

— Боюсь, в Волковыске ничего не знают.

— А что Павел Карлыч? Он-то знает?

— Знает, что между нами всего сто миль...

Только к ночи до командования Северо-Западным фронтом дошло наконец, что там, в приграничных лесах и болотах Пруссии, завязывается узел, который пора распутывать. Жилинский диктовал Самсонову: «Отвести корпуса Второй армии на линию Ортельсбург — Млава, где и заняться устройством армии» (иначе говоря, привести ее, сильно потрепанную, в прежний божеский вид). Но этот приказ Жилинского до Самсонова не дошел. Одновременно из Волковыска отбили по телеграфу приказ для Ренненкаммпа, чтобы он продвинул к югу свои левые фланги, дабы прикрыть отход Самсонова за рубежи государственной границы...

Было уже темно, когда на лужайке возле Лобау, постреливая мотором, как пулеметом, сделал посадку разведочный «таубе». Людендорф с тревогой выслушал доклад пилота:

— Страшная пылица на дорогах, но я все-таки разглядел отряд русской кавалерии из армии Ренненкаммпа.

— Где вы его заметили?

— На бивуаке возле Растенбурга.

Людендорф вздохнул с явным облегчением:

— На бивуаке? Впрочем, Растенбург от нас далеко...

Растенбург ныне слишком памятен — «волчьим логовом» Гитлера!

15 (28) августа... Итак, приказа об отходе к рубежам Самсонов не получил, а Ключев и Мартос еще пробивали дорогу вперед своими корпусами. Постовскому сам бог велел указать Самсонову, чтобы отходил 13-й и 15-й корпуса обратно до Нейденбурга, но он этого не сделал. Бои становились ожесточеннее. Убитых даже не пересчитывали, а раненых оставляли умирать на поле брани... Между тем в упорных схватках немцы умело расчистили себе путь для охвата «головы» геройски сражавшихся корпусов.

Было еще раннее утро, когда Александр Васильевич стал жаловаться, что приближается приступ астмы:

— Душно... дышу, словно через тряпку. Плохо...

Он уложил в чемодан личные вещи, велел ординарцу отправить их жене, затем указал свернуть работу штаба и сразу разбирать радиостанцию Второй армии:

— Отправьте ее в Остроленку, но прежде отсутствуйте в Волковыск, что связи больше не будет. Я выезжаю на фронт, дабы разделить судьбу своих солдат... до конца! Душно...

На окраине Нейденбурга ему встретился майор Нокс, и Самсонов, уже сидя верхом на лошади, дружески сказал ему:

— Вам остался последний шанс. Удалитесь, пока есть время. Вы исполнили свой долг, теперь я прощаюсь с вами, чтобы исполнить свой... Военное счастье переменчиво!

Николай Николаевич Мартос руководил боем, уже не раз переходившим в рукопашные схватки, когда увидел Самсонова и весь его штаб верхом на лошадях — они спешили к нему. Подскакав ближе, Самсонов нагайкой указал вдаль:

— Что это за колонна... вон там? Немцы?

— Да. Пленные. Гоним в тыл, чтобы не мешали...

— Много набрали?

— Насчитали до тысячи, потом плюнули. Некогда...

Самсонов был отличным кавалеристом, но теперь, напуганная взрывами, лошадь под ним то давала «козла», то делала «свечку», вставая на дыбы, генерал с трудом удерживался в седле.

Он сказал Мартосу, что все надежды на его корпус:

— Вы один спасете честь армии...

Мартос думал о другом — о спасении людей:

— Я еще способен обрушить немцев, чтобы пробиться на север, выходя на соединение с войсками Ренненкампа.

В их разговор вмешался начштаба Постовский.

— Верю вам, — сказал он. — Вы обрушите. Вы

спасетесь. Но с какой совестью вы оставите на разгром корпус Ключева?

— Ваша правда, — горестно отозвался Мартос...

Наверное, в поступке Самсонова было немало гусарской бравады. Но, оторванный от связи с войсками, и без того разобщенными, он остался лишь генералом на передовой, а его армия лишилась всякого руководства. Не будь Самсонова с войсками, и войска сражались бы героически сами по себе. Одна из немецких дивизий буквально растаяла, как масло на солнцепеке, выстелив поле сражения трупами, другая была растрепана так, что откатилась на станцию — по вагонам... Самсонов, мучимый астмой, вел себя храбрее, но, кажется, и сам понимал, что трагедия его армии определена.

— Это... конец! — вдруг сказал он Мартосу...

Вечером генерал Франсуа, третируя приказы Людендорфа, самовольно отбросил русские войска и занял Нейденбург.

— Капкан с юга защелкнулся, — доложил он, — а Ключев с Мартосом уже отрезаны мною от выхода на границу...

Дабы усугубить положение русских, Франсуа развернул на марше дивизию на Ваплиц, чтобы она померилась силами с корпусом Ключева. Но вся дивизия Франсуа полегла замертво, оставив Ключеву 13 орудий и 2400 трупов. Советский историк А. К. Коленковский не скрывал своего восхищения: «Истомленные, полуголодные русские стояли непоколебимо, они победоносно атаковали...» Гинденбург в это время дремал в деревушке Танненберг, а Людендорф психовал, ругая Франсуа, который вел себя, словно киплинговская кошка, «которая гуляла сама по себе»:

— Вы здорово поможете русским, если и далее будете вытворять все, что взбредет в вашу дурацкую башку.

На эту отповедь по телефону Франсуа отвечал, что с детства рос непослушным ребенком. Близился вечер, и Людендорф с Гинденбургом, сострадая один другому, признали, что окружение Второй армии Самсонова им не удалось:

— Нам хотя бы разделаться с его центром, где застряли эти два проклятых русских корпуса...

Это понимал и Самсонов; он смотрел на заходящее солнце, почти не мигая, и, ослепленный, слушал доклад Мартоса:

— Офицеров выбили, солдаты наперечет... Решайтесь: или завтра всем здесь и умирать, или... Ключев уже отходит.

— Мы тоже, — ответил Самсонов.

— Куда?

— Домой... Где же Ренненкампф? Куда провалился?

Людендорф посылал в небо аэропланы разведки, мучимый тем же вопросом. Пилоты, вернувшись из полетов, отмечали в один голос «непостижимую неподвижность» Ренненкампа, которого вдруг (!) потянуло к западу, но только не в сторону юга, чтобы выручать армию Самсонова. Людендорф даже повеселел:

— Выходит, этот забуддыга Макс был прав, ког-

да говорил, что Ренненкампф не простит Самсонову оплеухи на вокзале в Мукдене. Оплеуха пришлось к стати!..

Ночь отведена полководцам для подведения итогов минувшего дня. Гинденбург согласился с Людендорфом, что мясорубка весь день работала великолепно, не зная перебоев, но Вторая армия все-таки не попала в немецкий «мешок». В ночь с 15 на 16 августа в Кобленц поступил доклад Гинденбурга, написанный под диктовку Людендорфа: «СРАЖЕНИЕ ВЫИГРАНО. Преследование будет продолжено. Окружение русских корпусов БОЛЬШЕ НЕ УДАСТСЯ».

Это было очень важное признание немцев...

16 (29) августа... Самые горестные страницы!

Все могло быть иначе. Под Варшавой как раз в эти дни бесцельно стояла мощная русская армия, нацеленная прямо на Берлин, которую можно было сразу развернуть в сторону Пруссии, но она не строилась с места. Жилинский, отослав накануне пригласить об отходе Второй армии, на том и успокоился, даже не проверив, дошел ли его приказ до генерала Самсонова. Слепо убежденный, что армия Самсонова уже на марше в сторону границы, Жилинский сам ускорил развязку трагедии, телеграфируя Ренненкампфу, что Вторая армия Самсонова отошла, а потому отпала необходимость спешить для ее прикрытия. По законам классической трагедии, когда уже ничего исправить нельзя, смерть главного героя становится обязательной...

Старинная немецкая поговорка гласила: «утренние часы с золотом во рту», и Людендорф с утра был на ногах, действуя с прежней оглядкой на север. Его страх можно понять.

— Заходя в тыл самсоновской армии, — говорил он, — мы невольно обнажаем тылы своей армии, подставляя их под удары армии Ренненкампфа... В такой ситуации совсем не надо быть Наполеоном, чтобы знать, как мы сегодня рискуем!

Но Ренненкампф, лучше Жилинского знавший обстановку на фронте, не пришел на помощь соседу, уподобясь тому мужику, который, глядя на пожар в деревне, говорит, почесываясь: «Моя хата с краю, я ничего не знаю...» В таких-то вот условиях Людендорф стал охватывать в кольцо 13-й и 15-й корпуса — весь центр самсоновской армии. В этом ему повезло.

— Kriegsglück (военное счастье)! — сказал он. — Теперь мне жаль Самсонова... противник, достойный уважения. Сразу доложите, если он окажется в числе наших пленных...

(В докладе правительственной комиссии, которая исследовала причины поражения Второй армии, было сказано, что в окружении русские солдаты «дрались героями, доблестно и стойко выдерживали огонь и натиск превосходящих сил противника и стали отходить лишь после полного истощения своих последних резервов... офицеры и нижние чины честно исполнили свой воинский долг до самого конца!».) Александр Васильевич Самсонов, задыхаясь от приступов

астмы, лично — с револьвером в руке — водил солдат в безумные атаки против немецких пулеметов.

— Зачем вам это? — не раз укорял его Постовский.

— Я должен умереть, — отвечал Самсонов.

— Подумайте о молодой жене. О своих детях!

— Жена найдет себе другого, как поется в песнях, а дети будут гордиться именем своего отца...

На перекрестках лесных просек немцы установили пулеметные кордоны, по дорогам курсировали их блиндированные автомобили. Железнодорожные бронеплатформы посылали в стан окруженных крупнокалиберные «чемоданы». Прусская полиция и местные жители, взяв на поводки доберманов-пинчеров, рыскали по лесам и болотам. Очевидец писал: «Добывание раненых, стрельба по нашим санитарам и полевым лазаретам стали обычным явлением». В загонах для скота держали толпы пленных, а раненым не меняли повязок. «Вообще, — вспоминал один солдат, — немцы с нами не церемонились, а старались избавиться сразу, добывая нашего брата прикладами». Один раненый офицер (позже бежавший из плена) писал: «Пруссаки обращались со мною столь бережно, что — не помню уж как — сломали мне здоровую ногу... они курили и рассуждали, что делать со мною. Один предлагал пристрелить «русскую собаку», другой — растоптать каблуками мою физиономию, а третий настаивал, чтобы повесили...»

Людендорф иногда сам допрашивал пленных:

— Где ваш генерал Самсонов?

Ошеломленные чистотой русского выговора, ему отвечали:

— Самсонов остался со своей армией.

— Но вашей армии более не существует.

— Как? Она ведь еще сражается...

Берлинские газеты откровенно писали: «Вся эта попытка (прорыва из окружения) являлась чистым безумием и в то же время геройским подвигом... русский солдат выдерживает потери и дерется даже тогда, когда смерть является для него неизбежной». Немцы методично прочесывали темень кустов разрывными пулями, они пронизывали лесной мрак лучами прожекторов. Рядом с генералом Мартосом пулеметная очередь разрезала пополам генерала Мочуговского, начальника его штаба. Адьютант на призывы Мартоса не откликался (а вместе с ним пропали все документы и компас). Мартос остался с двумя казаками, лошадей они вели в поводу. Прожектор высветил их, послышалась немецкая речь. Мартос вскочил на коня, но конь был сразу убит. Мартос упал, застрыв ногой в стремени...

Так он оказался в плену. С него сорвали именное «золотое оружие» и отвезли в штаб Восьмой армии. Людендорфу, замечу я, не хватило воинского благородства, и он, как последний хам, стал издеваться над пленным Мартосом:

— Вы считали версты до Берлина, но теперь мы станем считать мили до вашего Петербурга... Глупо! Неужели ваши головотяпы способны победить нас, лучшую в мире армию?

— Позвольте! — возмутился Мартос, — Сначала

в роли головотяпов были вы — немцы... Это я, а не вы, уставал пересчитывать трофейные пушки, это мы сбились со счета, пересчитывая ваших пленных. Наконец, вы раздавили меня не превосходством в полевой тактике, а только количеством... Так?

Людендорф недовольно фыркнул и вышел. Гинденбург хуже Людендорфа владел русским языком, но был вежливее.

— Вы должны успокоиться и поспать, — сказал он Мартосу, пожимая ему руку. — А мы вернем вам «золотое оружие» как достойному противнику, которому сегодня не повезло...

Оружия, конечно, не вернули. И даже не покормили. Благоднее всех оказался Макс Гоффман, который достал из сумки сверток с бутербродами и протянул его Мартосу:

— Поешьте... коллега. Забыл, как вас зовут?

— Николай Николаевич.

— Верно! Мы с вами уже встречались.

— Где? — удивился Мартос.

— Еще на полях Маньчжурии... помните? Я был приставлен к армии Куропаткина в роли военного наблюдателя...

Мартос, вестимо, не знал, что случилось с корпусом Ключева, куда подевался Самсонов и его штаб. Комусинский и Грюнфлисский леса стали безымянной братской могилой для остатков разбитой армии. Здесь, в непролазных болотных чащобах (если верить документам), попали в окружение около 30 тысяч человек, уже расстрелявших патроны, и около 200 оружий с прислугой, расстрелявшей снаряды. Сообща было решено пробиваться на родину группами — на штыках! Самсонов, страдая удушьем, все еще доказывал Постовскому, что ему позора не пережить.

— Прекратите! — раздраженно отвечал ему тот. — Не имеете права так думать. В конце-то концов, ваша совесть чиста...

— Где Ключев?

— Его левая колонна, говорят, полностью уничтожена, зато правая еще сражается, а среднюю он ведет сам.

— Мартос?

— Ходят слухи сомнительных очевидцев, будто его в куски разнесло снарядам, когда он садился в автомобиль.

— А где... я? — вдруг спросил Самсонов.

— Про вас говорят, что от вас ничего не осталось, ибо кто-то видел, как вы исчезли в облаке разрыва снаряда.

— Легкая смерть, — не сразу отозвался Самсонов. — Господи, смилуйся надо мною и пошли мне легкую смерть... и пусть от меня ничего не останется. Пусть!

Русская пресса оперативно известила публику о гибели генерала А. В. Самсонова: «Он умер совершенно одиноким, настолько одиноким, что о подробностях его последних минут никто ничего не знает». Подробности стали известны лишь в 1939 году, когда Генеральный штаб РККА опубликовал подробный отчет

Александра Ивановича Постовского о том, как все это случилось...

Случилось же так! В стороне от шоссе, огибающего деревню Виленберг, Самсонов и приставшие к нему люди переждали время, чтобы наступила полная темнота. При командующем армией оставались несколько офицеров и один солдат по фамилии Купчик.

Купчик все время подставлял Самсонову свое плечо:

— Опирайтесь на меня, я сильный... выдюжу! Лощадям не раз помогал гаубицы через болота тащить, так уж ваше-то превосходительство как-нибудь... за милую душу! Не стесняйтесь...

До государственной границы было примерно верст десять, и сознание, что родина близка, вселяло в людей чувство уверенности. О том, что немецкие заслоны уже стояли на рубежах, расстреливая всех выходящих из окружения, как-то не думалось. Ночь же была очень темная, даже звезды укрылись за тучами, а сверять путь по компасу не могли, ибо как назло у всех кончились спички. Правда, на руке подполковника Андогского еще чуть-чуть фосфоресцировала стрелка компаса, и потому он шел впереди. Люди двигались гуськом в затылок один другому, держась за руки или за хлястики шинелей, часто спотыкаясь о болотные корчаги и острые корневища деревьев.

Александр Васильевич Самсонов то и дело повторял:

— Мне бы лучше здесь и остаться... С какими глазами я вернусь, если меня спросят: куда делась моя армия?

— Тише, тише, — говорил ему Купчик, на которого Самсонов наваливался грузным телом. — Тут кругом «михели» и полно всяких собак, аль не слышите, как ихние псы заливаются?

Постовский писал, что Самсонов «не раз говорил мне, что его жизнь как деятеля кончена. Все мы следили за ним и не давали ему возможности отделить свою судьбу от нашей общей». В два часа ночи (уже наступили сутки 17 августа) был сделан короткий привал. Александр Васильевич малость отлежался, потом тронулись дальше. Самсонова, чтобы он не потерялся во мраке, нарочно ставили в середине цепочки. Время от времени эта цепочка людей размыкалась, когда возникали споры из-за того, верно ли их направление. «Тут же происходила перекличка, — писал Постовский. — На одной из ближайших таких остановок было замечено отсутствие командующего армией».

— Александр Василыч! — тихо окликнули лес.

Но Грюнфлисский лес враждебно молчал.

— Вернемся, — решил Постовский.

Все повернули назад, окликал Самсонова, наконец Андогский вынул из портупеи офицерский свисток и свистнул — как бы означая призыв к атаке... В этот же момент где-то в глубине леса не грянул, а лишь слабо хлопнул выстрел.

Постовский все понял и сразу обнажил голову.

— Господа, — сказал он, — тело командующего армией, как и знамя армии, нельзя оставлять врагам. Будем искать...

Но поиски в ночном лесу оказались напрасными, хотя искали Самсонова до рассвета, пока окруженцев не стали обстреливать из пулеметов немецких автомобилей, разъезжавших по шоссе. Случайно им встретился лесничий — поляк из местных жителей, который указал тропинку, ведущую к деревне Монтвиц:

— Там уже ваши казаки... бегите скорее!

Самсонов покончил с собой возле молочной фермы Каролиненгоф в окрестностях Виленберга. Впоследствии обнаруженный немцами, он был там же и погребен в неглубокой яме — как неизвестный солдат. С него сняли генеральские сапоги и наручные часы, но — к счастью — мародеры не заметили золотого медальона, в котором он хранил фотографии своих детей.

...В самой первой советской книге, посвященной гибели самсоновской армии, было сказано почти вдохновенно: «Над трупом погибшего солдата принято молчать — таково требование этики воинской чести, никто не может утверждать, что генерал Самсонов этой чести не заслужил...»

3. ОТ ГИНДЕНБУРГА ДО ГИТЛЕРА

После революции, когда наша страна шаталась от голода и разрухи, бывшие союзники-французы требовали, чтобы Россия вернула им старые (еще царские) долги. Тогда же у нас вышла книга под характерным названием «Кто должник?», в которой спрашивалось: кто кому должен, русские вам или, наоборот, вы, друзья, должны русским?

Россия пожертвовала целой армией, чтобы спасти Париж, и тысячи людских жертв, принесенных во имя исполнения союзнического долга, никак нельзя окупить золотом. «Спасибо» от французов мы до сих пор не услышали, зато в Париже шумно праздновали «чудо на Марне», и когда маркиз де ла Гиш высказал Сазонову глубокое сочувствие по случаю разгрома самсоновской армии, министр мрачно ответил:

— Наши жертвы — ваши победы...

Франция о наших жертвах забыла. Но, к сожалению, у нас тоже забыли, что было брошено на весы беспристрастной истории, почему планы Шлифена были скомканы и разорваны еще тогда — в топях Мазурских болот... Схема исторической правды всегда требует от нас внимания и справедливости!

А теперь спросим себя: что же случилось?

Ведь, по сути дела, ничего страшного не произошло, разгром армии Самсонова не стоил тех торжествующих воплей, которые издавала кайзеровская военщина, ибо наше поражение — на общем фоне войны — выглядело лишь эпизодом. Известие о нашей беде не вызвало в русском народе трагедийных эмоций. Как раз тогда, когда немцы окружали самсоновскую армию, вся Россия бурно переживала разгром генералом А. А. Брусиловым всей австрийской армии, которая с первых же дней войны оказалась полностью обескровлена и сдавалась в плен целыми дивизиями.

Недаром же Франц Конрад фон Гетцендорф, на-

чальник австрийского генштаба, открыто утверждал, что Германия *предала* Австрию ради своих иллюзорных успехов в лесах Восточной Пруссии. «Они (немцы), — писал он, — забыли о нас и полезли защищать конские заводы Тракенена и охотничьи угодья в Роминтене, где кайзер так любил охотиться на оленей заодно с известным русским предателем полковником Мясоедовым...»

А что же немцы? Германия восприняла известие о победе «почти с ужасом», впад в полушоковое состояние, ибо немцы были уверены в непобедимости русских. Германская пропаганда сразу расшумелась о «триумфе при Танненберге», хотя географически деревня Танненберг была притянута за уши; но сражение 1914 года рисовалось теперь как историческая расплата за позор 1410 года, ибо поражение Тевтонского ордена при Грюнвальде случилось именно близ Танненберга.

Это еще не все. Берлинские газеты кричали, что одних пленных взято более девяноста тысяч... Наглое вранье, ибо в армии Самсонова никогда не числилось столько людей. В плен к немцам попали едва тридцать тысяч, еще двадцать тысяч штыками пробившись из окружения, остальные пали в боях или просто остались умирать, брошенные на поле боя... Такова истина!

Почти сразу начал складываться глупейший миф о доблестях Гинденбурга, спасителя Германии, сумевшего остановить «русский паровой каток» на подступах к Висле...

Все немецкие города сотрясал звон церковных колоколов, из окон квартир обыватели вывешивали трехцветные флаги империи, в гимназиях лопухие школяры писали сочинения на тему «Наш добрый и любимый Гинденбург», а лучшие сочинения сразу отсылали в подарок Гинденбургу. Все поэты ринулись слагать хвалебные гимны в честь Гинденбурга, все города Германии торопились сделать Гинденбурга своим «почетным гражданином»; корабли флота и даже рыбацкие шаланды срочно переименовывались в «Гинденбургов»... Может, хватит?

Стоит ли удивляться? В истории немало примеров, когда посредственность венчается лаврами, ибо — на фоне всеобщего безголося — воробьи всегда с успехом заменяют соловьев. Бывало не раз, что никому не известные генералишки, вознесенные к высотам власти, становились «гениальными полководцами всех времен и народов», без стыда и совести обвешивая себя гирляндами орденов, на которые не имели никакого права. Гинденбург очень быстро освоился с ролью идола нации, и он даже обижался, если на вокзалах его не встречали с оркестром:

— Трудно им, что ли, подуть в трубы или постучать в барабаны? Могли бы и флаги вывесить на перроне...

Скоро вся Германия покрылась памятниками Гинденбургу...

Разоблачая миф о «чудо-генерале», советские историки пишут, что «военная биография Гинденбурга

не дает никаких материалов для объяснения того высокого авторитета, каким он пользовался». Это, кстати, отлично понимал и Людендорф, который никак не разделял всеобщих восторгов.

— Я, — говорил он с явной обидой, — подобрал этого завалающего барсука из отставки, словно бесхозный багаж, оставленный кем-то на пустынном перроне Ганновера...

Возникла какая-то историческая нелепость: Гинденбург похитил славу победителя у Людендорфа, хотя Людендорф присвоил себе ту славу, которая должна бы принадлежать Максусу Гоффману, — получалось как в анекдоте: вор у вора украл. Людендорфа мы знаем как автора мемуаров, в которых досталось и Гинденбургу и тому же Максусу Гоффману, которых он низвел до уровня жалких исполнителей его приказов. (В скобках замечу, что Гинденбург не был способен писать, за него сочинял мемуары некий Мерц фон Квирингейм, а Гинденбург их только читал сам или давал читать другим.) В 1925 году, когда Германия буквально корчилась в судорогах голода и инфляции, Гинденбург стал президентом страны, возрождая ее военный потенциал, чтобы «переиграть» войну заново. Лично он сделал все, чтобы фашизировать голодную и обнищавшую Германию...

Людендорф стал близким приятелем Гитлера, посвятив ему всю свою жизнь. В январе 1933 года Гинденбург вручил власть над страной Гитлеру, а сам вскоре умер. Благодарный ему, фюрер устроил фельд-маршалу торжественные похороны в Танненберге, а мавзолеей над его могилой получил официальное название «Имперского почетного мемориала».

Вы думаете, что это конец? Как бы не так!

О конце Гинденбурга читайте в постскрипуме этой главы, а сейчас мы вернем право голоса нашему главному герою...

4. «СОЛОВЕЙ, СОЛОВЕЙ, ПТА-АШЕЧКА...»

Если человек попал в плен, не будучи ранен и при оружии, он всегда желает найти для себя оправдание, а мне оправдываться даже не хочется. Лучше я расскажу все, как было, а вы уж сами, пожалуйста, рассудите — прав я или виноват...

Самсонов словно предвидел, что меня ждет, и хорошо, что я внял его совету, переодевшись в солдатскую гимнастерку. От офицера у меня остались лишь наручные часы-компас и бельгийский браунинг, а в кармане штанов, мешая бегать, болтался тяжеленный револьвер марки «диктатор». Я был пленен 5 сентября, когда нашей армии уже не стало, остатки ее разбрелись по лесам, пробиваясь к русской границе. Кажется, я перехитрил сам себя. Меня подвела теория «желтого листа в осеннем лесу».

Когда все окруженцы — кто как мог — прорывались на юг, черт меня дернул подумать, что я буду умнее других, если стану двигаться на север, где я рассчитывал встретить передовые разезды армии Ренненкампа. Благополучно минуя вражеские патрули между озером Спирдинг и городом Йоганнесбург, я выбрался в знакомые места, памятные мне по службе на границе, и решил выйти сразу на Граево...

Вот тут я и попался! Почти на «пороге» своего дома.

На рассвете, когда я отдыхал в лесу, меня разбудил лай собак, громкий смех женщин и мужские голоса. Между редких стволов сосен я разглядел солдат местного ландвера. Каждый из них вел под ручку свою деревянную пассиву (очевидно, немцы возвращались после вечеринки). Я быстро рванулся в сторону, но собаки уже кинулись ко мне. Привлеченные их неистовым лаем, бежали на меня и солдаты, на ходу срывая с плеч карабины. Отбиваясь от собак, я лихорадочно соображал: как быть? Отстреливаться бесполезно, ибо на каждый мой выстрел немцы ответят пачками выстрелов, и потому я разбросал по кустам свой браунинг и «диктатор», избавился от офицерского свистка и часов-компаса. Удары прикладов тут же свалили меня на землю...

Я заговорил по-немецки:

— Перестаньте! Я ведь ваш военнопленный...

— О! — разом восхитились пруссаки. — Ты, приятель, наверное, из офицеров, если знаешь наш язык?

— Я... русский, — был мой ответ, — но я уроженец Саратова, где полно немцев и даже вывески магазинов на русском и немецком языках. А сам я служил приказчиком у бакалейщика Шейдемана, почему и владею немецкой речью, как и своей...

Так просто и обыденно я угодил в плен. Читатель, наверное, сочтет, что я поступил не слишком геройски, а вот он, оказавшись на моем месте, принял бы неравный бой... Возможно! Но судить о моем поведении читатель может лишь в том случае, если он сам оказался бы в подобной ситуации...

— Ну, веди меня... Тебе сегодня здорово повезло!

Что бы там ни говорили, а плен есть плен, и он всегда ставит человека в постыдное, унижительное положение. Покорившись судьбе, я давал себе точный отчет в том, что мне, как начальнику разведотдела при штабе армии Самсонова, никак нельзя «раскрывать себя», а потому я сразу решил слиться с толпой рядовых, заранее отрешившись от всех привилегий, положенных военнопленному офицеру...

Всех нас, отмеченных злобным роком, немцы собрали на окраине Алленштейна; близ товарной станции был устроен загон — как для скота, опутанный колючей проволокой.

Однажды ко мне подсел на корточках пожилой вахмистр кавалерии Епимах Годючий, уроженец Мелитопольщины, сильно тосковавший по молодой жене и своим малым деточкам.

— Ты, кажись, судя по морде, из тилигентов будешь, — сказал он. — Коли образованный, так сообщай, как бежать-то?

— Из Пруссии не удастся, — отвечал я. — Давай побережем нервы, пока не привезут в Германию... там и подумаем.

Епимах Годючий, мужик здоровый, уже был у меня на примете. Он умел объясняться на немецком языке, ибо до призыва в кавалерию батрачил на хуторах у наших немецких колонистов,

— Ребятишек у меня двое, — часто горевал он, — кто приголубит их, сиротиночек? А жена така гулёна красивая, уж така стерва ладная, без меня вконец испакостится... Бежим, друг.

— Терпи, Епимах, — успокаивал я его...

Физических страданий я не испытывал, хотя кормили нас грязной баландой из картофельных очистков, немцы щедро высыпали перед нами целые бурты турнепса, которым потчевали своих тучных свиней. Мы ели! Перевозить нас в Германию не торопились, ожидая, пока в лесах не выловят нашего брата побольше. Мы лежали вповалку под открытым небом, днем нас палило солнце, поливали дожди, и по ночам, испытывая холод, пленные сползались, как черви, в неряшливые клубки, начинались стоны, бормотания, плачи, выкрики, призывы...

Наконец в лагере Алленштейна собралось столь много военнопленных, что мы не знали, где прилечь, где присесть, а чаще стояли толпой, как пассажиры в переполненном трамвае. Лишь тогда немцы подогнали к станции длинный товарный состав для перевозки скота, безжалостно распахали нас по вагонам. Конвоиров было мало, нам даже позволили настезь распахнуть двери теплушек. Мы поехали, и, помню, молодой белобрысый парень, свесив ноги из дверей вагона, надрывал душу в истошном и дурацком пении.

Епимах не отлипал от меня, настойчиво уговаривая:

— Бежим, прыгнем... гляди, и двери открытые.

— Терпи, — сдерживал я его. — Двери-то, правда, открытые, а вдоль насыпи бродят дозорные. Прыгни под насыпь, так после тебя, отец семейства, и могилки не останутся.

Когда состав отгрохотал по мостам через Вислу, двери закрыли, и мы ехали неведь куда, глядя через крохотное окошко на тот ухоженный мир, что зовется Германией. Наконец поезд остановился, я прочел название станции: Гальбе.

— Это где же мы? — спросил Епимах Годючий.

— Недалеко от Берлина, так что не унывай...

Нас загнали за колючую проволоку лагеря Гальбе, где были отстроены длинные бараки без отопления и освещения; недалеко находился лагерь Кроссен — для русских офицеров, которых содержали вместе с рядовыми французами и англичанами; оттуда вечерами лился электрический свет, дымились печные трубы.

Епимах Годючий чуть не отвалузил меня:

— Тилигент проклятый! Сказывал же я тебе, что бежать надо было еще в Пруссии, а теперь завезли... на погильель!

— Будь умнее, — убеждал я вахмистра. — Еще повидаетшь свою задрыгу, еще не раз надаешь ей по шее, чтобы себя не забывала. А сейчас — терпи... Главное — выжить.

— Попробуй, выживи! На германской-то помойной яме даже ворона с голоду околет. Сдохнем и мы...

Пленные наладили в бараке печурку, грелисьazole по очереди, жадно улавливая ладонями слабое тепло. С ужасом я заметил на себе вшей. Впрочем, и все пленные давно чесались. Ни один ученый не мог объяснить мне, отчего на человеке, даже очень чисто-

плотном, вдруг появляются вши. Думаю, эти твари — вечные и неразлучные спутники народных бедствий, которые только и ждут, когда грянет война или случится голод. Между тем близилась зима, и однажды, оглядевшись вокруг, я увидел, что вместо прежних людей меня окружают не люди, а какие-то призраки, обвешанные лохмотьями, кишащими паразитами. Теперь я сам пожалел, что ранее не послушался вахмистра, ибо стал понимать, что нас ждет... Я предупредил Епимаха Годючего:

— Бей их, проклятых! Сам знаешь, где зашевелилась вошь, там в скором времени явится тиф...

Комендантом лагеря в Гальбе был офицер запаса, бывший агент компании «Зингер» по распродаже швейных машинок, весьма популярный среди женщин разных сословий. Он долго мотался по градам и весям России, хорошо знал русскую жизнь, но особенно любил русские народные песни. По этой причине все мы, маршируя даже в направлении отхожего места, обязаны были улаживать его слух своими песнями. Я никогда не пел, ибо не считал себя обладающим вокальными способностями, как другие счастливики. Комендант заметил мое молчание и огрел меня палкой:

— Запевай, русская скотина, или сгною в карцере...

Мне, солдату, пришлось исполнить персонально для него:

Соловей, соловей,
пта-ашечка-а-а,
канаре-ечка
жалобно поет...

Однажды комендант объявил, что нам, дуракам, желает нанести визит важная дама, приехавшая из России — как уполномоченная международного Красного Креста. Когда она появилась в нашем бараке, я сразу узнал ее — это была Екатерина Александровна, вдова генерала Самсонова, который показывал мне ее фотографию (память на лица у меня превосходная).

Самсонова в белом обличье сестры милосердия была принята немцами очень хорошо, но, кажется, ее мало волновали наши клопы и вши, она приехала искать среди пленных людей, знавших место гибели ее мужа... Я, подумав, рискнул.

— Екатерина Александровна, — назвал я ее по имени-отчеству, тем самым давая понять, что Самсонова я знал лично, — ваш супруг остался возле фермы Каролиненгоф вблизи Виленберга.

— Почему вы так уверены в этом? — удивилась она.

— Мне так говорили, — уклончиво ответил я.

— Могу ли я опознать его?

— Да. Если его не обчистили местные мародеры, то на груди должен сохраниться золотой медальон с фотографиями ваших детей, сына и дочери. Извините, мадам, но более того, что мною сказано, я сообщить вам ничего не могу...

(Вдова отыскала мужа именно по этому медальону; с помощью немецких властей прах Самсонова был переправлен через линию фронта в Россию, и наш генерал успокоился на семейном кладбище в селе Его-

ровка Херсонской губернии.) Но визит «знатной дамы» в Гальбе завершился скандалом. Когда мадам Самсонова стала вручать пленным крестики и молитвенники, привезенные в дар от самого царя, Епимах Годючий страшно обозлился:

— Да у меня свой крест имеется! Ты бы, барыня, коли с царем чай пьешь, привезла нам утешение, а не крестики. Докель мы тут в холодрыге да голодухе загибаться будем?

— Уповайте на скорую победу, и свободу обрящете...

Лучше б она этих слов не произносила. Какой-то захудалый стрелок, взятый в армию из студентов, выпалил прямо в лицо Самсоновой — так, словно всадил в нее заряд дробы, перемешанный с солью:

— Передайте царю, что, когда тысячи таких, как мы, вернемся на родину, царь увидит в нас тысячи революционеров, которые не простят ему ничего... Мы еще расквитаемся!

Нет, не германская пропаганда — сами пленные своим умом доходили до мыслей, до которых ранее они не додумались.

5. ДВА ШАГА ВПЕРЕД

Конечно, после крематориев Майдаанека и Освенцима, концлагерей уничтожения Маутхаузена или Трешлинка жалкое прозябание в немецком плену при кайзере можно считать райским блаженством. Но тогда (в четырнадцатом!) нам, угодившим в плен, казалось, что мы попали в сущий ад. Мне, в отличие от других, было еще намного легче, ибо подобное скотское состояние я еще смолоду познал на себе, испытав все прелести английского концлагеря, созданного для африканских буров. Но каково было другим? Правда, осенью между Россией и Германией состоялся обоюдный обмен пленными калеками, нуждающимися в серьезном лечении, однако у меня руки-ноги были на месте...

— Когда же? — мытарил меня Годючий. — Спасу не стало, конец терпению приходит. Лучше б мне ногу оторвало! Согласен калекой на родине быть, нежели здоровым в плену...

В углу барака с утра кипел, отвратно булькая, громадный чан, в нем варился суп из маиса, перетертого пополам с гнилою картошкой, — бурда бурдюю, но выбирать по карточке меню нам не приходилось: ели что дают! По воскресеньям каждому давали по три вареные картофелины. Распределением их ведали немецкие унтер-офицеры, они же прекращали скандалы и драки, ибо для голодных людей всегда коварен вопрос: кому больше, а кому меньше досталось? Мы дрожали в своих бараках, и не только от холода, но даже от мерзости унижения, в котором приходилось жить и страдать нам, великороссам...

Наши соседи из Кроссена нужды не ведали, немецкой бурды не ели. Русские пленные с ведерками и мисками слонялись возле бараков пленных союзников, вымывая остатки супа, за что и были обязаны перемыть грязную посуду, а заодно уж почистить обувь своих собратьев по оружию. Разве не позор? Но мне

приходилось наблюдать и другое. Русский человек вообще чертовски сообразителен, по природе он большой выдумщик. Пока не пришла нужда, он плевать хотел на свои таланты. А теперь у него все шло в дело! Увидит наш Ванька калабашку, вырежет из нее фигурку бабы с коромыслом на плече. Найдет проволоку, и тут же скрутит ее в оригинальную подставку для горячего утюга. Из любой дранины мастерили коврики, кромсали свои сапоги, делая из голенищ красивые кошельки.

Все поделки наши мастера торговали немцам, но пфеннигов с них не брали, а просили хлеба... только хлеба!

Я даже близко не подходил к воротам Кроссена, боясь нарваться на кого-либо из пленных русских офицеров, способных узнать меня. Затаись. Терпи. Помалкивай. Выжди. Победим...

Если раньше немцы придерживались соблюдения Гаагских конвенций, то к концу 1914 года они ожесточились сами и ожесточили свое отношение к пленным. Германия уже осознала, что Вильгельм II попросту трепался, обещая, что его солдаты вернутся по домам к «осеннему листопаду», война «четырёх-Ф» (освежающая, благочестивая, веселая, вольная) превратилась в затяжную бойню, из которой Германия теперь сама не знала как выбраться. Сами голодные, немцы и нас морили голодом. Начались издевательства, побои и даже... даже пытки! В лагерях Гальбе и Кроссен разом умерло более полутора тысяч пленных. Голод, грязь и антисанитария вызвали эпидемию тифа, вот он и косил людей, как траву, а клопы вступили в боевой альянс со вшами, подвергая нас изуверским истязаниям.

В соседнем Кроссене англичане и французы имели право на переписку с родными, их правительства заваливали пленных посылками с калорийной пищей, слали теплую одежду и новую обувь. Наконец, немцы не лупцевали их — все беды обрушивались именно на нас, на русских, а из Петербурга мы крошки хлеба не видели, крестики да иконки, что привезла от царя Е. А. Самсонова, — вот и вся «помощь» благодарного отечества. Скоро немецкий комендант, любитель русских песен, запретил нам собираться группами, а беседовать меж собою мы должны были очень тихо, почти шепотом. Зато, маршируя до нужника, распевать мы были обязаны как можно громче: «Дуня, Дуня, Дуня я, Дуня ягодка моя...» В бараках слышались возмущенные голоса:

— Всех их в такую-то патоку с медом! Вот распишывали у нас в газетах, будто кайзер да наш Николашка друзья такие, что их, как собак, водою не разольешь. Если они, шкуродеры, меж собой разлаялись, так пушай бы на кулаках дрались, а мы-то за што страдать должны? Шоб она горела, эфта политика. Нам с ихней политики, окромя вшей, никаких прибитков...

Наказания сделались изощреннее. Военнопленных подвешивали на столбе, так что они едва могли касаться земли пальцами ног, и эту пытку люди выдерживали не долее двух часов, потом начинали орать. Епи-

мах Годючий — на удивление палачам — повисел в таком положении с утра до вечера. Но сознания не потерял, а в барак он приполз на четвереньках.

Я помог ему взгромоздиться на нары и шепнул:

— Долго не протянем. Надо выкручиваться.

— Может, пожар устроить? Спалить все к чертям собачьим.

— Это не выход. Сейчас хоть крыша над головой.

— Поесть бы, — зябко поежился вахмистр.

— А где я тебе возьму? Лежи...

Поначалу немцы не принуждали нас к труду на благо своего «рейха». Но острая нехватка рабочей силы, пропадавшей в окопах, заставила их обратиться к нашей помощи. Принуждения, впрочем, не было. На работы вне лагеря брали лишь тех, кто добровольно желал корчевать пни в лесах, мостить дороги или обслуживать коровники на фермах помещиков. Совсем неожиданно комендант лагеря объявил, что требуются чернорабочие в отъезд, но с обязательным знанием немецкого языка.

— Таковым будет выдано чистое белье, оденем в приличные костюмы, купим билеты на поезд, а за труд станете получать деньги... Кто согласен — два шага вперед!

— А где предстоит работать? — спросил я.

— На заводах в Эссене...

Люди молчали. Одни не владели немецким языком, другие не верили соблазнам коменданта, третьи — из патриотических убеждений — не желали, чтобы их труд использовали враги.

— Ну, Епимах, — сказал я, — два шага вперед... марш!

Таких, как я с вахмистром кавалерии, набралось по лагерям немало, и всех нас, плохо или хорошо владевших немецким языком, рассадили по вагонам поезда, идущего на Дюссельдорф. К нам приставили только одного конвоира, который почему-то любил убеждать остальных пассажиров поезда:

— Вы не пугайтесь! Я сам сначала боялся. Но это не преступники, а русские пленные, которых надо занять полезной работой, чтобы не поедали наш хлеб даром...

Немцы сдержали свое слово, и при отправке из Гальбе мы с Епимахом были одеты вполне прилично, ничем не отличаясь от сезонных рабочих. На путевые расходы нам выдали по десять марок, которые мы сразу отдали нашему оболтусу-конвоиру, чтобы не запугивал немецких пассажиров своими комментариями относительно наших персон. Поезд шел на запад, чтобы в районе Эссена вышвырнуть пленных на прожор того чудовищного молоха, который зовется «империей Круппа».

Говоря откровенно, у меня еще не было никаких планов. Но в дороге вспомнилось Училище Правоведения, общение в участках полиции с уголовными типами; теперь их давние практические уроки пошли мне на пользу. Ни пассажиры поезда, ни даже сам конвоир ничего криминального не заметили, зато у нас с Епимахом завелись лишние деньжата, которых вполне хватало, чтобы задабривать нашего цербера выпивкой.

Потом я обзавелся ручкой для открывания дверей, дабы, минуя услуги проводников, самому переходить из вагона в вагон — вдоль всего состава.

— Чего шукаешь? — обеспокоился Епимах.

— Привычка такая, — неопределенно отвечал я...

Чем ближе подходил поезд к Дюссельдорфу, тем более сторонился меня мой бравый вахмистр, отец семейства и прочее. Кажется, он решил, что я совсем не тот, за кого себя выдавал в Гальбе, и он не понимал, откуда у меня лишние деньги, к чему обзавелся я стандартной ручкой для открывания дверей.

— Послушай, ты не из этих? — спросил он меня ночью.

— Из этих, — не отрицал я. — Ты вот считал меня «тилигентом», а теперь скажу тебе сухую правду, только не удивляйся. Нет, я не карманник — бери выше. Такие дела проворачивал, что если будешь дергать язык за зубами, так мы не пропадем.

— Христос с тобой! — испугался Епимах. — Вот уж не думал, что с ворами в компанию угожу. Одно дело в России, тамотко побьют и отпустят на покаяние, а здесь, в чужих краях, мне сразу шулята отрежут... Ты уж, милоч, меня не подведи. Коли своруешь что, сам и слопай, а меня не угощай — не надо! Я, видит бог, отродясь в жизни ничего ворованного не едал...

Средь ночи паровоз истошно взревел, в окнах вагонов проступило страшное багровое зарево. Все всполошились:

— Пожар! Никак горит вся Германия, туды-т ее...

— Нет, дорогие россияне, это мы горим... Р у р!

Смятение моих коллег по несчастью легко понять: такого они не видели и видеть, наверное, не желали. Наша милая русская провинция еще наслаждалась ароматами старого «вишневого сада», а Германия давно утопала в производственной копоти, и величественная панорама Рура — даже мне! — показалась в эти моменты грозным видением торжествующего апокалипсиса.

Почти сразу за Дюссельдорфом, повернув на север, поезд долго-долго проезжал через монолитный город-завод (или завод-город), и русским было в диковинку, где же начало этому городу, а где этот исполин закончится. Наш поезд словно попал в самый центр ада: громадные окна железопрокатных и сталелитейных цехов полыхали уродливым пламенем, в ярком дыму металась тень людей-дьяволов, и даже грохот колес состава не мог заглушить работы крупновского чудовища, которое денно и ночью перекачивало что-то громоздко-железное, раскаленно-удушающее. Вровень с нашим поездом неслись груженные углем платформы, под насыпью мчались ярко освещенные трамваи, бибикили автофургоны, дребезжащие перевозимым металлом, и все это — в дымном едком чаду, в гуще которого тащились толпы людей, отработавших смену, а навстречу им двигались колонны других, чтобы заступить им на смену...

Один пленный смотрел, смотрел на все это и сказал:

— Не дай-то бог, ежели и на Руси такое станется...

Наконец поезд замер под сводами обширного вокзала.

— Эссен! — объявил наш конвоир и, чтобы показать свою власть над нами, загнал в карабин свежую обойму. — Эссен — это Крупп, а Крупп — это Эссен... Пропустите пассажиров, а потом всем выйти и строиться на перроне. Мы приехали!

Когда нас погнали на окраину города, чтобы разместить в бараке для наемных чернорабочих, Епимах решил:

— Ну, воруяга, бежим, покедова не поздно.

— А куда бежать? Ты знаешь?

— Вестимо куда — домой.

— Ошибаешься. Сначала — в Голландию.

— Эх, пропаду я с тобой, — отчаялся бедный вахмистр.

А я и сам пребывал в подлейшем отчаянии...

Над городом-монстром Эссенем, столицей Рура, возвышалась райская вилла «Хюгель», отстроенная Круппами на доходы от пушечных залпов, слышимых во всех уголках нашего мира. Рур всегда нуждался в дешевой рабочей силе, и мы, русские военнопленные, загнанные в барак, совершенно растворились во множестве наемных рабов; на Круппа трудились поляки, венгры, итальянцы, словенцы, галицийские русины, закарпатские украинцы, чехи, словаки и даже китайцы, взявшиеся бог весть откуда.

6. МЕЖДУ КРУППОМ И КАЙЗЕРОМ

«Василий Федорович», как называли русские германского императора Вилгельма II (сына Фридриха), не раз говорил: «Когда случится война, я не буду знать никаких партий, только единую германскую нацию, покорную моей железной воле, а там, где наступает моя гвардия, там нет места для демократии!»

Конечно, за время агентурной работы в Германии мне было не до того, чтобы вникать в партийные программы немецких социалистов. Я знал, что облик русских социал-демократов житейски прост, отсидка в тюрьме или ссылка в Якутию была для них вроде «ордена», русские революционеры не страшились жертвовать собою ради того «светлого будущего», как они вообще понимали любое будущее... Немецкую социал-демократию я узрел в иной ипостаси. Помню, как «вожди» социализма, при котелках и смокингах, чем-то похожие на откормленных нуворишей, важно расселись в парадных экипажах и, приветствуемые толпой и полицейскими покатали ко дворцу императора, дабы принести ему самые пылкие поздравления по случаю дня его ангела. Никто не хватал этих «революционеров» за шкуру, никакая «Якутка» им не грозила, но, если бы наш питерский рабочий увидел своих «вождей» с цилиндрами на головах, едущими на поклон к царю, он бы верно решил:

— Во, шкуры продажны! Зажрались, сволочи...

Мне, далекому от политики, признаюсь, всегда было неловко видеть немецких радикалов, когда заставлял их вполне легальные сборища в ресторанах, Господа с

сонными лицами, развалиясь на стульях, открыто пережевывали свои партийные «тезисы» одновременно с жареными сосисками, а их пламенный радикализм тут же заливался кружками холодного пива. Думается, кайзер был прав, говоря, что во время войны у него не будет партий, и он не ошибся, ибо его социал-демократы дружно голосовали в рейхстаге за войну с Россией, после чего надо было кричать «Ура императору!». Но император, уважая своих социалистов, позволил им расширить свои права, и вожди германского пролетариата кричали: «Ура императору, народу и родине!..»

Мне — уже после революции — довелось читать дневник А. М. Коллонтай, которую начало войны застало в Берлине. Так вот, одна берлинская социал-демократка не подала ей руки:

— Вы мне теперь не товарищ — вы русская! А для нас, для немцев, сначала родина, а потом уж и партия. Теперь-то ясно, сколько зла наделали мы своей демагогией о всемирном братстве трудящихся всего мира... Нет уж! С этим уже покончено...

Волей-неволей, и не хочешь, да задумаешься.

Барак пробуждался в шесть часов утра, и к столу, где каждый получал две остывшие картофелины с кружкой кофейного брандахлыста, подавали свежий номер рабочей газеты «Форвертс», призывавшей пролетариат всего мира сплотиться под знаменами кайзера, дабы противостоять «темным и диким силам Востока». Прихлебывая квазикофейное пойло, я читал своим русским газету, тут же с листа переводя на русский язык, чтобы мои товарищи не мучились в познании немецкого стиля:

— «Марксисты много лет долбили нам в головы, что отечество лишь воображаемое понятие, а теперь мы видим, что нас обманывали. И мы, немецкие рабочие, не позволим, чтобы армия русского царя угрожала передовому пролетариату Германии созидать новое счастливое общество! Мы охотно идем на войну с русским царизмом, чтобы помочь тем самым русским братьям по классу...» Ну, что, ребята, скажете? — спрашивал я, складывая газету.

— Все это хреновина, — отвечал ирачный Епимах...

Сначала нас, пленных, использовали на разгрузке открытых платформ с углем, который за время пути смерзался в прочную массу, и мы разламывали ее ломами. Платили ничтожно мало, но охотникам до сидения в пивных хватало, чтобы вечером дремать над кружкой пива. Кормили же архибезобразно. Утром картошка «в мундире», запиваемая жидким отваром цикория, в обед вареный картофель с маргарином, а вечером опять картошка, но уже безо всякого намека на присутствие маргарина...

Епимах упрекал меня, что я откладываю время побегов:

— Ведь ноги протянем у эвтого Круппа...

— Не канючь, — отвечал я. — Мне лучше известно, когда и где можно бежать, а где лучше сидеть на месте. Прежде надо освоиться, чтобы потом в «полицей-ревире» нам все зубы не выбили. Моя задача, Епим

мах: доставить себя к молодой жене в полном здравии, обязательно веселым и богатым.

— Ну уж! Студишь же ты, тилигент поганый...

По натуре я всегда был человеком замкнутым, может быть, даже излишне обособленным от людей, но, если требовалось, я всегда умел налаживать знакомства, внушая людям симпатию к своей малопривлекательной особе. Вечерами я, погрузив руки в карманы пальто, подолгу и бессмысленно шлялся по улицам Эссена, вспоминая притчу, слышанную от немецкого конвоира: «Эссен — это Крупп, а Крупп — это Эссен». В самом деле, куда бы я ни пришел, всюду имя Круппа преследовало меня, как проклятое наваждение: проспект Альфреда Круппа, бульвар Берты Крупп, памятник Фридриху Круппу, изображенному у наковальни с молотом в руке, общественная библиотека имени Круппа; в витринах магазинов — альбомы с видами заводов Круппа, а женщины с одинаковыми кошелками в руках часами маялись в очередях, чтобы получить паек на мужей из лавок «кооператива» заводов Круппа; наконец, однажды я забрел на кладбище Эссена, и сторож сразу указал мне, по какой тропинке надобно следовать:

— Стыдно побывать в Эссене и не увидеть надгробия наших великих Круппов... О-о, какие дивные памятники! Идите...

Был, кажется, январь 1915 года; блуждая по городу, я сильно продрог и забрел в книжный магазин, где торговали открытками с видами Эссена и портретами семьи Круппов. Здесь я увидел немца, по виду рабочего, рыжеватого и чуть сгорбленного, а посеревшая кожа его лица и подозрительный кашель сразу подсказали мне, что это наверняка шахтер, унаследовавший традиционную болезнь всех углекопов — силикоз легких... Сейчас он, явный кандидат на тот свет, упиваясь вниманием случайной публики, захлеб читал стихи о величии германского духа, который поднял пласты земли Рура, чтобы добраться до ее сокровищ, схожих с драгоценностями мифического Грааля. Я заметил, что он выронил из кармана бумажку в десять марок, и, нагнувшись, передал ее шахтерскому поэту Круппов:

— Пожалуйста. Вы обронили ее случайно.

— О, как я вам благодарен! — воскликнул поэт. — Это мои последние деньги, и, если бы не ваша честность, свойственная всем немцам, я бы с женою остался сегодня без ужина.

— Увы, — вздохнул я, — не имею счастья принадлежать к великой нации... я — русский. Русский военнопленный.

Фриц Руге (так звали этого немца) оказался недалеким, но симпатичным человеком; он сразу выделил в разговоре, как нечто очень важное, что состоит в партии социал-демократов, а свои стихи публикует в эссенской рабочей газете:

— К сожалению, только в Эссене... Муза вывела меня в мир из глубин рудничного штрека Бохума, но она, как и я, гонима из других редакций Германии. Однако шахтеры считают меня своим поэтом. А платят тут мало. Кому сейчас нужны мои стихи? Но с женою кое-как перебиваемся.

— Так вы мой коллега, — обрадовал я Фрица Руге. — Правда, я не грешил стихами, но печатался в петербургских газетах... Мне близки и понятны порывы святого вдохновения!

Руге, не в пример другим немцам, был далек от презрения к русским и даже пригласил меня квестить его. Мне было любопытно узнать, как живет и что думает рабочий поэт. Я не преминул быть гостем в его квартире, состоявшей из двух жалких комнатенок с уборной в конце длинного коридора, где надо выстоять очередь соседей, тоже имевших нужду оправиться. Обстановка жилья Фрица Руге была крайне убогой, все кричало об отвратной бедности, едва приукрашенной кружевными салфетками и дешевыми безделушками. Даже не это поразило меня — совсем другое! Над книжной полочкой поэта-социалиста, узревшего свою музу глубоко под землей, я увидел портреты, сочетание которых показалось мне нелепою шуткой: подле Фердинанда Лассалья красовался император Вильгельм II в каске с пышиным султаном, а возле Августа Бебеля нашлось место и канцлеру Бисмарку. Не желая обидеть хозяина, я осторожно намекнул:

— Забавно видеть этих людей в единой компании!

— Почему же? — невозмутимо отозвался Руге, надрывно кашляя. — Все великие люди Германии вполне гармонично умещаются в едином Пантеоне немецкой славы... Зайдите в любой дом эссенского пролетаря, и вы всюду увидите, что почитание Бебеля и Лассалья не мешает им высоко чтить кайзера и Бисмарка.

Бедный Руге! Мне эта мешанина напомнила русские избы, где наши бабы украшали горницы обликами святых, а каждый имел определенное назначение: один хранил от пожара, другой от нечистой силы, третий спасал мужа от запоев, а четвертый помогал при зубной боли. Вполне серьезно, без тени сомнения, Руге втолковывал мне о задачах германской социал-демократии:

— Свой долг перед партией мы уже выподнили, теперь как раз время исполнить долг перед кайзером. Нельзя позволить темной и отсталой России раздавить образованную и процветающую Германию — это была бы гибель всей мировой социал-демократии! Мои товарищи охотно идут добровольцами в армию, чтобы в борьбе с проклятым царизмом оказать помощь вам...

Получалось так, что немецкий рабочий, убивая на фронте русского пролетаря, помогает ему в свержении ненавистного царизма, но при этом сам он никак не отказывается от любви к своему императору. Как подобная ахинея могла укладываться в головах одураченных немцев? Только вежливость гостя удержала меня от возражений. Тут хозяйка пригласила к столу, и я опять увидел ту же опостылевшую картошку, приправленную маргарином.

Про себя я решил, что к Руге я больше не пойду. Но этот наивный человек имел добрую душу, что и доказал мне в ближайшие дни. Помню, мы только что вернулись с погрузки угля, измученные до предела, а Руге поджидал меня в бараке, тихо покашливая. Вроде заговорщика, поэт затолкал меня в темный угол, сообщив по секрету:

— Я пришел ради пролетарской солидарности... только не выдавайте меня! От своих товарищей по партии я узнал, что среди иностранных рабочих скоро объявят набор в «похоронную команду», которую из Эссена направят в Бельгию. Вряд ли следует отказываться. Питание там будет намного лучше. Да и хоронить покойников легче, нежели перебрасывать тонны угля...

Спасибо Руге! Если силикоз не добил его до 1933 года, то, наверное, его портретная галерея пополнилась новыми «героями» немецкой истории. Епимаху Годючему я сказал, что будем настаивать на зачислении в «похоронную команду».

— Типун тебе на язык! — не соглашался вахмистр. — Чтобы я дохляков всяких таскал за ноги... да ни в жисть!

Я все-таки уговорил его и даже показал карту, на которой границы Бельгии смыкались с нейтральной Голландией:

— Не ерепенся: из Бельгии бежать легче, а из Голландии недалеко до нейтральной Швеции... считай, ты уже дома.

— Ну, ладно. Связался я с тобой, теперь не развяжешь. Ты, ворюга паршивая, видать, все ходы-выходы знаешь...

Годючий, как и все мужики, был бережлив, и свои марки на пиво не тратил. Однажды — уже перед отъездом из Эссена — мы с ним наблюдали такую картину. Прямо на панели сидел немецкий солдат-инвалид без ног, перед ним стоял громадный брезентовый мешок, в каких перевозят деньги для банков. Мешок был плотно набит русскими ассигнациями. Калек менял сто наших рублей на десять немецких пфеннигов. Я спросил его:

— Камарад, откуда деньжата?

— Из русского казначейства в Калише.

— Повезло же вам, — с умыслом сказал я.

— Еще как! Все мы взяли, а золото офицерам досталось. Калишский казначей не хотел отдавать, так мы его шлепнули.

— А ногу-то где оставил?

— Да там же... под Калишем. Когда отступали.

Смотрю, мой кавалерийский вахмистр даже позелепел.

— В хозяйстве-то чай, не пфенниги, а рубли понадобятся, — слишком уж страстно заговорил он, растегивая ширинку штанов, где он берег от жуликов свой кошелек. — Братъ аль не братъ?

Я даже растерялся с ответом и махнул рукой.

— Ну-у... бери, — сказал я. — Ведь я же тебе, дураку, обещал, что вернешься домой веселым и богатым...

7. ЧЕРЕЗ БОЧКУ — В ПАРИЖ

Не мной замечено, но давно замечено: у себя в Германии немец воспитан так, что бумажки на улице не уронит; он сажает розы, любит чистоту тротуаров, ценит уют в семье, посыпает дорожки гравием, ласкает собак и кошек. Но это только дома, где его держат в

тисках полицейского надзора. Зато «все дозволено» немцу, если он идет солдатом по чужой земле — тут можно отыграться за все ограничения, которыми был связан на родине: режь, грабь, взрывай, убивай, насилуй — тебе за это ничего не будет, даже не оштрафуют (ведь ты не дома!)...

Наш знаменитый психиатр профессор В. М. Бехтерев в 1914 году усмотрел в немцах проявление «массового психоза», охватившего весь народ манией собственного величия, при котором им — немцам! — все простиительно. Не всегда было даже понятно, как немцы, народ высокой культуры, позволяют себе творить неслыханные зверства в нейтральных странах, куда они ворвались, словно разбойники. Бехтерев спрашивал: чем объяснить, что немецкие писатели и немецкие ученые призывали своих соотечественников не испытывать жалости к своим жертвам, исключить из сердца всякое сострадание, действовать беспощадно, уничтожая не только людей, но разрушать даже храмы, взрывать динамитом памятники искусства, а потом, как писали немецкие философы, «мы создадим соборы и храмы более величественные, чтобы под их сводами прославить деяния нашего великого кайзера».

По планам Шлифена, первой жертвой должна быть нейтральная Бельгия, дружественная Германии, но через ее земли можно скорее выйти к Парижу. «Геройство Бельгии, — писал В. М. Бехтерев, — выше всякой меры, так как это движение души в сего народа, а не одной лишь его армии...» Армия отступала, а народ достался кайзеру — на растерзание! Прекрасные древние города уничтожались, самые уникальные памятники древней архитектуры лежали в развалинах. Немцы убивали стариков и всех мужчин, убивали детей на глазах матерей, чтобы потом убить и матерей. Впрочем, еще не все немцы потеряли совесть, случалось, что солдаты сами предупреждали жителей:

— Убегайте от нас, мы будем уничтожать все х...

Бельгия считалась страной богатой. Семья, в которой была беременная женщина, за хлеб уже не платила, его выдавали даром, а роженицам сам король подносил «праздничные пироги». Страну населяли пылкие валлоны и флегматичные фламандцы, плохо уживающиеся в быту, но дружные в труде на одних шахтах, на одних заводах, Брюссель, Льеж и Лувен дышали довольством брабантской роскоши, нарядным людом, оживлением бульваров, а репутация бельгийской кухни зазывала в Бельгию гурманов со всего света. Даже улицы в этой стране будоражили аппетит — Хлебная, Мясная, Булочная, Сливочная, переулочок Сочной Печенки или Жареной Курицы; живопись Джефа Ламбо давно затмила тучных красавиц с полотен Йордана, и могучие телеса его раздобревших женщин заполняли картины обжорных оргий...

Все это разом исчезло! Газеты мира оплакивали руины и пожары Фландрии, Брабанта и Намюра — там проходила линия фронта, и вот именно в Бельгию, совершенно изувеченную, помертвевшую от ужаса, погибающую в развалинах, Германия слала «похоронные команды», чтобы они скорее заваливали рвы с трупами, дабы скрыть следы преступлений кайзеровской военщины...

Мы прибыли! Нас обрядили в какие-то солдатские обноски со следами споротых нашивок, каждому выдали по номерной бляхе с указанием: «ПОХОРОННАЯ КОМАНДА», которую велели пришить на грудь, словно орден. Русских в команде, кроме меня и Епимаха, не было, в основном ее составили из познанских поляков, давно запуганных немцами донельзя. Я удивлялся, что нашу группу сопровождали не конвоиры, а немецкий инженер с заводов Круппа, который с хохотом рассказывал, что было в Лотарингии, когда немецкая армия заняла Ньюбекур — родину Пуанкаре:

— Мы отрыли могилы его предков и ходили по очереди испражняться в могилы — прямо на его бабушек и дедушек...

Я забыл название города, в котором увидел страшную картину разрушения; он был сожжен дотла, и мостовые, еще горячие, обжигали нам пятки даже через подошвы обуви; мне запомнилась убитая девочка, на грудь которой кто-то из сердобольных победителей положил ее любимую кошку с разможенным черепом. Множество трупов безобразно раздулись, потрескавшиеся от жары, а наш инженер не уставал радоваться:

— Мы всех научим уважать Германию! Пройдет тысяча лет, и даже тогда туристы будут приезжать сюда, чтобы убедиться, на что способен немец, если его вывести из терпения. Для нас нет сейчас иных примеров, кроме одного — примера Чингисхана!

Вскоре выяснилось, что семья Круппов менее всего была озабочена захоронением мертвых, и под видом «похоронной команды» Круппы направили нас в Бельгию, чтобы вывезти все цветные металлы, столь необходимые для процветания их фирмы. Нас возили из города в город, вооруженных клещами, отвертками и гаечными ключами, мы изымали в домах медные ванны, унитазы, рукомойники и кувшины времен д'Артаньяна и его мушкетеров; инженер требовал, чтобы в квартирах не оставалось ни одного медного крана, ни единой бронзовой ручки на дверях.

— Победа Германии близка! — возвещал он...

Терпимо, если дома стояли пустыми, покинутые бегавшими жителями. Но зато как было стыдно вламываться в квартиры, на глазах хозяев выкручивать на кухнях водопроводные краны, отвинчивать дверные ручки. Помню, одна пожилая дама-бельгийка внимательно наблюдала за нашей работой, потом сказала:

— Вижу, что Германия близка к победе...

От стыда я готов был провалиться сквозь землю.

— Да, мадам, — ответил я со значением, — осталось открутить ручку от дверей вашей спальни, и мир будет подписан.

— Вы... не бош! — вдруг догадалась женщина.

— Да, русский. Имел несчастье попасть в плен...

— Чем я могу вам помочь?

— Спасибо, мадам. Помочь нам уже никто не может.

— Если я вам дам булку? Не обижу вас?

— Нет, мадам, мы теперь редко обижаемся...

В подворотне дома мы с Епимахом разорвали булку пополам. Жадно ели. Множество бездомных, осиротевших собак издали облаивали каждого человека.

Я пытался приманить к себе одного пса, но он, трусливо поджав хвост, скрылся в руинах.

— Чего же псина на ласку не идет? — удивился Епимах.

— Очевидно, собаки перестали верить в людей, ибо кодекс поведения животных не позволяет им проделывать все то, что проделывают теперь люди над людьми...

Здесь к нам подошел местный священник (думаю, что его подослала к нам эта дама, что подарила нам булку).

— Запомните название местечка: Бален-сюр-Нет, — тихо сказал он. — Не знаю, что там сейчас, но беженцы оттуда переходили голландскую границу... Желаю вам удачи, дети мои.

...Нас выручали бляхи с номерами «похоронной команды» и наше понимание немецкого языка. Мы легко добрались до голландской границы, но местечка с таким названием даже не стали искать. В районе границы стояла свежая немецкая дивизия, которая, как я понял из разговоров немецких солдат, только что прибыла во Фландрию с Балканского фронта. В какой-то бельгийской деревне нас предупредили, чтобы мы убралась прочь, пока нас не схватили. Оказывается, для всех жителей Бельгии оккупанты ввели удостоверение с фотокарточкой и указанием домашнего адреса. Вдоль всей границы с Голландией были сооружены проволочные заграждения, по которым время от времени пропущался ток высокого напряжения, а через каждые сто ярдов дежурили немецкие часовые... Староста деревни сказал нам:

— Много беженцев погибло на проволоке... Могу посоветовать лишь одно: когда немцы дают ток высокого накала, тогда трупы на проволоке начинают сильно потрескивать, словно дрова в печи. Но когда треск прекращается, можно рискнуть. Извините, уважаю русских, но более ничем помочь вам не могу.

Несмотря на войну, в Бельгию еще ходил трамвай из голландского города Маастрихта, что в провинции Лимбург; конечно, контроль над пассажирами исключал любую нашу попытку «прокатиться» на трамвае в нейтральное государство.

Нам оставалось только лезть через проволоку...

Епимах Годючий измучил меня, спрашивая:

— Ну, што? Пойдем на рыск али как?

Я ответил, что «рыск» возможен, если учесть, что у немцев не так уж много лишней электроэнергии, чтобы постоянно держать проволоку под высоким напряжением. А трупы с их треском — как хороший амперметр, предупреждающий об опасности. Вдруг мой Епимах выкатил из канавы бочку и двумя ударами ноги моментально высадил из нее трухлявые днища.

— Во! — просиял он. — Коли эту бочку подсушем под проволоку, так и пролезем... приходи, кума, любоваться!

Я одобрил смекалку вахмистра, а ночью мы осторожно двинулись в сторону границы с нейтральной Голландией, попеременно толкая пустую бочку

ногами. Потом мы залегли, осматриваясь. Все было так, как говорил староста. Вдоль проволоки слонялись немецкие солдаты, а трупы погибших смельчаков висели на проволоке, не убранные немцами из тех соображений, чтобы нагнать страху тем, кто решится на «рыск».

— Трещат? — спросил я Епимаха.

— Трещат, проклятые, будто горох в пузыре.

— Рыск? — спросил я.

— Благодарное дело, — по-книжному отвечал Епимах...

Мы залегли. Труднее всего было перекачивать бочку так, чтобы ее не заметили часовые. Но им, видать, давно осточертела кордонная служба, и они покуривали в сторонке. Мы подпихнули бочку под нижние ряды проволоки — образовался круглый туннель, через который мы из оккупированной Бельгии благополучно переползли в нейтральную страну. Вполне довольные, мы не успели выпрямиться, как сразу же напоролась на патруль голландских пограничников. Я никак не ожидал от этих «нейтралов» такой грубости, с какой они ударами прикладов затолкали нас в сторожку погранстражи, где сидел молодой офицер, рассеянно выслушавший наши объяснения:

— Мы русские, бежали из плена, но между Россией и Голландией хорошие отношения, а посему ваши власти могут интернировать нас. А лучше, если вы найдете способ предупредить в нашем появлении русское посольство...

Я расточал свои доводы напрасно. Офицер ответил, что сразу же передаст нас обратно — в руки немцев:

— Поймите и нас, голландцев. Мы совсем не желаем, чтобы немцы поступили с нашей страной так же, как они поступили с соседкой Бельгией, потому мы обязаны поддерживать с Германией наилучшие отношения, чтобы не вызвать ее тевтонского гнева. Да, все понимаю, да, во многом сочувствую, но я вынужден звонить коменданту о вашем аресте.

— Постойте! — остановил я его, уже потянувшегося к телефону. — Вы не будете звонить немцам, а мы обещаем вам, что возвратимся обратно в Бельгию, продавав тот же рискованный путь — через бочку. Вас это устроит?

— Буду лишь рад, если вы облегчите мою совесть...

Голландский пограничник довел нас до того места, где между рядов колючей проволоки, образуя безопасный туннель, торчала наша спасительная бочка. Но теперь с другой стороны ограждения уже стоял вооруженный до зубов немецкий солдат.

— Грех на твоей душе, — сказал я голландцу.

— Ползи! — отвечал тот. — Мне до вас нет никакого дела...

— Чур я первый, — сказал я Епимаху Годючему.

— Храни тебя бог, — отвечал тот понуро...

Немец с другой стороны границы делал призывные жесты:

— Давай, шевелись... мы только вас и ждали!

Я просунулся через бочку, он схватил меня за

шкирку, помогая мне выбраться, и тут же стал топтать меня сапожищами. Епимах, выставив из бочки голову и увидев, как меня встречают, не решился выползть наружу, а голландский пограничник лупил его прикладом по ногам, понуждая выбираться из бочки.

Тут я догадался крикнуть немцу:

— Камарад, ты сначала спроси, кто мы такие!

Я горячо заговорил, что мы здесь случайные люди, работали в Эссене, потом угодили в «похоронную команду»:

— Затем и ползали в Голландию, чтобы разжиться маслом и салом. Или не знаешь, что в Эссене одна картошка с «селечным бульоном»? Или у тебя в семье никто не голодает?..

Немецкий солдат сразу переменялся.

— Катитесь отсюда, — сказал он. — Только скорее, пока вас никто не заметил. И благодарите судьбу, что нарвались на такого доброго парня, как я. Другой бы на моем месте...

В этот момент трансформаторы подстанции, очевидно, дали на проволоку ток высокого напряжения, и мы застыли в удивлении, наблюдая, как между железными обручами нашей бочки стали проскакивать острые голубые молнии...

— Рыск! — сказал вахмистр, передернув плечами.

— Не подведите меня, — пугливо заговорил немецкий солдат. — Вон, уже идет моя смена... проваливайте подальше!

И мы «провалились», словно черти в свою родимую преисподнюю. Оглянувшись назад, я успел заметить, как голландец перебросил немцу кусок ливерной колбасы, а немецкий солдат передал ему бутылку со шнапсом. Товарообмен, как у дикарей в доисторические времена... О боже!

После этого случая я осознал свое непростительное легкомыслие, которое могло стоить нам жизни, и решил действовать иначе. Немецкая армия начала войну 2 августа нападением на нейтральный Люксембург, откуда она вторгалась во Францию и в Бельгию, но в герцогстве Люксембург, ставшем для них как бы «проходным двором» на Париж, немцы не так зверствовали, как в Бельгии, уповая на то, что после победы Германии все люксембуржцы захотят стать верноподданными кайзера... Мне пришлось вспомнить лекции в Академии Генштаба, чтобы представить себе маршрут, каким следовать далее.

— Куда ты опять меня потащил? — негодовал Епимах.

Я объяснил ему, что перейти линию фронта удобнее, нежели подвергать себя риску в оккупированных странах.

— Если все сойдет как надо, — убеждал я вахмистра, — так мы плевать хотели на «Василия Федоровича»...

Кажется, я убедил Епимаха не поддаваться унынию, и мы, заметно повеселевшие, вторглись в Великое герцогство. Любой фронт всегда имеет раз-

рывы между войсками противников; важно только верно найти промежуток, свободный от враждующих армий. По дорогам Люксембурга маршировали пехотные колонны, пылили штабные автомобили, обвешанные чемоданами офицеров, за мощными першеронами тарахтели походные кухни, на привалах немецкие офицеры проверяли солдатские фляжки, и горе тому солдату, у которого не доставало шнапса до самой пробки. Расправа была короткой, но внушительной — палкой! На фронте немцы пьянствовали сколько душе угодно, но до прибытия на фронт пить вино запрещалось... Однажды, пропуская мимо себя обоз, я указал Епимаху на цинковые ящики, перевязанные, словно рождественские подарки, красивыми трехцветными лентами:

— В этих ящиках дум-дум, запрещенные Женевской конвенцией.

— Дум-дум... А что это такое?

— Разрывные пули. Влепят в ляжку — и прощай ноженька; как треснут в голову — и череп разлетается вдребезги.

— Диву даешься, — ответил Епимах, поразмыслив. — Чего бы доброго ученые придумали, а мы одни пакости от них видим...

Мы заночевали в живописной местности за Петанжем, где подле древнего виадука затаился маленький женский монастырь кармелиток. Утром нас разбудила аббатиса монастыря — молодая девка грубого вида с пастушьей палкой в руках.

— Нашли место, где вальтаться, — сказала она, перемежая французскую речь немецкими ругательствами. — Сейчас же убирайтесь отсюда, чтобы не навлечь неприятностей на нашу тихую обитель, и без того уже не раз ограбленную всякими проходившими.

Мне с Епимахом оставалось только покориться.

— Мы не станем смущать ваш покой, — отвечал я аббатисе. — Но помогите отыскать верный путь... Наш дом очень далек, мы с приятелем совсем чужие люди в вашей стране.

Кажется, эта грубиянка поняла, куда нам надо:

— Идите вот этой дорогой до громадного камня, на котором высечен крест, от него тропинка в лес... Только не воровать!

Я покорно склонил голову, ожидая от нее христианского благословения, но получил палкой по шее, эта же палка благословила вахмистра ниже спины, что заставило нас поторопиться.

— Вот бисова баба! — говорил Епимах. — Не иначе как скаженная... мужа бы ей хорошего, чтобы поучил вожжами!

Аббатиса не обманула: указанная ею дорога вывела нас к валуну с крестом, откуда тропинка вела в лес. Скоро мы услышали говор французов и стук топора — солдаты в синих мундирах и красных штанах собирали дрова для походных кухонь. Увидев нас, они вскинули карабины, но я опередил их намерения.

— Vive la France! (Да здравствует Франция)! — провозгласил я...

Конечно, мы не рассчитывали, что союзники нас

расцелуют, однако французские «паулю» оказались слишком жестокосердны: нас отвели в какую-то разрушенную деревню, где два дня продержали в темном погребе, пока нас не соизволил допросить офицер из 2-го бюро (французской разведки). Он очень скоро поверил Епимаху, что это русский беглец из плена, но меня долго изводил разными придирками, подозревая во мне очень опытного немецкого агента. Наконец это вызвало у меня горький смех.

— Наверное, я вам очень опротивел, — сказал я, — но вы мне надоели тоже. Найдите способ связаться с русским посольством в Париже, где ваши сомнения может разрешить русский военный атташе граф Алексей Игнатьев.

— Откуда граф Игнатьев может знать вас?

— Мы с ним почти одногодки, только Игнатьев окончил Академию русского Генерального штаба раньше меня...

ПОСТСКРИПТУМ № 7

Конец приближался... 1 сентября 1944 года, едва опомнясь после мощных ударов нашей армии, Гитлер устроил совещание в своем «волчьем догаве», затаенном в лесах близ Растенбурга. Неожиданно он отвлекся от карты, обедая всех глазами.

— Все ясно, — сказал он. — Здесь сижу я, здесь сидит мое верховное командование, здесь рейхсфюрер войск СС, тут и министр моих иностранных дел... капкан! Будь я на месте Сталина, я бы без размышлений сбросил на Растенбург двести парашютные дивизии, чтобы всех нас взять живьем и потом посадить в клетку московского зоопарка...

Гитлер удрал вовремя. Началось победоносное наступление нашей армии, войска 2-го Белорусского фронта вломились в пределы Восточной Пруссии, и Гитлер вдруг вспомнил:

— Гроб! Мы забыли там гроб с прахом Гинденбурга! — закричал он. — Немедленно спасти его от нашествия большевизма, а имперский мемориал Танненберга... взорвать!

Гинденбург был спешно извлечен из своей «Валгаллы».

Тяжеленный бронзовый гроб с прахом фельдмаршала был водружен на железнодорожную платформу и под стук колес помчался в Пиллау (ныне Балтийск), где его почти торжественно, как святыню, переставили на палубу крейсера «Эмден».

— Полный вперед! — послышалось с мостика, и турбины крейсера развили небывалую скорость. — Гроб прибыл! — доложил командир корабля, когда пришвартовались в Штеттине...

Отсюда — опять на колесах — гроб умчался в Потсдам.

Эсэсовцы спрятали его в бункере, чтобы, не дай бог, он не погиб при очередной бомбежке.

Гинденбург-Бенкендорф спокойно возлежал в гробу, наслаждаясь приятным соседством с прусскими королями и королевами.

Но Советская Армия уже подходила к Берлину,

и пора было драпать дальше... Гинденбурга довезли до Тюрингии, и там эсэсовцы упрятали его в мрачной глубине заброшенного рудничного штрека, где не было соседей-королей, зато Гинденбург возлежал среди ящиков с награбленными драгоценностями.

Покойник не думал, что и сам сделается вроде какой-то исторической драгоценности. Наверное, он очнулся, услышав далекий грохот русской артиллерии. Эсэсовцы, проклиная свою судьбу (а еще более невыразимую тяжесть гроба), снова вытащили Гинденбурга из шахты и опять переставили на колеса. Семафоры дали зеленый свет — к отправке, и началось долгомесячное блуждание Гинденбурга из города в город, с вокзала на вокзал, ибо никто не ведал, где его лучше спрятать...

Наконец решили везти покойника на запад:

— Там как раз подходят американцы, люди практичные, и они-то уж знают, как надо уважать знаменитых полководцев!

Громадный и несуразный гробина достался американцам в качестве боевого трофея. Они его, не будь дураками, вскрыли, полагая, что в нем Гиммлер прятал свои бриллианты или тайные счета в швейцарском банке. Велико было их разочарование, когда они увидели...

— Лучше бы и не смотреть! — говорили brave ребята, зажимая носы и отбегая подалее от гроба...

Война завершилась, в Нюрнберге уже заседал международный трибунал, судивший военных преступников, когда генералу Дуайту Эйзенхауэру доложили, что никто в армии не знает, куда засунуть гроб с телом Гинденбурга.

— Как не знаете? Где-нибудь закопайте, и дело с концом... — Совет был мудрый. Так и поступили. Конеч.

Глава вторая

КРУТЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

*Вы не можете объяснить, как свершилась победа, но чувствуете, что она свершилась и что вчерашний день утонул навсегда.
Vae victis! (Горе побежденным!)*

М. Е. Салтыков-Щедрин

Написано в 1943 году:

...охранявшие здание сталинградского университета, в подвале которого укрывался фельдмаршал Паулюс со своим штабом, прекратили огонь в 13 часов 30 января 1943 года. Тогда же в сводке германского вермахта было сказано: «Положение в Сталинграде без изменений, мужество защитников непреклонно».

Чувствую, пора представить свою семью: Луиза Адольфовна имела дочерей, Анхен и Грету, учившихся до войны в саратовской школе. Мне было нелегко взять на себя заботы об этом семействе, ютившемся возле холодной печи на вокзале; после всех испытаний они разуверились в людской справедливости, а пребывание в моем доме, теплом и сытном,

казалось им, наверное, сказкой, которую придумал я сам — добрый дядюшка Клаус, обязанный делать людям подарки. Луиза Адольфовна была намного моложе меня и, кажется, тихо радовалась тому, что я не строю никаких матримониальных планов в отношении ее руки и сердца.

Все складывалось хорошо и по службе, если бы... Если бы не внезапный приказ выехать в Москву. Я не ожидал ничего дурного, но и расставаться с обретенной «семьей» было не сладко, тем более к девочкам я сильно привязался, и они плакали, узнав о нашей разлуке. Я оставил «семью» на попечение Дарьи Филимоновны, вручив Луизе свой продовольственный аттестат, отдал ей и все свои деньги, какие у меня тогда были.

— Как-нибудь проживете, — сказал я на прощание. — Никуда не трогайтесь с места, будет надо — я вас найду...

Из Москвы меня сразу переправили в Суздаль, где в здании древнего монастыря, похожего на цитадель, располагался лагерь для офицеров и генералов, плененных в Сталинграде; здесь были, помимо немцев, итальянцы, хорваты, румыны, а также военные капелланы. Я не занимался воспитанием этой теплой компании, устанавливая контакты с теми из пленных, которые по роду моего ремесла казались мне более значительными. Меня интересовали и общие настроения пленных, о которых я регулярно оповещал московское начальство. Так, например, генерал Отто Корффес привлек мое внимание тем, что, впадая в уныние, исполнял старинный русский романс от имени Наполеона:

*Зачем я шел к тебе, Россия,
Европу всю держа в руках?*

Молодой граф Эйнзидель, внук Бисмарка, сказал мне:

— Вся наша беда в том, что этот ефрейтор Гитлер не внял заветам моего деда — никогда не соважаться в Россию...

Не скажу, чтобы пленные дружно подпевали Корффесу или рукоплескали внуку «железного канцлера». У меня в глазах рябило от обилия орденов и нашивок, с мундиров пленных не были спороты хищные германские орлы со свастикой, и по утрам немецкие генералы приветствовали один другого возгласом «Хайль Гитлер!». Внешне мне казалось, что эти генералы вели себя как игроки популярной футбольной команды, которым сегодня не повезло, но завтра они поднатужатся, чтобы забить решающий гол в ворота противника. Кормили этих «игроков» лучше нас: хлеб, сало, мясо, колбаса, рыба, им давали туалетное мыло, хотя я — генерал — мылся хозяйственным. Каждый пленный раздобыл себе кусок стекла, которым выскабливал сталинградских вшей из своих мундиров (ибо за вшей комендант лагеря Новиков давал трое суток карцера). Раз в неделю пленных гоняли строем в монастырскую баню.

Вольнонаемные трудяги-суздальцы, работавшие внутри лагеря, возмущались хорошим питанием

пленных: «Я с утра до ночи горбачусь тута, — говорил старый плотник, — а мне сахарку в стакан никто не насыпет». В городе ходили разные слухи, и я сам на базаре слышал, как одноглазый дед клятвенно заверял покупателей его «самосада», что в монастыре держат силу нечистую — самого Геринга с Геббельсом, но Сталин еще не придумал, что с ними делать — сразу удавить или погодить, пока Гитлера не словили. Пожалуй, никто из жителей Суздаля не знал правды, что в деревянном приделе монастыря обособленно проживал сам генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, начальник штаба его армии Артур Шмидт и адъютант Вилли Адамс. Этот Адамс, ранее учитель математики в Саксонии, доверительно сказал мне, что его прозрение началось еще на берегах Волги, когда сам Паулюс еще слепнул во мраке подвалов универмага, убежденный в конечной победе фюрера:

— Фельдмаршал прозрел бы гораздо скорее, если бы его кровать отодвинули от кровати Артура Шмидта.

Я и ранее подозревал, что Шмидт и ему подобные нацисты рисовали по ночам свастику на беленых стенах монастыря. Бравирюя своей наглостью, Шмидт иногда начинал ржать, словно жеребец, увидевший перед собой немятое овсяное поле.

— Это не так уж остроумно, — однажды заметил я ему.

— Но что же делать, — отвечал Шмидт, — если меня сегодня опять кормили овсяной кашей?

— А какой еще каши вы захотели, если всюду, где побывал ваш вермахт, после вас даже трава не растет...

Пожалуй, никто из пленных так не штудировал труды марксистов и самого Сталина, как этот заядлый нацист. Шмидт выписывал горы цитат, а потом, составляя из них невообразимую мозаику, доказывал, что вся наша философия ни к черту не годится. Мне было известно, что в «котле» Сталинграда Шмидт до последней минуты настаивал перед Паулюсом на борьбе до последнего патрона... Новикову я сказал:

— Терпение мое лопнуло! Слушайте, полковник, неужели у этого Шмидта не сыщется хоть одной завалящей вши или полудохлой гниды, чтобы он сутки-другие посидел в карцере?..

Вообще ладить с этой публикой было нелегко. Я, со своей стороны, вел себя корректно и осторожно. Отношениям с пленными мешали и некоторые шаблоны, укоренившиеся в нашей печати из-за политической близорукости журналистов. На этом однажды попался и комендант лагеря — полковник Новиков.

— Ты мерзкий фашист! — заявил он как-то одному немцу.

— Я? — возмутился тот. — Никогда не был фашистом и не стану им. Я убежденный национал-социалист. А фашисты... можете полюбоваться, вон они стоят, — и показал на итальянцев.

Зато итальянцы оскорблялись, если их сравнивали с национал-социалистами партии Гитлера:

— Посмотрите на меня — я же порядочный фашист, и ничего общего с этой гитлеровской сволочью не имею...

Я пояснил Новикову, что фашистами называли себя легионеры Древнего Рима, и Муссолини воскресил слово «фашист» для своих чернорубашечников. Между тем в лагере началось разделение пленных — на твердолобых нацистов и тех, кто искренне страдал за Германию, почему гитлеровцы называли их «антифами» или «кашистами» (Kaschisten — продавший русским за лишнюю миску каши). Откровенные нацисты подавляли упавших духом своими угрозами, своим бывшим партийным авторитетом:

— Твой адрес мы знаем и найдем способ сообщить в Германию, чтобы твоя семья переселилась в Освенцим. Не думай уйти от расплаты. В день нашего торжества ты будешь повешен!..

Битва на Курской дуге многое переменяла, а на мундирах генералов появились бледные просветы — от споротых «орлов». Многие погрузились в состояние депрессии, рассуждая:

— Вы слышали новость? Говорят, нас пошлют на восстановление руин Сталинграда. А там и столетия не хватит, чтобы все кирпичи разобрать. В этом случае мы никогда не вернемся в Германию, так и сдохнем на сталинских стройках...

Летом 1943 года был образован национальный комитет «Свободная Германия», издавалась газета «Фрайес Дойчланд»; осенью же возник и «Союз немецких офицеров», порывающих с Гитлером, президентом «Союза» стал генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц. С этим оригинальным человеком я познакомился при анекдотических обстоятельствах. Перед порогом моего жилья лежал кусок гусеничного трака от танка, вместо коврика, чтобы очищать подошвы от уличной грязи. Зейдлиц долго скреб свои сапоги, а войдя ко мне, выкинул руку в нацистском приветствии.

— Что вы этим жестом хотели бы сказать, фон Зейдлиц?

— Вот на какую высоту прыгала моя любимая собака...

Да, высоко прыгала его «собака», так что даже перемахнула высоченную изгородь лагеря для военнопленных!

Прямой потомок того самого Зейдлица, который во времена Фридриха Великого, заодно с Циттенем, водил в атаки прусскую кавалерию, он в армии Гитлера считался специалистом по «котлам». Так, в 1942 году Зейдлиц вывел из окружения войска под Демянском, но вскоре и сам угодил в «котел» Сталинграда, из которого вырваться не удалось. Зейдлиц с некоторой гордостью носил почетную нашивку «За Демянск», и я спросил его, почему он, мастер по деблокированию, не вывел армию Паулюса:

— Или вы стали хуже?

— Мы остались прежними. Зато вы стали лучше...

Кольцо наших войск еще только смыкалось во-

круг Сталинграда, когда он призывал не исполнять приказов Гитлера и самим убираться от Волги подальше. Я сказал Зейдлицу:

— Из вас получился бы дальновидный политик.

— Нет. В политике я уважаю не декларации, а лишь смешные анекдоты об авторах этих деклараций. Но я, правда, решил капитулировать раньше Паулюса, пока мы еще не стали обгладывать копыта румынской кавалерии...

Зейдлиц жестоко поплатился, когда выехал на фронт, агитируя своих прежних друзей-генералов сдаваться в плен, за что вскоре гестапо арестовало его жену Ингеборг фон Зейдлиц, а через день и дочерей. Мы подружились с Зейдлицем осенью 1943 года, когда 16 сентября генерал Вальтер Модель (любимец фюрера) пытался объяснить в печати причины слабости вермахта, а Зейдлиц опубликовал во «Фрайес Дойчланд» достойный ответ, указав на слабость головы самого Моделя.

Паулюс, живший уединенно, оставался для меня загадкой, и перестал быть загадкой, когда неожиданно выступил на защиту Зейдлица, подвергаемого обструкции своих прежних друзей.

— Немцы при Гитлере, — заявил фельдмаршал, — стали вроде дрессированных зверей в цирке: они все понимают, о многом догадываются, но сказать ничего не могут. Будем же уважать Зейдлица, первым разорвавшего этот заколдованный круг...

Вечерами Паулюс в своей «келье» переводил статьи из «Красной звезды», и я, узнав об этом, выразил свое удивление.

— Мне трудно, — отвечал он. — Но, как утверждал Декарт, «чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов». Можете не проверять цитату — у меня отличная память, — заметил он с небрежной усмешкой.

Над его столом была приколата записка со словами: «Избрал немилость там, где повинение не могло принести ему чести». Перехватив мой взгляд, Паулюс любезно пояснил:

— Эпитафия с могилы опозоренного генерала Марвитца...

Честно говоря, я так и не мог вспомнить, какую из битв проиграл этот Марвитц. Но эпитафия над его прахом, очевидно, ближе всего отвечала настроению Паулюса. Фельдмаршал казался мне морально надломленным, но я отметил его колоссальную выдержку. Всегда подтянут и собран, Паулюс не был солдафоном, скорее напоминая интеллектуала, наряженного в генеральскую форму. Он очень ценил свое одиночество, разделяя его с Вилли Адамсом, ковырялся во фруктовом саду; в частных беседах Паулюс обнаруживал неожиданную эрудицию — мог со знанием дела судить о целебных водах Давоса, смело критиковал выводы немецких физиологов. Вечерами прислушивался к далекому грохоту эшелонов, в которых тогда перевозили тысячи девушек.

— Интересно, куда они едут, едут и едут?

— Добровольцы. Чтобы восстанавливать Сталинград.

Паулюс тяжело и надолго задумался.

— Им будет там тяжело... Впрочем, — сказал он, — если я доживу до глубокой старости, я хотел бы снова побывать в Сталинграде... в новом, где не останется следов войны.

Паулюс очень внимательно изучал сводки Совинформбюро о положении на фронте, на школьной карте он — ведущий стратег вермахта, автор плана «Барбаросса» — делал штабные пометки, которые мог понимать только один он, полководец.

— Не думайте, что я переигрываю войну, — сказал он мне. — Просто я наблюдаю, как Гитлер проигрывает войну...

Паулюс не всегда был согласен с нашей пропагандой:

— Вы напрасно представляете Гитлера психом или придурком. Я лично проработал с ним несколько напряженных лет и могу заверить вас, что это человек вполне разумный, обладающий почти дьявольской интуицией.

— Согласен, — отвечал я. — Наша пропаганда перегибает палку, и если бы Гитлер был только психопатом, вы, господин фельдмаршал, не оказались бы на берегах Волги...

Паулюс завоевал мои симпатии после одного случая. В момент очередного «ржанья» начальника своего штаба он пресек его плоское и неумное шутовство выговором:

— Шмидт, я устал от ваших концертов! Я, как и вы, тоже хотел бы иметь иной гарнир к мясу, но мы же здесь не в берлинском «Адлоне», где дают гарнир по заказу. Русские, кроме пшена и овсянки, не могут разнообразить наше меню. Они сами кормятся по карточкам — хуже нас с вами! У них дети не имеют и доли того, что имеем здесь мы, сидящие за колючей проволокой. Так постыдитесь же, камарад, ржать!

Паулюс заметил мое внимание к нему, особенно в тех случаях, когда он хотел переосмыслить свои победы и поражения.

— Но зачем вам это? — спросил он меня.

— Кто забывает прошлое, тот остается без будущего. Наконец, — сказал я, — если на войну смотреть лишь своими глазами, получим любительскую фотографию, но, глянув на войну глазами противника, мы получим отличный рентгеновский снимок.

Вальтер фон Зейдлиц, человек горячий, порывистый, уже отбыл на фронт, где в полушубке советского бойца уговаривал через мегафон своих прежних коллег-генералов не затягивать безумие кровопролития. Паулюс, человек сдержанный, не был готов к таким крутым решениям. Но уже близился тот день, когда он, генерал-фельдмаршал разбитой армии, по доброй воле подойдет к микрофону московского радиовещания, чтобы обратиться к немецкому народу с призывом — свергнуть Гитлера и его партийную камарилью, после чего наступит мир...

Я догадывался, что, объявленный на родине мерт-

вещом, Паулюс душевно страдает оттого, что его семья повергнута в траурную печаль по нему, еще живому, но он никогда не выдавал своих чувств. Лишь однажды спросил меня — совсем об ином:

— Мне известно, что многие из моей армии пытались вырваться из «котла» группами или даже в одиночку. Какова их судьба? Может быть, вы что-либо знаете о них?

— Знаю. Из сообщения берлинского радио мне известно, что из Сталинграда сумел вырваться только один опытный и выносливый фельдфебель. Он был принят Гитлером в ставку, даже награжден. Но вскоре умер, истощенный переживаниями.

— Вы, значит, слушаете берлинское радио?

— Почти ежедневно.

— А ваше радио извещало Берлин о том, что я жив?

— Нет.

Паулюс не стал продолжать разговор и, наверное, даже понял, что после такого радиооповещения развеется миф, созданный о нем пропагандой Геббельса, а положение его семьи может ухудшиться. Но все-таки душевный нарыв в нем прорвало:

— Меня возмущает, что по мне отслужена панихида, сам фюрер не постыдился утешать мою семью, которой назначил высокую пенсию. От имени генералитета на мой пустой гроб были возложены дубовые листья к Рыцарскому кресту. Но... ах, моя бедная жена! Но... ах, мои бедные дети и внуки!

Продолжение разговора возникло по моей инициативе через несколько дней, хотя беседу я начал издавека:

— Мне помнится, что Август Шлегель, знаменитый немецкий поэт и большой друг мадам де Сталь, был женат на Софье, дочери профессора богословия Генриха Паулюса... Разве не так?

— Откуда вам известно это родство?

— А ваша жена — Елена Констанция из валашского рода бояр Розетти-Солеску имела родственные связи с теми Розетти, что служили в Петербурге еще до революции... Так ведь?

— Удивлен, — отвечал Паулюс. — Кто вы?

— Не скрою. Я офицер еще старого русского Генштаба и работал в разведке давным-давно, когда вы, фельдмаршал, лишь начинали свою офицерскую карьеру в армии кайзера.

Из сада хорошо благоухало созревшими фруктами, в окне «кельи» фельдмаршала виднелись звонницы древнего Суздаля. Искоса поглядывая на меня, Паулюс ожидал продолжения разговора.

— Поверьте, я прибыл не ради «вытягивания» из вас каких-либо данных военного порядка, дабы спровоцировать вас на отступление от пунктов присяги. Я предлагаю иное...

Паулюс очень подозрительно спросил меня:

— Что же именно вы можете предложить мне?

— Сейчас чудесная погода. Следует немного развеяться. Прогулка в лес за грибами, надеюсь, освежит вас. Воюя с Россией, вы, наверное, так и не видели настоящего русского леса.

— Позволено ли Адамсу сопровождать меня?

— Адамс нам не помешает, — ответил я...

На стареньком «газике» мы выехали подальше от Суздаля, с нами не было никакой охраны, ни я, ни солдат-шофер не имели оружия. Вся наша компания была облачена в простонародные ватники, каждый имел лукошко. Паулюс при очках и в ватнике напоминал не фельдмаршала грозной 6-й армии, дотянувшейся до Сталинграда, а бедного сельского учителя, весьма далекого от служения Марсу. Глядя на то, как он радовался каждому рыжику или опяткам, я тоже забыл, что передо мною человек, стратегически разработавший для Гитлера коварный план нападения на нашу страну. Потом мы собрались в кружок на поляне, хвастаясь трофеями, на костре готовили скудный ужин, и все в этот день было чудесно... Паулюс неожиданно сказал:

— Странно, что сегодня меня никто не конвоирует.

— Позвольте, я отконвоирую вас... недалеко.

Мы отошли от костра. Я рассказал Паулюсу, что Геббельс и его подручные убедили немцев, будто все плененные в «котле» Сталинграда давно убиты или заморожены в диких лесах Сибири. Немцы из состава 6-й армии постоянно пишут письма на родину, Красный Крест пытается переправить их по адресам, но письма перехватываются гестапо, а полное молчание еще более утверждает версию Геббельса о том, что все немецкие солдаты в русском плену уничтожены... Паулюс сухо кивнул:

— Я об этом догадывался. Каков, по вашему мнению, выход?

Я пояснил: наша авиация дальнего действия не раз сбрасывала письма немецких пленных «по адресам» — прямо над Берлином или над Дрезденом, но их собирала городская полиция.

— Впрочем, — сказал я, — какая-то часть писем все же дошла до родственников, когда мы стали «бомбить» конвертами не Германию, а Венгрию, Чехословакию или Румынию... Понятно, что за вашей семьей в Берлине на Альтенштайнштрассе установлено наблюдение, и нужны особые методы, чтобы ваше письмо дошло до жены, а письмо жены дошло до вас.

Паулюс долго и напряженно молчал. Думал.

— Я глубоко сожалею о том, что моя семья не имеет обо мне никаких известий, кроме пошлого вранья, исходящего от фюрера. Но... что я могу сделать в условиях своего заточения?

— А вы напишите жене, и будьте уверены, что наша разведка вручит письмо лично ей в руки. У нас есть люди, чувствующие себя в Берлине столь же хорошо, как и в Москве, и они скорее пойдут на смерть, но никакого промаха не допустят.

— Догадываюсь, как это будет трудно...

Письмо было отправлено. Потянулось время — мучительное для Паулюса (и для меня тоже). Наконец однажды фельдмаршала пригласили в канцелярию лагеря. Новиков протянул ему конверт.

— Узнаете почерк, господин фельдмаршал?

— Да, почерк моей жены.

— Это для вас. Сугубо личное. Можете взять его...

Паулюс удалился к себе, отказавшись в тот день от ужина, не разговаривал ни с кем, даже с Адамсом, он переживал свою любовь — обычную любовь, чисто человеческую.

А я из письма Луизы узнал, что добрейшая Дарья Филимоновна гонит мою «семью» прочь, когда узнала, что они немцы, и теперь оскорбляет их, провозглашая, что в своем доме не потерпит никаких «фашистов». Volens-nolens мне пришлось обратиться к местным властям, чтобы утихомирили не в меру разыгравшийся «патриотизм» моей прежней домовладелицы. Боже, как часто я думал о них и хотел повидать... особенно девочек! Я помогал Луизе Адольфовне чем мог. Пишу вот это, а сам думаю: как-то сложится судьба моих записок? Не растопят ли этими страницами сырые дровишки в печке? Понимаю, что после моей смерти не будет траурных митингов, в газетах не появятся некрологи о «безвременной» кончине, не будет и слез над могилой, ибо — так думаю — и могилы-то после меня не останется. Я согласен жить и умереть без имени, всегда памятуя о главном:

Да возвеличится Россия,
Да сгинут наши имена!

1. СЕРДЕЧНОЕ СОГЛАСИЕ

Меня никогда не тянуло в Париж, но, попав в Париж, я увидел в нем как бы парализованное тело, из которого война изъяла великую душу. Жорж Клемансо и Густав Эрве печатали в газетах заглавия боевых статей, но сам текст статей был запрещен цензурою (остались одни их заглавия). Вслед за министрами, бежавшими в Бордо, столицу покинули свыше миллиона парижан. На улицах было пустынно, бросалось в глаза отсутствие автобусов и таксомоторов, зато часто встречалась «пара гнедых, запряженных с зарею», будто я угодил в захолустье русской провинции. Вместо красочных витрин с манекенами — слепые затворы жалюзи, на дверях магазинов болтались неряшливые записки: «Жан Кошен с пятью сыновьями на фронте», «Не стучите напрасно — весь персонал фирмы мобилизован».

Париж не голодал, но и сыт не был. Молочные и мясные лавки, принадлежавшие до войны немцам, не торговали, зато англичане открыли свои гастрономы, в которых йоркширская свинина наглядно побеждала свинью франкфуртскую. Много приходилось читать о ночных кафе Парижа, но теперь все быстро закрывались с вечера, а распивание абсента было запрещено. Кинематографы и театры не работали, за пение на улицах штрафовали, смех исчез. Все оркестры (и даже в ресторанах) умолкли, кабаре сделались безголосы, префектура Парижа постановила: преступно сидеть в ложах и бисировать всяким глупым «флон-флон», если наши сыновья погибают в грязи фронтовых окопов!

Я так много был наслышан о толпе Больших Бульваров, суетливой и эротичной, но увидел ее померкшей, многие женщины носили траур. Уличные жрицы любви, как неприкаянные, сонно бродили в переулках, забывая накрасить губы помадой, их обычные уловки обольщения потеряли прежнюю привлекательность. Помню, я ужинал в гостинице, когда ко мне подседа растерянная, почти испуганная проститутка, вежливо спросившая:

— Вы иностранец? Не угодно ли вам немножко любви?

— Благодарю. Но я озабочен иными проблемами.

— Жаль, — ответила девушка. — Любовь теперь дешева, и с началом войны мы работаем со скидкой... едва хватает на хлеб. Если война затянется, нам уже не понадобятся жесткие корсеты, а кому будут нужны потом мои кости?

Я предложил ей поужинать. Благодарная, она сказала:

— Хотите, мы проведем эту ночь бесплатно, а то я уже чувствую, что стала терять былую квалификацию...

Да, Париж был совсем не тот, каким я представлял его раньше. Парижане сделались подозрительны, они хотели прочесть твои мысли и укрыть от тебя свои. Каждую ночь полиция без суда и следствия расстреливала сотни апашей, дезертиров и мужчин, уклонившихся от мобилизации. Сыщики в синих кепках катались на велосипедах, быстро окружая редких прохожих, требуя у них документы. Я тоже не раз попадал в их облаву. Но у меня уже была справка из русского посольства, выданная как бежавшему из немецкого плена, и сыщики дружески козыряли мне, на что я всегда отвечал верою в справедливость «Entente cordiale» — верой в «сердечное согласие» коалиции стран Антанты.

Русских в Париже было немало. Одни сами порвали с родиной, от иных родина сама отказалась. Тут были всякие люди, а их судьбы писались вкривь и вкось, вполне пригодные для сюжетов авантурных романов. Теперь в сердцах изгоев и отчужденцев выиграл природный патриотизм, были забыты прошлые обиды — эмигранты с утра выстраивались в длиннейшую очередь, она тянулась от Сен-Жерменского бульвара до авеню Элизе Реклю, где размещалась русская военная миссия, которую возглавлял атташе граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Пройтись к нему в кабинет не было возможности, и мы с Епимахом тоже пристроились в хвосте очереди, терпеливо выслушивая от соседей массу нелепых историй, которые разлучили их с отечеством, но французами не сделали. В тоскливой перебранке возникали разные признания.

— А у вас есть паспорт? — часто спрашивали меня.

— Откуда? Я прямо из плена.

— А я — с волчьим! Бежал из России после пятого года, имея честь принадлежать к партии эсеров.

— Которые тут без паспорта, лучше не стойте.

— А что? Вешать станут?

— Лучше уж без штанов, но с паспортом, а всех

без «папира» сразу в Иностранский легион — и прощай, молодость!

— Да, в легионе забьют... как собаку. Пронеси господи. Что угодно, только б не таскать красный аксельбант.

— А я вот матрос с броненосца «Потемкин»! Желая вернуться, чтобы верой и правдой... как положено русскому человеку.

— Вернись. Там тебя сразу на парашу посадят.

— А вы, сударь, кто будете? Эсер? Эсдек?

— Я бедный еврей, спасался из Кишинева... от погрома.

— Так спасайся и дальше. Тебе-то чего от России?

— Желая служить в русской армии.

— А-а-а... тогда стой. Дождешься!

Епимах наслушался подобных речей и заскучал:

— Эх, легко человека оторвать от родины, зато вернуться под родимую крышу — так семи потов не хватит. Будь я дома, в шинке бы опрокинул сразу косушку, чтобы стоять веселее...

Связи с Россией были прерваны фронтами. В очереди часто поминали новорожденный Романов-на-Мурмане (будущий Мурманск), куда можно попасть лишь морским путем с помощью англичан. Мне надоело играть роль беглого солдата, я пробился к воротам посольства и тоном приказа велел швейцару:

— Доложи его сиятельству, что в очереди желающих видеть его находится коллега по работе в Генеральном штабе. Так и доложи. Граф Игнатъев поймет, о ком идет речь.

Корпоративная солидарность генштабистов четко сработала, и я был представлен Игнатъеву, которому назвал свое подлинное имя. Алексей Алексеевич указал рукою на кресло:

— Не ожидал! Итак, слушаю вас.

— Я был начальником разведки при штабе генерала Самсонова, пленен как рядовой солдат, и следовательно, моя роль в армии Самсонова осталась для немцев загадкой.

— Желаете вернуться домой?

— Нет. Я желал бы, чтобы вы доложили в Генштаб о моем появлении в Париже, и я не откажусь исполнить новые поручения Генштаба, ежели таковые последуют...

Игнатъев прошелся по кабинету. Потом выдвинул ящик стола, издала перебросил мне на колени пачку франков.

— Это вам, чтобы вы обрели божеский вид, — сказал он. — Вы извещены, что погубило армию Самсонова?

— Тут немало причин...

— Но главная в том, что немцы легко прочитывали все ваши буквенные шифры по радио. Слава богу, русский дипломатический код, в отличие от военного, не поддается расшифровке, и я сегодня же извещу Петербург о вашем появлении...

В облаках над Парижем медленно плавала «колбаса» германского цеппелина, с верхней площадки Эйфелевой башни по дирижаблю строчили гарнизон-

ные пулеметы. Я сказал Игнатъеву, что моим попутчиком в скитаниях был вахмистр Епимах Годючий, который достоин того, чтобы по возвращении на родину получить отпуск, ибо он сильно тоскует по жене и детям. Игнатъев обещал мне об этом позаботиться. Я вышел от графа обнадеженный, снова напряженный в чайнии новых событий. В хвосте длинной очереди отыскал Епимаха Годючего, который, как и все, стоял задрал голову, наблюдая за полетом цеппелина, бросавшего на крыши Парижа мелентовые (зажигательные) бомбы.

— Пойдем, — вытащил я его из очереди. — Я все уже сделал. Будь спокоен. Через месяц ты увидишь семью...

Я приделал сам, нарядил в приличный костюм и Епимаха, который пожелал купить жене зонтик. Я ни в чем ему не отказывал. Мы с ним как следует пообедали в хорошем ресторане. Пришло время прощаться, и мне стало грустно... Я сказал:

— Епимах Иваныч, я не всегда бывал вежлив с тобою, за что и приношу свои извинения. Но ты меня тоже не раз материл во всю ивановскую... Никакой я не вор и даже не солдат, а офицер Генерального штаба. Что я мог для тебя сделать, я все сделал. Граф Игнатъев не сегодня, так завтра приготовит для тебя нужные документы, и, вернувшись в Россию, можешь ехать к себе на Мелитопольщину, чтобы увидеть своих деток. А в конце всей этой истории давай, мой милый, поцелуемся...

Мы расцеловались. Епимах заплакал. Я тоже пролезился.

Очевидно, в Генеральном штабе на мне давно поставили жирный крест, как на покойнике, и там, на берегах Невы (где гордый Санкт-Петербург превратился в обыденный Петроград), долго не знали, на каком масле меня лучше изжарить.

— Наберитесь терпения, — утешал меня Игнатъев. — Потерять офицера Генерального штаба равносильно тому, что спилить цветущее дерево. Пока новое дерево не станет плодоносить, пока еще генштабист обретет опыт работы... ждите! Так что не волнуйтесь, Генштаб вас никогда не забудет.

Но ожидание затянулось. Епимах, наверное, уже плыл к родным берегам, а я все еще пребывал в неведении своей судьбы. В военной миссии русского посольства я нарочно ни с кем не общался, а граф Игнатъев тоже не афишировал мою причастность к секретной кухне, умышленно не давая поводов посторонним знать обо мне больше того, что можно знать.

В томительном ожидании решения Генштаба, которое станет для меня обязательным, я, чтобы не терять времени даром, проникался переменами в европейской политике. Всех тогда волновала позиция Италии, и тогда же я впервые услышал это имя — Бенито Муссолини. В ту пору он, левый социалист, редактор рабочей газеты «Аванти!», вдруг круто переменял фронт, начиная ратовать за выступление Италии на стороне Антанты. Итальянцы в недоумении спрашивали: «Chi paga?» (Кто платит?)

Платила, конечно, Антанта, которой было выгодно, чтобы Италия выступила против своих прежних союзников — Австро-Венгрии и Германии. Но, помимо власти и денег, Муссолини уже тогда снедала жажда величия. Будущий дуче провозгласил, что война ускорит победу социализма в стране нищих, которые радуются даже горстке горячих макарон. Сам талантливый журналист, Муссолини живо перетянул на свою сторону и людей из литературного мира. Его глашатаем сделался известный поэт-футурист Марио Маринетти, воспевавший отсутствие морали и разрушение музеев, который — еще в Москве! — пьянел от трехчасовых речей и трезвел от трех литров вина. Не менее знаменитым был поэт-декадент Габриеле Д'Аннунцио, остроносый карлик, влюбленный в нашу балерину Иду Рубинштейн; иногда я встречал Д'Аннунцио в ресторанах Парижа, окруженного сомнительными женщинами типа «вамп» с неестественно алыми губами. Мне он казался торжествующим тунеядцем, которого, мягко говоря, «лансировали» (то есть содержали) эти странные дамы. Но едва раздался призыв Муссолини к войне, как этот гений восторженно и, оставив Париж, ринулся в Италию, призывая народ к былому «величию Римской империи»; вот что он тогда возвещал своим «макаронникам»:

— Довольно Италии быть складом древностей для заезжих ротозеев или солнечным пляжем для новобранцев, где они проводят медовый месяц. Мы безжалостно сорвем с Мадонны золотые пышные ризы, чтобы облачить ее в броню твердых панцирей...

Примерно так — уже тогда! — исподволь вызревал фашизм с диктатурой дуче, но я, как и большинство европейцев, еще не понимал имперских амбиций Рима, раскладывая события по собственным полочкам. Меня, русского офицера, вполне устраивал воинственный дух Италии, ибо я учитывал ее военную помощь Сербии и Черногории, тем более надежной, что итальянский король Виктор Эммануил III был женат на дочери черногорского короля Николы — княжне Елене, получившей воспитание в нашем Смольном институте. Весной 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. В эти же дни состоялась моя встреча с графом А. А. Игнатьевым; по выражению его лица я понял, что вопрос обо мне в Генеральном штабе решен.

— Счастлив поздравить вас с присвоением вам высокого чина подполковника русской армии, — сказал Алексей Алексеевич.

— Простите, — обомлел я, — но я ведь уже давно в этом чине, а теперь не пойму — повысили меня или разжаловали?

— Очевидно, ошибка, — искренне огорчился Игнатьев. — Сами знаете, что наши питерские бюрократы, какое ни дай им дело, все изгадят. Вы уж ради бога меня извините.

— Да вы не виноваты, ваше сиятельство. Впрочем, в любом чине я желаю знать, какие поручения на меня возложены...

Игнатьев ознакомил меня с шифровкой: мне приказывали состоять при сербской армии, державшей

фронт в долине реки Дрина, войти в доверие сербского командования, дабы информировать Ставку о подлинном положении дел на Балканах.

— Но там же полковник Артамонов, — напомнил я.

— Артамонов, к сожалению, слишком подпал под влияние двора Александра Карагеоргиевича и, кажется, слишком опутан побочными влияниями сербской разведки... Вы меня поняли?

— Так точно, ваше сиятельство. Понял.

— Не мне учить вас, — продолжал Игнатьев. — Балканы вы знаете лучше меня, парижанина. Но хотел бы предупредить: в рядах сербской армии сейчас геройски сражается батальон русских студентов-добровольцев, там же работает отряд наших врачей и сестер милосердия. Россия уже отдала Сербии сто пятьдесят тысяч винтовок, хотя... Хотя нам самим не хватало оружия. Свой путь в Сербию вы проделаете через Италию, генштаб которой «Чифрарио Россо» уже предупрежден о вашем появлении...

На всякий случай Игнатьев предложил мне «пуговицу», которую в русской агентуре было принято носить пришитой к одежде — как опознавательный знак, чтобы в критические моменты свой узнал своего. Но я отказался:

— Уже столько наших людей разоблачены и повешены из-за этих пуговиц, так что лучше не рисковать...

Перед самым моим отъездом Игнатьев известил меня, что Генштаб исправил свою ошибку, и граф, открыв бутылку с вином, поздравил меня с чином полковника, пошутив при этом:

— Теперь-то вы имеете право носить галоши...

(В русской армии офицеры могли появляться в галошах на улице не ранее, нежели они дослужатся до полковника.) Судьба надолго разлучила меня с Игнатьевым, я встретился с ним позже, когда он, уже генерал Советской Армии, работал в Воениздате. При встречах со мною он всегда заманивал меня в улобок:

— Сознайтесь, как на духу, что пишете мемуары?

— Упаси меня бог! — неизменно отвечал я.

— Напрасно. А то бы мы их напечатали.

— Сомневаюсь. Еще не пришло время как следует понимать меня, ибо я принадлежу одновременно и к тем, что давно лежат в могилах, и даже к тем, которые еще не родились...

Итальянцы начали войну с того, что в поездах, идущих из Франции, гасили по ночам свет, а днем занавешивали окна черными шторами... Зачем? Я надеялся, что меня перебросят в бухту Катарро морем, но этому мешала блокада кораблей австрийского флота. «Чифрарио Россо» доверило мою судьбу вездесущим англичанам, которые уже завели в Италию аэродромы с отрядами своих аэропланов. Я не возражал, чтобы меня доставили в долину Дрины по воздуху, но британский майор Диксон почему-то воспринял мои слова как веселую шутку:

— Интересно, как мы вылетим обратно в Италию, если возле Дрины нет ни одного аэродрома. У нас

отличный способ доставки людей с помощью надежного парашюта системы Жюкмесса.

При всем моем уважении к загадочному Жюкмессу я ответил, что все парашюты надежны, но я еще ни разу не слышал, чтобы парашютисты кончали свою жизнь в домашней постели...

— Нет уж, господин майор, я совсем не намерен собирать свои кости, дабы потом составить из них свой скелет...

Тут англичане дружно заговорили, что знают русских за самых отчаянных храбрецов, которым море по колено, им даже странно встретить русского офицера, который не горит желанием испытать на себе достоинства нового парашюта.

— Мы же деловые люди, — сказал майор Диксон, — и еще ни одного человека не сбросили на парашюте, предварительно не обеспечив его бутылкой отличного виски...

Меня задело слова англичан, заподозривших меня в трусости, и, выразив желание прыгать даже без парашюта, я был тут же снабжен большой плоской бутылкой с крепким бренди.

— А где этот зонтик, на котором я должен спускаться?

Мне показали фотографию какого-то ненормального типа, который с крыла самолета кидался вниз головой на землю, явно желая доказать, как удобнее кончать самоубийством.

— Видите, как все просто? Но у нас система более надежная, и вам предлагается осушить бутылку до дна, а все остальное мы берем на себя... Но учтите, — напомнил Диксон, — парашют стоит очень дорого, и потому стоимость его мы вынуждены затребовать к оплате вашего посольства в Париже.

Про себя я подумал, что англичане настоящие джентльмены, ибо они благородно не высчитывают стоимость парашюта из моего жалованья. На спину мне укрепили громоздкий алюминиевый цилиндр, вроде большого мусорного ведра, которое мешало мне втиснуться в гондолу, укрепленную под кабиною самолета. Всю дорогу до цели я осужден был лежать спрессованным, как жалкая килька в ревельской консервной банке. Диксон сам же распечатал для меня бутылку, настоятельно советуя начинать пить сразу же, едва самолет оторвется от земли:

— Не бойтесь. Парашют раскроется сам после того, как вы оторветесь от нас на двести метров. Сигналом для падения будет моя команда из кабины: «Дружно идем к победе!»

Это был девиз коалиции стран «сердечного согласия».

Я несколько часов лежал в гондоле, не видя земли и моря, опустошая бутылку. При этом я молил бога, чтобы меня не сбросили на высоте ниже 200 метров, иначе мое «ведро» сработает уже на земле, и я никогда не увижу, как действует хваленая система Жюкмесса, чтоб ему ни дна ни покрывки...

Сверху — из кабины — раздался голос майора Диксона:

— У вас осталось что-либо в бутылке?

— На один или на два глотка... А что?

— Допивайте скорее. Мы приближаемся...

Я отпихнул пустую бутылку в угол гондолы, чтобы она не мешала мне, и в тот же момент услышал призыв:

— Дружно идем к победе!..

Далее случилось то, чего я никак не ожидал: гондола сама раскрылась подо мною, как половинки яичной скорлупы, я закувыркался в воздухе с громадным ведром на спине. Потом меня крепко вздернуло — парашют раскрылся. В этот же момент все содержимое бутылки выплеснулось из меня, словно из наклоненного кувшина, и смею заверить читателя, что я приземлился на родине своих предков лишенный даже капельки алкоголя.

2. ПЛАМЯ НАД БАЛКАНАМИ

Считаю нужным обратиться назад, дабы читатель лучше проникся недавней бедою Белграда, вынесшего первый удар австро-германской коалиции, когда в Петербурге растерянные дипломаты еще надеялись на мирное разрешение июльского кризиса...

Славный, многолетним опытом по уничтожению мух, император Франц Иосиф заранее обложил Белград пушками, обставил Дунай мониторами — и столица сербов рушилась под бомбами, сметало с домов крыши, горели театры и библиотека, жители вместе с кроватями падали в раскрытые провалы лестниц, трупы женщин провисали с балконов длинными волосами, которые факелами сгорали в пламени пожаров... Так начиналась трагедия многострадального города, так открылась для сербов эта война. Для кого-нибудь она и была захватнической, империалистической, но только не для южных славян, и сербы все — как один человек — встали под ружье в едином порыве. Не было квартала в Белграде, даже самого нищенского, куда бы «старый и добрый монарх» не швырял свои бомбы; из католических храмов Словении и Хорватии долетали голоса епископов, воссылавших молитвы, чтобы кара господня постигла всех сербов без исключения:

— Господи, уничтожь эту нацию убийц и насильников, а мы волею твоей пошлем всех сербов на виселицы...

Как бы отвечая своим убийцам, сербы — и стар и млад — провозглашали в храмах свои молитвы:

— Чужого не хотим, своего не отдадим! Верую во единого бога — русса, который победит шваба и прусса...

Венский генерал Поттиорек форсировал Дрину и Саву; правительство Пашича перебралось в Ниш, а командование сербской армией — в Крагуевац, поближе к арсеналам, в которых царила зловещая пустота. Воевода Радомир Путник признавал:

— Поклон России! Сама нуждаясь в оружии, она отдала нам полтораста тысяч винтовок, но от них уже ничего не осталось, а на каждое орудие имеем не более ста выстрелов в резерве...

Что там «чудо на Марне», если сербы устроили «чудо на Дрине»! Они так ударили по захватчикам,

что Потioreк бежал, а сербские солдаты вошли в пределы монархий Габсбургов, осыпаясь цветами своих сородичей. Черногорский король Никола тоже объявил войну Вене, но лезть в драку не спешил, ибо боялся, что Карагеоргиевичи — в случае победы — приберут Черногорию к своим рукам, а его самого спустят с Черной Горы вверх тормашками. Пока же хитрый Никола получал деньги из Петербурга, пересчитывая крепкую обувь, получаемую из Лондона, а Париж завалил его склады в Цетинье солдатским обмундированием. Никола имел свои планы: как бы ему — без лишнего шума, пока все заняты войною — оттяпать кусок земли от Албании.

— Если, — рассуждал он в своем конаке, — Карагеоргиевичи пекутся о создании «великой Сербии», то почему бы нам, черногорцам, не подумать о создании «великой Черногории»?

Потиорек сдавал сербам одну позицию за другой, он сбрасывал в ущелья свои пушки и безжалостно рассыпал по канавам запасы крупы — только бы скорей убежать. А русские моряки Дунайской флотилии, отражая атаки венских мониторов, слали сербам боеприпасы, выгружали на пристанях бурты зерна. Сербы сражались с отвагою античных воинов, и потому, когда армия нашего Брусилова громила австрийцев в Галиции, армия Габсбургов была скована на Балканах атаками сербов. Позор для мухобоя-императора был слишком велик. Потioreк надеялся, что учинит в Сербии обычную карательную экспедицию, перевешает непокорных, перепорет недовольных, а вместо этого пришлось заново формировать армию, разбежавшуюся по кустам, подвозить артиллерию, чтобы подавить сербов превосходством силы огня в 10—20 раз. Сербская армия была измотана уже до предела, когда Потioreк почти без боя вступил в Белград, где и возвестил о полном уничтожении сербской армии. Для союзной Германии этот вопрос был очень важен, ибо — через покоренную Сербию — Берлин желал устроить «военный и политический мост» для связи с союзной Турцией. Людендорф не считал, что с сербами все покончено, как заявлял Потioreк:

— Потioreк слишком разбежался, но австро-венгерские войска я уже не считаю полноценными для наступательных операций. Не лучше ли оставить сербов корчиться от ран и голода, а все боевые части Потioreка перебросить на русский фронт... именно против генерала Брусилова, который опасен для всех нас!

Ошибались многие. Не только враги, но даже друзья.

Русский посланник в Сербии, князь Григорий Трубецкой, предсказывал полный развал фронта. Он видел, что сербы истощены, дороги переполнены беженцами, женщины бросают свой скарб, чтобы нести раненых солдат, и потому с душевным надрывом князь сообщал в Петроград: «Переутомление физическое и нравственное после четырех месяцев непрерывной борьбы овладело сербскими войсками до такой степени, что в середине ноября (1914 года) катастрофа кажется мне неизбежной...»

Австрийская армия очень скоро превратилась в карательную. Виселицы не пустовали, а всех, кто еще смел называться сербом, беспощадно расстреливали. Американский корреспондент Шепперт спрашивал офицеров из штаба генерала Потioreка:

— Господа, зачем вы казните сербских женщин?

Австрийские офицеры это отрицали:

— Вы плохо осведомлены! Да, мы уничтожаем сербских собак-мужчин, но мы не трогаем сербских кошек-женщин...

Получив новую помощь от России и Франции, сербская армия неожиданно оправилась, воевода Путник подписал приказ.

— Лучше смерть, нежели стыд оккупации, — сказал он.

В канун 1915 года сербы снова перешли в наступление. За двенадцать дней свирепых боев сербы — в который раз! — снова наголову разбили войска Потioreка, от армии которого осталась едва ли половина того, что было. При развернутых знаменах победоносная армия Сербии вернулась в поверженный Белград, и над руинами славянской столицы вновь развернулось сербское знамя... В эти дни Потioreку доложили:

— Что делать? Наши солдаты ложатся на землю и не встают. А если их бить, они вскакивают и убегают в тыл...

А на что тогда пушки? Потioreк распорядился:

— Все отступающие полки расстреливать из орудий тяжелой артиллерии. Если они боялись умереть от сербской пули, так пусть их разнесут свои же крупнокалиберные снаряды...

Вена погрузилась в траурное уныние. «Старый и добрый монарх» шлепнул на стене кабинета очередную муху, когда ему доложили о разгроме армии на Балканах. Английская газета «Морнинг пост» сообщила, что Франц Иосиф при этом известии «склонился над письменным столом и горько заплакал...»

Ну, так ему и надо!

Я попал в Сербию, когда линия фронта на Дрине стабилизировалась, шла позиционная война, сдобренная лихостью партизанщины. Сербия снова была очищена от австрийцев, теперь сами голодные, сербы не знали, чем прокормить многотысячные оравы пленных. Я видел, как перегоняли табуны трофейных лошадей, выхолощенных на конских заводах Венгрии, сербские солдаты делили между полками трофейные пушки (без снарядов) и пулеметы (без патронов), а знамена дивизий армии Потioreка отдавали бедным — на тряпки. Полю мыть, что ли?..

Однако радоваться было рано. Перейдя к обороне, австрийская армия укреплялась за счет свежих германских дивизий генерала Макензена, а сербское воинство, обескровленное в боях, едва насчитывало сто тысяч штыков. Сама же идея «великой Сербии» тоже давала трещины, словно корабль, выброшенный бурей на рифы и осужденный развалиться на куски. Я сам не раз слышал, как говорили выслушые сербские ветераны:

— Великая Сербия нужна королям, но пусть луч-

ше возникнет ЮГОСЛАВИЯ, страна южных славян, чтобы серб с хорватом, а словенец с македонцем не кидались один на другого с ножами...

Не ясно было еще положение Болгарии, хотя поезда из Одессы по-прежнему ходили в Софию строго по расписанию, а от Софии до греческих Салоник, как в мирные дни, мчались комфортабельные вагоны международных экспрессов. Но полковник Артамонов, с которым мы встретились в Крагуеваце, сказал, что верить в нейтралитет Болгарии никак нельзя, и обругал царя Болгарии:

Фердинандишко, собачий сын, не сегодня так завтра продаст всех «братушек» «Василию Федоровичу» из Берлина, и тогда на Балканах начнется такая заваруха — хоть беги...

Я заметил в Артамонове перемену. Свои прежние симпатии к Апису он перенес на королевича Александра. Сам же Александр, огрубевший от загара, отнесся ко мне с наигранным радушием. Королевич даже обнял меня, рекомендуя мою персону всем офицерам штаба воеводы Путника — в таких словах:

— Господа, вот этот человек тратил на меня в Петербурге карманные деньги, чтобы угостить меня мороженым с вафлями... Мы вместе постигали уроки правоведения на Фонтанке!

Уже извещенный о перипетиях моей судьбы, которая из лесов Пруссии привела меня в лагерь Гальбе, а теперь снова воскрешала меня на высотах Балкан, королевич осведомился, кто, по моему мнению, самый даровитый из немецких генералов:

— Гинденбург? Или все-таки Людендорф?

— Макс Гоффман, — отвечал я.

— А что вы знаете об Августе Макензене, который начинает подпирать Потioreка с тыла? Это правда, что он был адъютантом самого Шлифена и потому нам следует его бояться?

— Бояться не надо, ибо наш генерал Куропаткин тоже ведь был адъютантом великого Скобелева, но страха японцам не внушал... Ученик не всегда превосходит своего учителя!

Обычный разговор, ни к чему не обязывающий. Но для себя я отметил подобострастие Артамонова и заискивающий тон речей королевича, который не постыдился помянуть даже порцию мороженого, купленного на мои копейки. Александр обращался ко мне в таком тоне, словно вдруг пожелал реставрировать нашу детскую дружбу. Невольно думалось: к чему бы это? Мне, честно говоря, хотелось бы услышать вопрос королевича — ради чего я появился в Сербии, но он почему-то не спросил меня об этом, и тогда я сам сказал — как бы между прочим:

— Мне желательно видеть батальон русских добровольцев... молодежь! Студенты, еще не обстрелянные.

— Да, среди них немало потерь, — кивнул королевич...

Я приглядывался ко всему и увидел столько горя, столько я сострадал людям, что все мои прошлые испытания казались мне теперь сущей ерундой. Дороги Сербии были забиты умирающими беженцами; среди них, в таких же условиях, ничуть не отличаясь

от беженцев, без жалоб умирали тысячи раненых. Возле складов Красного Креста сербы уже не стояли в очереди, а — лежали, ибо стоять уже не было сил от истощения, и эта лежащая очередь полумертвецов терпеливо выжидала от общины Международного Милосердия кусок хлеба или обрывок бинта, чтобы перевязать свои раны. Сыпной тиф свободно гулял по дорогам, не щадя ни генералов, ни даже врачей. Все беженцы устремлялись в Ниш, где размещалось правительство Сербии, но именно в Нише люди здоровые становились больными.

Я вернулся в Крагуевац — повидать Аписа, который может сказать мне то, чего не знали другие. На окраине города был развернут в палатках госпиталь русских врачей, приехавших в Сербию от имени Славянского Общества. Меня встретил хирург Николай Иванович Сычев, плотный здоровяк, который еще издали по какому-то наитию сразу определил во мне русского.

— Вы по какой части? Из Москвы или из Питера? Каким чертом занесло вас сюда? — засыпал он меня вопросами.

Я показал доктору на тихо плывущие облака:

— Свалился прямо отсюда... совсем недавно.

Сычев вдруг проявил сильное волнение:

— Если так, то где же ваш парашют?

— Удивлен, что вы о нем спрашиваете. Парашют отдал местным крестьянам. Наверное, сгодится на рубахи.

— С ума вы сошли! — закричал хирург. — У нас давно идут комки пакли вместо ватных тампонов, а из вашего парашюта, знаете ли, столько бинтов мы смогли бы нарезать?

— Извините. Не догадался. Да и откуда мне знать о вашей нужде в перевязочных средствах. Неужели все так плохо?

Сычев злобно растоптал каблуком окуроч, прислушался, как заливается криком раненый на операционном столе:

— Без наркоза! А вы и в самом деле свалились недавно?

— Да, прямиком из Италии.

— Ох, не верят сербы в этого союзника!

— А почему, как вы думаете, доктор?

— Бояться, ибо у наследников прегордого Рима еще не пропал давний зуд к величию. То им подавай Сомали, то Абиссинию, то Ливию, а теперь не откажутся и от Далматинского побережья. И вот что самое удивительное: чем больше бьют макаронников, тем сильнее растут их претензии... Пойду! — заключил Сычев. — А то, чувствую, мой ассистент совсем зарезал бедного серба... Слышите, как надрывается? Ну, а где мы возьмем наркоз?

Маленькая доля статистики, думаю, не помешает: к лету 1915 года в Сербии — от тифа и голода — умерли около 130 000 человек. Это — не считая тех, что убиты на фронте.

Апис оставался виртуозом в сложном искусстве подавления чужой психики, а свои инквизиторские приемы доводил до совершенства. Едва я попал в

его кабинет, как сразу же — от самых дверей! — уперся животом в ребро стола, за которым восседал сам Апис, все такой же могучий, как мифический бык, и черный от загара, словно дьявол после жаркой работы в адском пекле.

— Не испугался, друже? — спросил он меня.

— Нет.

— Молодец, если так... Любой австрийский шпион, от самых дверей напоровшись на меня, сразу шалает, ибо люди привыкли видеть начальство в глубине кабинета. А тут...

На полу кабинета — вниз лицом — валялся мертвец.

— Он еще нужен? — спросил я о нем.

— Держу эту пададь для опознания, — кратко пояснил Апис. — Какой-то паршивый македонец служил в нашей армии, а продавал нас турецкой разведке. Садись.

— Куда?

— Прямо на стол. Поговорим, друже... Всем шпионам, утверждающим, что они «ничего не знают», кажется, что этим они спасают себе жизнь. Но жизнь они могут спасти только в том случае, если они что-то знают и об этом буду знать я!

Мертвый македонец не мешал нам говорить откровенно, наша беседа напоминала разговор старых друзей, которые повидались после долгой разлуки. Та зловещая ночь в королевском конаке, когда вылетали в окна трупы короля и королевы Драги, эта историческая ночь связывала меня и Аписа страшным единством. С крайним раздражением Апис признал, что его разведка, отлично налаженная до войны, стала давать перебой во время войны.

Помнится, я ответил Апису примерно так:

— Чем больше расширяется театр войны, тем шире раскрываются глаза профессионалов разведки, и не только у нас, но и во всех враждующих странах разведка ослепла, а сами разведчики зачастую выглядят как прожженные авантюристы...

— Где у вас самое слабое звено? — спросил Апис.

— Кажется, в Варшавском округе.

— А где самое сильное?

— Точно не могу ответить. Но, насколько я извещен в этом вопросе, мы стали сильны в лабораториях заводов Круппа, там работают русские генштабисты самого высокого класса.

— Ты хоть одного из них встретил в Эссене?

— Если бы и встретил, то я бы отвернулся...

Неожиданным был следующий вопрос Аписа:

— Предупреждал ли тебя о чем-либо Артамонов?

— Случая для серьезного разговора еще не возникло.

— Но скоро возникнет, — строго предупредил Апис. — А как прошла встреча с королевичем Александром?

— Он был крайне любезен...

Апис надолго замолк. Мы сидели на разных концах стола, оглядывая один другого с непонятным для меня напряжением. Затем полковник Апис сказал,

что в сербской армии стали таинственно исчезать люди, которые слишком много знали:

— И я думаю, что враги «Черной руки» связаны даже не с Николой Пашичем, их опекает кто-то по-выше... более хитрый и более изворотливый, имеющий право единолично принимать самые крутые решения... В меня однажды уже стреляли, — тихо добавил Апис. — Советую и тебе, друже, быть внимательнее, не обольщаясь любезностями королей, королев и королевичей.

Мне было нелегко подобрать слова для ответа:

— Война... к чему нам лишние страхи?

— Лишние? — внезапно выкрикнул Апис. — Так смотри...

Он извлек из-под стола бумажный сверток круглой формы, и сначала мне показалось, что в этом ворохе старых белградских газет Апис бережет голову деревенского сыра.

— Узнаешь? — вдруг спросил он меня.

Посреди письменного стола, как раз между нами, он водрузил голову майора Войя Танкосича, своего сподвижника по всяким тайным делам — правым и неправым, светлым и темным. Отчаянный вождь сербских партизан-комитатджей, так много сделавший для свободы южных славян, теперь слепо глядел на меня потухшими, словно выпитыми глазами мертвеца.

— Откуда его голова? — спросил я.

— Могилу Танкосича осквернили австрияки, вышвырнув его из гроба, чтобы опозорить вождя комитатджей. Вот здесь, — показал Апис, вращая голову, словно драгоценную вазу, — именно здесь след от пули, попавшей ему в затылок... Да, в затылок, когда Танкосич ночевал в лесу. В лоб — это еще понятно, но пуля в затылке всегда подозрительна. Потому и говорю тебе — берегись... особенно по ночам! Железные пальцы нашей «Черной руки», собранные в мощный кулак, медленно разжимаются...

В эту ночь мне совсем не хотелось возвращаться в Ниш, переполненный тифозной заразой, не хотелось вообще видеть крышу над головой. Я нарочно выехал на бивуак батальона русских студентов-добровольцев. В основном здесь собрались москвичи, будущие филологи, историки, химики и физики, инженеры и писатели, готовые жертвовать своим будущим ради будущего страны, которой еще не было на географических картах. В густой ночи, пропитанной ароматами трав и пронизанной звучанием цикад, ярко и жгуче полыхал костер, по кругу ходил кувшин с местной ракией, и русские студенты, обняв друг друга за плечи, как побратимы-комитатджи, мерно покачивались в такт песни:

Быстры, как волны, дни нашей жизни.

Что час, то короче наш жизненный путь.

Налей же, товарищ, заздравную чашу.

Кто знает, что будет у нас впереди?..

Впереди всех их ожидала неминуемая смерть! ...Апис предупредил меня, что «Черная рука», ослабев, уже разжимается, но Апис еще не сказал мне, что сейчас опасно для всех нас крепчает другая рука — «Белая».

3. БЕЛАЯ РУКА

Женщины рожают детей не для того, чтобы поедать их, как бесплатное мясо. Однако еще со времен Марата и Робеспьера слишком памятны слова вопроса, обращенного в будущее: «Неужели революция — это гидра, пожирающая собственных детей?» На кошмарном фоне массовых потрясений балканских народов разворачивались и отдельные драмы, где добро совокуплялось со злом. Свержение королевской четы Обреновичей в 1903 году сербы считали «революцией», но в каждой революции заводятся гнилостные черви, и, сначала невидимые, тихо ползающие в погребках высшей власти, для них еще не доступной, они постепенно разрастаются в жирных дремучих гадов, способных убийственно жалить. Так бывает, что мелкая тля, рожденная революцией, разбухает до размеров наглой рептилии, чтобы затем убивать тех, кто революцию делал, и втайне она ликует, почти со сладострастием наслаждаясь бессилием своих жертв...

В числе убийц династии Обреновичей был и мало заметный поручик Петар Живкович¹, который, будучи одним из пальцев «Черной руки», сумел полюбить Александру, сделавшись при нем «ордонанс-офицером» королевской гвардии. (Советский историк Ю. А. Писарев не щадит этого мерзавца: «Это был прожженный делец, не уступавший в искусстве интриги самому Александру. У него не было ничего святого, ему были чужды такие понятия, как честь, чувство долга и т. п. Сблизившись с Александром, он предал своих прежних соратников — Дмитриевича-Аписа и других участников заговора 1903 года... Александру он, Живкович, внушал мысль об установлении единоличной диктатуры.») Конечно, прежде всего им мешал Апис...

Теперь-то я понимаю, что им мешал даже я!

Виктор Алексеевич Артамонов имел с Живковичем какие-то потаенные шашни, но со мною военный аташе сделался осторожным; его поведение я мог объяснять лишь тем, что он подозревает во мне негласного ревизора, а может, и хитрого карьериста, который желает спихнуть его, чтобы занять его место. В беседах со мною аташе предпочитал делать намеки, но открыто не выражал своих мыслей. Между нами возникла странная игра, схожая с шахматной, и мне совсем не хотелось бы видеть в Артамонове соперника, обдумывающего коварную комбинацию, чтобы загнать меня в угол доски. «Очевидно, — размышлял я, — партия будет разыграна кем-то другим».

— Но знать бы мне — кем? — не раз спрашивал я себя...

Никола Пашич был человеком, желающим знать

¹ Петар Живкович (1879—1947) — при короле Александре стал премьер-министром, министром внутренних дел и военным министром, проводя политику репрессий в борьбе с народом. В марте 1941 года возглавил государственный переворот, а в апреле того же года, при нападении фашистской Германии, бежал из страны и умер в Париже.

все, я, пожалуй, он знал все, что ему требовалось. Но выходить на контакт с ворчливым и хитрым стариком не входило в мои планы. Я вдруг ощутил себя в нежелательной изоляции, и единственное, что удерживало меня на поверхности событий, — это проведенная связь с Аписом и его подпольем, доставляющая немало тревог, но зато дающая мне здоровое ощущение силы и правоты в разрешении общеславянских задач. Кого еще я мог бы назвать своим конфидентом? Старого короля Петра? Но король совсем одряхлел и уже заговаривался. Александра? Но делаться королевским сикофантом я, офицер российско-го Генштаба, не имел морального права, да и не придавал значения тем шаблонным любезностям, что сыплются, словно карнавальные конфетти, с высоты престолов. В ту пору мне казалось, что еще нет особых причин для беспокойства, ибо сам воевода Радомир Путник горою стоял за Аписа.

Доктор Сычев — совсем нечаянно — надоумил меня:

— Какой раз мне велят осматривать воеводу Путника, заведомо предупреждая, что он болен, а я как врач должен лишь подтвердить его непригодность по болезни.

— И вы?

— А что я? Воевода здоров как бык. Но моим диагнозом, кажется, не совсем-то довольны. Требуют еще раз посмотреть Путника, вот я и смотрю... самому стыдно!

Невольно закралось подозрение: Путника хотят видеть больным и, оставив от службы, лишить Аписа поддержки воеводы. От кого же исходило желание устранить генералиссимуса, чтобы он не мешал удалению Аписа? Вопрос темный, как темна и воровская ночь, созданная для взлома с убийством. Но мрак этой ночи вдруг рассеялся, освещенный явлением Петара Живковича, внешне очень доброжелательного. Однако «ордонанс-офицер» желал вести разговор при свидетелях, и при нем, словно телохранитель, состоял поручик Коста Печанац¹, обвешанный оружием с такой же щедростью, с какой вульгарная шлюха обвешивает себя ожерельями, браслетами, медальонами и серьгами.

— Разговор серьезный, — предупредил Живкович, — я и не начинал бы его, если бы не желание одного высокого лица.

— Королевича Александра? — сразу расшифровал я.

— Допустим, — нехотя согласился Живкович.

Он сказал: поражения на фронте, хаос в тылах, общий голод, повальные эпидемии, недовольство в армии, кризис в министерских верхах — все это никак не укрепляет власть молодого монарха, желающего сплотить нацию узами своей любви.

— Согласен, — сказал я, чтобы не сказать больше.

— В нашем всеобщем развале, — продолжал

¹ Коста Печанац в годы второй мировой войны сотрудничал с гитлеровцами, был агентом гестапо на Балканах, руководил отрядами фашистских «четников», боровшихся с народной армией маршала Тито.

Живкович, — усиливается влияние «Черной руки», которая вторгается не только в дела войны, но и в сферы той политики, где давно воцарилась народная мудрость Николы Пашича, признанная всем миром. Коста, не дергайся, — неожиданно закончил речь Живкович.

Замечание было правильное, ибо при каждом движении Косты Печанаца на его поясе стучались четыре бомбы.

— Продолжайте, — сказал я, экономя слова.

— Рука-то белая, только перчатка черная, — вдруг произнес Печанац. — Я сам подчинен полковнику Апису, но...

Продолжения фразы не последовало. Печанац вынул расческу и стал располагать свои волосы на идеальный прямой пробор, будто от состояния его шевелюры зависело очень многое.

— Но и черная рука может стать чистой, если поверх нее натянуть белую перчатку, — заговорил Живкович. Мне эта игра в кошки-мышки надоела, я просил выражаться точнее. — Точнее, — ответил Живкович, — эта «Черная рука» стала сильно мешать его высочеству Александру. Если его отец еще терпел выходки Аписа, то Александр Карагеоргиевич готов ампутировать всю «Черную руку», чтобы гангрена не распространялась далее... Сейчас на карту поставлено все!

— И даже наши жизни, не так ли? — спросил я...

Все ясно, как божий день. Петар Живкович сначала прощупывал меня, словно мясник агнца перед закланием, а затем ринулся на меня в атаку, чтобы оторвать меня от Аписа. Для этого он выложил передо мною такого туза, которого нечем крыть, ибо в моей колоде не было козырей.

— Ты, друже, до сих пор не сомневаешься, что русского посла Гартвига отравил венский посол барон Гизль?

— В этом уверены даже в Петербурге, — отвечал я.

— Напрасно! — съязвил Живкович. — Гартвига отравил Апис, ибо Гартвиг вступался за авторитет премьера Николы Пашича.

Если бы это было правдой, я, наверное, должен бы свалиться в глубоком обмороке. Но я не поверил Живковичу, и он — хитрая бестия! — сразу ощутил мое недоверие. Тогда, чтобы придать своим словам большую достоверность, он таинственно прошептал мне на ухо — будто по секрету от Печанаца:

— Да, это Апис отравил Гартвига. Но зато Апис отказался отравить королевича Георгия, хотя его смерть расчистила бы дорогу к престолу для Александра...

Нужны слова. Я решил отделаться шуткой:

— Вижу, что не все благополучно в королевстве Датском, — кажется, так говорил еще старина Гамлет?

— Среди сербов полно всяких Гамлетов, — отпрянул от меня Живкович, — и они еще ждут своего Шекспира.

— А может, и... прокурора, которого явно не хва-

тает, чтобы разобраться в ваших криминальных делах.

— Вот именно! — не растерялся Живкович. — Так давайте сообща отмоем свои руки, чтобы из черных они стали белыми...

Я предупредил Живковича, что обо всем слышанном вынужден поставить в известность не только Артамонова, но и русского посла — князя Григория Николаевича Трубецкого.

— Артамонов и так все знает, — проворчал Печанац, громко продув расческу от волос, застрявших между ее зубьями, — а посла в наши дела не впутывайте. Иначе кончится плохо...

Я понял, что эта угроза относилась лично ко мне.

Обещаю не утомлять читателя датами или топонимикой географии, стараясь донести до него лишь самую суть событий.

Даже на стенах домов Ниша были размалеваны броские надписи: «Vivent les allies!» (Да здравствуют союзники!), но союзники безнадежно застряли в Дарданеллах. Под Одессой срочно формировалась армия в сто тысяч штыков для отправки в Сербию, однако Румыния не пропускала наши войска через свои земли. На пристанях Дуная работали наши матросы, русские мастеровые возводили разрушенные мосты, а минные катера Черноморского флота спешно ставили мины в изгибах дунайских фарватеров.

Австрия сама уже не могла справиться с маленькой Сербией, и задушить ее взялись немцы во главе с Макензеном. В октябре 1915 года Белград снова погибал под фугасами, пять тысяч свежих крестов вписались в тогдашний некрополь столицы. Два дня шли уличные бои, заодно с сербами героически сражались за Белград русские матросы. Над Дунаем задувал ураганный ветер «кассава», разбрасывая немецкие паромы и пароходы, затем хлынули проливные дожди, дивизии Макензена форсировали Дунай и Саву — началось наступление противника, хорошо подготовленное. Никола Пашич издал старческий стон, умоляя Антанту о помощи, но лондонская «Дейли мейл» ответила ему передовицей с характерным названием: «У же поздно...»

Поздно! Макензен давил на Сербию с севера и запада, а с востока фронт Сербии был обнажен, и в эту «прореху» фронта «собачий сын» царь Фердинанд, продавший Болгарию немцам, бросил свои войска. Они сразу вломились на станцию города Вране, разбросали лопатами полотно, взорвали телеграф — отныне сербы лишились связи с Салониками, где союзники выстраивали новый фронт, дабы не пропустить Макензена в Турцию. Между армиями сербов и союзников «собачий сын» вбил крепкий клин.

В союзных штабах Антанты академически рассуждали:

— Сербия сама виновата! Будь сербы благоразумнее, они бы заранее уступили Македонию царю Фердинанду, а теперь... Теперь поздно! Пусть сербы бегут куда глаза глядят...

Правда, англичане и французы пытались вернуть станцию Вране, но были отброшены обратно в Сало-

ники, где маршировали под сводами триумфальной арки времен Марка Аврелия, прелестные гречанки дарили союзникам очаровательные улыбки, а заводы «Метакса» гнали для них превосходный коньяк. Черноморский флот держал давление в котлах, чтобы прийти на помощь. Петербург — устами Сазонова — взывал к странам Антанты:

— У нас собраны сто тысяч людей, но им не хватает винтовок. Дайте нам оружие, и мы вышвырнем немцев из Сербии, словно нашкодивших щенят... Только оружия! А кровь будет наша...

Радомир Путник принял решение, и оно было правильным, ибо оно было единственным, спасающим сербов от окружения:

— Будем отходить на Черногорию — через Албанию...

Из Ниша правительство перебралось в Кралево, за ним тронулся дипломатический корпус. Наступали осенние холода, послы и посланники раздавали беженцам пачки секретных архивов:

— Это вам для разведения костров... погрейтесь! Теперь от секретов политики одна польза — лишь бы горели пожарче...

Войска перемешались с беженцами, и часто солдат тащил на себе сундук с пожитками, а босая крестьянка несла на плече ружье. Пленные австрийцы брели по дорогам заодно с беженцами, проклиная свою судьбу — в один голос с сербами. Иные, обессилев, рыдали на обочинах, нищенски моля о подавании:

— Сербы! Я не хотел вам горя.. не виноват... меня послали! Поймите меня, простите. Хоть кто-нибудь... хл е ба!

Пашич распорядился отворить все тюрьмы, чтобы заключенные подбирали на дорогах умирающих, чтобы подсаживали на телеги оставших детей. Я застал доктора Сычева на окраине Кралево, где была слесарная мастерская. С помощью ассистентки Логиновой-Радецкой он что-то обтачивал на токарном станке. В суппорте станка вращалась обыкновенная вилка из мельхиора.

— Я еще не сошел с ума! — закричал он мне. — Но я скоро сойду с ума, ибо нет инструментов для операций... Видите, из вилки у меня получается великолепный скальпель!

Социал-демократ Данила Лаптевич, депутат народной Скупщины, писал, что особенно много беженцев было из Белграда и его окрестностей, бежавших от диких зверств, творимых солдатами Макензена: «Сейчас, когда неприятель наступает со всех сторон, бегство происходит днем и ночью, на лошадях, по железным дорогам, пешком. Многочисленные беженцы не имеют кровли над головой, никто не получает даже краюхи хлеба. Детишки, полуголые и босые, пропадают в холодные ночи. Все трактиры и погреба переполнены. Люди повсюду — за столами, на столах, под столами на полу, а некоторые научились спать стоя...»

Артамонава я встретил в пути лишь однажды.

— Видите, что творится? — показал он вдоль дороги. — Сахара славится своими песками, Россия сугробами снега, Карпаты ветрами, а Сербия грязью, какой нет нигде в мире... Что там люди? Вы посмотрите на

лошадей, тянувших пушки. Это же бесформенные груды липкой грязи, и даже сразу не разберешь, где тут лошадиная морда, а где ствол орудия...

На этом мы и расстались; по слухам, Артамонов примкнул к свите Александра и Пашича, которые в авангарде драпающей армии спешили к берегам Адриатического моря, итальянцы обещали прислать для них миноносец. Зато я повстречал безнадежно застрявшую в грязи коляску русского посла, князя Трубецкого, которого знал еще в Петербурге как сотрудника газеты «Русские Ведомости» (в неурожайные годы князь публиковал статьи о помощи голодающим). Сейчас он сидел на облучке, изо всех сил стараясь подражать залихватскому кучеру.

— Не удивляйтесь, полковник! Наверное, нечто подобное испытывали наши предки во времена нашествия Тамерлана... Вы случайно, — спросил князь, — не умеете ли материться?

— Умею, да только зачем вам это?

— Голубчик, поматеритесь, пожалуйста, как московский извозчик, чтобы мои пегасы воспрянули... Просто беда! Анатолий Дуров в цирке даже на кошках ездил, а мои клячи...

— Перестаньте, князь. Лучше сбросьте с коляски свой гигантский кофр с никому не нужными бумагами.

— Хороши бумаги! Тут миллионы лежат.

— Откуда? — удивился я.

— Русские люди по копеечке собирали, дабы помочь братьям-славянам¹, а вы говорите «бумаги».

Студенты-добровольцы приволокли пленного немца из дивизии Макензена, и меня, оборванного, грязного и голодного, больше всего удивило, что пленный был гладко выбрит.

— Допрашивать будете? — спросил студент-химик.

— Нет. И так все ясно. Обыщите его.

В ранце солдата обнаружили «железный паек» (в русской армии он назывался «неприкосновенным запасом»). В пайке были две банки мясных консервов и две банки консервов из овощей, две коробки пресных галет, пачка отличного кофе и фляжка со шнапсом; затем следовала всякая мелочь: спички, табак, катушка ниток с иголкой, бинты и сверток лейкопластыря. Но для меня, офицера разведки, интереснее всего оказалась найденная в кармане солдата свежая «Берлинер тагенблатт», в которой четко говорилось: «Было бы желательно, чтобы сербы опомнились уже сейчас и вовремя сообразили, что всякое сопротивление с их стороны БЕСПОЛЕЗНО...» Иначе говоря, в этих словах я сразу усмотрел намек на то, что Сербия еще может остаться целой, если она согласится на условия сепаратного мира.

Тут я взялся за «железный паек».

— Иди, — сказал я пленному немцу.

— Куда? — оторопел он, наблюдая за мной, мирно жующим.

— Проваливай ко всем чертям. А если еще раз по-

¹ Эти миллионы русских рублей, собранные в России от добровольных пожертвований, до сих пор хранятся в подвалах Народного банка Югославии как память о старой дружбе русского и сербского народов.

падешься, я повешу тебя на первом же гвозде, словно чумную крысу...

Потом я пригласил русских студентов разделить со мной трапезу. Странно, но я твердо запомнил их имена — Алеша Румянцев и Коля Колышкин, оба из Московского университета. Вскоре мне встретился доктор Сычев, сообщивший об их гибели.

— Королевич Александр принуждал меня лечить воеводу Путника, совершенно здорового, а теперь он и впрямь заболел. Но в госпиталь его не заманить. Путник решил разделить судьбу армии, и солдаты несут его на носилках...

Сербская армия отступала и дальше — по трупам!

4. ВЕСЬ НАРОД В ЭМИГРАЦИИ

Бывает ли так, чтобы весь народ эмигрировал?

Именно это и случилось с сербами...

Все, кто мог идти, те еще шли, а которые не могли идти, те умирали. Когда отступает целая армия или бегут от врага жители города — это еще можно представить, но когда весь народ покидает родину, чтобы не оставаться под пятою врагов, — это уже национальное бедствие, катастрофа.

Это попросту очень страшно...

Великий исход возглавлял престарелый король Петр Карагеоргиевич — с посохом в руке, обутый в опанки, набитые сеном, высоко поднявший воротник солдатской шинели. Он молчал и шел, даже не оглядываясь назад, равнодушно съедая то, что ему давали как милостьню, а если не давали, он ничего не просил, механически передвигая ноги, как заведенный истукан, аичего не видящий, ничего не желающий слышать. Многим казалось, что старый король превратился в тихо помещанного, до его сознания вряд ли уже доходит весь дичайший смысл трагического шествия множества тысяч людей, обреченных за ним следовать.

А за ним шли солдаты и чиновники, профессора и депутаты Скупщины, рабочие и министры, писатели и лесорубы, актрисы и монахи, педагоги и овцеводы, портнихи и гимназисты, шли иностранные дипломаты, с почетом аккредитованные при дворе короля, который двора уже не имел, а за их спинами — крики страданий, плач детей, стоны раненых, проклятья и ругань... Вся эта гигантская толпа (числом не менее *четверти миллиона*) поднималась все выше и выше — в нелюдимые ущелья Черногории, и люди еще не знали, что тысячи падут, не выдержав голода, стужи и крутизны на скалистых тропах...

Черногорский король Никола еще сидел на мешках с деньгами в своем Цетинье, как старый орел в неприступном гнезде на вершине скалы, а сербы стремились в Шкодэр, ближе к морю, где ожидалась помощь от итальянцев. Слухи, как и вши, заводятся в обстановке ужаса, и люди томилась слабой надеждой:

— Союзники не оставят... из Бриндизи уже идут пароходы с зерном, а русские завалят нас валенками и полушубками...

Надеялись на склады в Призрене, но их захватили болгары; с севера Черногорию обступали немецкие войска, и сербы, рассеянные ими, спасались высоко в

горах, где еще долго после войны пастухи находили скелеты, припавшие к ржавым винтовкам. Оставалась надежда на город Печ, где в хлевах — по слухам — полно всякой скотины, но скот уже выгнали в горы, животные погибли на вершинах гор от бескормицы и безводья, и мимо их замерзших туш солдаты на руках прокатывали в пропасть орудия. Декабрь обрушил на Черногорию морозные бураны, каких не помнили местные старожилы, и беженцы утопали в глубоких снегах, а многие так и оставались в сугробах, воздев над собою руки, как застывшие в трагической муке изваяния.

Немецкие корреспонденты, словно шакалы, шли по следам отступающего народа, интригуяще сообщая берлинским и венским читателям: «Кровь эрцгерцога Франца Фердинанда, мученически погибшего, будет смыта потоками сербской крови. Мы присутствуем при торжественном акте исторического возмездия... В канавках, вдоль дорог и на пустырях — всюду мы видим трупы, распростертые на земле в одеждах крестьян или солдат. Здесь же лежат скорченные фигуры женщин и детей. Были ли они убиты или сами погибли от голода и тифа? Наверное, они лежат здесь не первый день, так как их лица уже обезображены укусами диких хищников, а глаза давно выклеваны воронами».

Под навесом скалы я случайно увидел Сычева, который, чтобы не замерзнуть, сжигал книгу. Одна страница корчилась в пламени, быстро сгорая, но при свете ее доктор успевал прочитать вторую, после чего поджигал ее от первой, уже догорающей. Так страница за страницей: одна горит, другая читается.

— Вставайте! — велел я ему. — Не надейтесь, что одной книги вам хватит до утра. Вставайте и можете опереться на меня. Здесь недалеко черногорская деревня. Может, накормят...

Увы, в хижинах черногорцев, похожих на сакли наших кавказцев, было хоть шаром покати, а если что и оставалось, то никто не отдавал за сербские динары, уже обесцененные. Но я достал русский червонец, оживив взор старика-черногорца.

— Ты прав, отец, что Сербии больше не стало, — сказал я. — Но Россия непобедима, как и этот рубль. Дай нам кусок сыра, уступи до утра место на своих полатях...

Был уже конец декабря, когда беженцы из Сербии, вместе с остатками армии, перевалили Черную Гору, заметенную снегами, и, оставив после себя тысячи застывших трупов, вышли в жуткие теснины северной Албании, страны дикой и неприветливой, но зато нейтральной. В одном из домов Шкодера я застал королевича Александра, который давно покинул свою армию на произвол судьбы, считая ее обреченной (но вместе с армией оставил и своего отца). В горнице было тепло и чисто. Сытый албанский котище терся о ноги его королевского высочества. Не в меру услужливый Петар Живкович кулаками взбивал на постели пестрые подушки для ночлега, и без того пышные. Албанская «Шкодра» (она же итальянское «Скутари») почти граничила здесь с морем, здесь когда-то жили турецкие властелины, насыщая свои гаремы славянскими одалисками, а теперь на оскудевшем базаре

города дряхлые и ослепшие головорезы, дети и внуки турецких янычар, алчно торговали щепотками табаку для набивания трубки.

— Воевода Путник болен, — сразу сообщил мне Александр, — и потому, уважая его чин и былые заслуги, я удаляю воеводу в отставку. Дни черногорского короля Николы сочтены, с моря его «гнездо» обстреливают дальноточные пушки австрийских дредноутов. Но старый хитрец так удачно сосватал своих дочерей, что его всегда примут и в Риме и в Петербурге. А его сын Данила, женатый на мекленбургской принцессе, уже мотает деньги на лучших курортах Европы... кстати, в а ш и деньги!

Данила транжирил русские дотации, получаемые из России регулярно, словно чиновник жалованье. Я молча кивнул.

— Но принц Данила, — продолжал Александр, — уже предал великое славянское дело. Он ищет связи с Веноу, чтобы Черногория заключила с Австрией сепаратный мир, и, снова сидя на Черной Горе, они будут спокойно наблюдать, как в низинах немцы станут доколачивать нас — сербов...

Все было так. Но из сказанного я выделил самое главное, что касалось и меня лично: убирая с дороги воеводу Путника, королевич готовит падение Аписа, а премьер Пашич, увидев Аписа падающим, спихнет его в пропасть. Цетинье скоро взяли австрийцы, в подвалах королевского конака они обнаружили громадные завалы мешков с деньгами — вот куда ссыпал Никола «дотации» от русских царей. Мое молчание становилось уже неуместным, я должен был что-то сказать:

— Да, я знаю, что Франц Иосиф согласен на перемирие с Николой, но горные племена морачан, васоевичей и сами черногорцы еще не выпустили ружей из своих рук...

Но Черногория уже подписала акт о капитуляции.

В этом разговоре, который закончился деловитой репликой Живковича, что постель готова (а значит, мне следовало удалиться), осталось что-то недосказанное, и я решил выложить все начистоту, но не Артамонову, который сделался клеветом Карагеоргиевичей, а самому посланнику — князю Трубецкому. Выслушав от меня смысл прежней беседы с Петаром Живковичем, включая и явную клевету, возводимую им на Аписа, будто отравившего русского посла Гартвига, Григорий Николаевич на мой длительный монолог ответил своим монологом:

— Война не излечила болезнь Сербии, а лишь загнала ее в глубь государственного организма, где она и созревает, словно раковая опухоль. Ни молодой Александр, ни маститый Пашич не желают даже слышать о создании «Югославии», утешаясь мыслью о возрождении «Великой Сербии», чтобы подчинить себе всех балканских славян. Вообще-то, — вдруг сказал князь Трубецкой, — я не верю здесь никому — ни королевичу, ни министрам Пашича, ни вашему Апису. Не стоит забывать, что Сербия — классическая страна заговоров, а нравы времен Борджиа иногда воскресаю с кинжалом под плащом, повторяя историю...

— Вы имели честь беседовать с Пашичем? — спросил я.

— Да. Старик сказал, что, если союзники не окажут помощи, капитуляция Сербии неизбежна. Только в новогоднюю ночь от голода умерла рота сербских еолат... От голода! А эти проклятые итальянцы не дают кораблей для подвоза хлеба. Как будто в Европе все сговорились уморить народ Сербии...

Не только мне, а даже Пашичу хотелось верить, что в нейтральной Албании сербская армия оправится, беженцы опомнятся от пережитого. Однако сербам мешали сами албанцы, они не пускали больных к врачам, гнали солдат из своих пустующих казарм, а женщинам с детьми отказывали в приюте. Мало того, они убивали и грабили ослабевших людей, ни мольбы, ни слезы не трогали потомков безжалостных янычар. «Мы вас сюда не звали! — был один ответ. — Если вам здесь не нравится, так уберите кобылу под хвост...» Чужбина никак не может быть отчим домом, но земля Албании стала братской могилой для многих тысяч сербских семейств, — недаром же в памяти сербского народа пребывание в Скутари сохранилось навеки под именем «АЛБАНСКОЙ ГОЛГОФЫ». Англичане с французами давно обещали Пашичу насытить голодных, Италия бралась доставить провизию и медикаменты морем. Но все грузы так и остались валяться на причалах Бриндизи, ибо итальянские адмиралы страшались австрийского флота, дымившего в Триесте из труб могучих дредноутов. Франция, правда, дала Италии двенадцать миноносцев, но зато Англия, державшая на Мальте большую эскадру, не ударила палец о палец, совершенно равнодушная к делам погибающей Сербии.

— Мы люди простые, — рассудил Никола Пашич, — и питаемся соками народной мудрости, которая гласит издревле: если корыто не идет к свинье, свинья сама бежит к корыту.

На основании этого афоризма сербские изгои тронулись до порта Сан-Джованни-ди-Медуа, куда итальянцам легче доставить провизию. К сожалению, этот городишко с таким прелестным названием был не готов принять беженцев, которые остались под открытым небом, а пшеничная мука таилась в трюмах итальянского парохода. Впрочем, капитан-итальянец оказался умнее всех:

— Да берите сами, кому сколько нужно. Макароны у вас не получатся, но поджарить лепешку любая баба сумеет...

Вдруг появился английский миноносец, с завидной лихостью подхвативший с причала казну Карагеоргиевичей. Королевича Александра я застал за укладкой чемоданов. Тут я выслушал от него все-все, что было недосказано им ранее:

— Теперь, мой друг, сами видите, чего нам стоили тайные происки афериста Аписа. Это он, это его проклятая «Черная рука» сдавили горло нашей священной монархии. Теперь я разглядел его подлинное нутро — нутро анархиста, карбонария, плута и масона, желающего смерти всем венценосным особам Европы. Если бы не эта сволочь, разве бы я остался при своих чемоданах, вынужденный удирать и дальше... Но что-

бы разжать его «Черную руку», — быстро договорил королевич, — потребуется усилие «Белой руки», сцепленной в клятве перед престолом.

Все это Александр выпалил залпом, как давно продуманное, потом привлек меня к себе и поцеловал в лоб.

— Надеюсь, — сказал он тихо, — Петар Живкович уже предупредил вас, что я меняю свои перчатки. Советую и вам отбросить иллюзии о мифической «Югославии», чтобы верить, как верю и я, в божественный ренессанс «Великой Сербии». Не стану говорить вам — прощайте, ибо заведомо знаю, что ваше решение будет правильным, мы еще встретимся...

Только тут я понял, что мое отречение от Аписа — главное условие для существования на этой многострадальной земле, где упокоились предки моей бедной матери. Сейчас в Александре я увидел... врага. Я ведь знал, что он и раньше боялся Аписа, сознательно лстил ему, сам напросился в губительное подполье «Черной руки». Но и ненавидел он Аписа, как только может слабая личность ненавидеть человека сильного духом и телом. Тут вошел Петар Живкович и, присев на корточки, стал защелкивать замки королевских чемоданов, при этом каждый шелчок напоминал мне щелчки взводимых курков...

За горизонтом растворился дым отличных британских кардиффов, миноносец увозил прочь Александра и премьер-министра Пашича, а войска и беженцы остались на берегу... Чего ждать?

— Надо ждать, что завтра снова явится британский миноносец и заберет всех нас... со всем нашим барахлом, от которого остались жалкие крохи, — сказал мне Артамонов.

— А что армия? Что, наконец, массы беженцев?

— С ними все ясно. Как только флот австрийцев перестанет вонять перед нами дымом и уберется в Триест, всех сербов союзные корабли эвакуируют на остров Корфу... Вы там были?

— Никогда.

— Это рай, — сказал Артамонов. — Недаром же все миллионеры Европы понастроили на Корфу свои великолепные виллы. Очаровательные гречанки, прекрасный климат. Природа как в ботаническом саду. Нет картошки, зато апельсинами кормят свиней...

Возвышенный панегирик красоте Корфу я перебил словами, что королевич Александр предложил мне свою «Белую руку». Надо было видеть, какой ужас исказил лицо Артамонова при этих словах — он даже отступил в угол, сжался:

— И вы... вы... неужели вы отказались?

По его страху я понял, что Артамонов уже изменил Апису, впредь согласный тешить свое честолюбие монархическим пожатием «Белой руки». Овладев собою, он строго предупредил меня:

— Учтите, на карту поставлено очень многое, и, может быть, даже покатысь в канаву чья-то дельная голова...

Сначала я расценил эти слова чересчур упрощенно, ибо слишком уж много людей теряло головы, но по выражению лица Артамонова я понял, что он вложил

в свою речь слишком жестокий смысл. Следовало дать достойный ответ на его угрозы.

— Не пугайте меня, — сказал я как можно развязнее. — Я ведь не шпион в стане врагов, которого повесят, я русский друг в стане союзников. Так кого мне бояться?

Артамонов помедлил с ответом:

— В полковника Аписа вчера опять стреляли.

— И конечно из-за угла?

— Вы догадливы.

— И конечно стрелявший остался неизвестен?

— Было бы глупо остаться ему известным...

Решено! Я застал Аписа спокойным (или почти спокойным). Он сказал, что армия и народ неуправляемы, об Александре и Пашиче солдаты говорят, как о дезертирах и предателях, бежавших вместе с казной государства, и офицерам приходится сдерживать солдат, выступающих против монархии:

— Если бы не мое состояние, я бы сейчас запросто свергнула Карагеоргиевичей, как когда-то мы ликвидировали династию Обреновичей. Но делать сербскую революцию в паршивом албанском городишке столь же нелепо, как если бы вы, русские, свершали ее не у себя дома, а на островах Таяти... подождем!

— Значит, вас все-таки ранили?

— Да. Но ты же сам знаешь, какой я везучий, умеющий ловить пули руками и бросать их обратно в рыло тому, кто стрелял. Если королевич Александр решил от меня избавиться, то прежде я избавлю страну от его высочества...

Я ответил, что цветовая символика двух враждующих «рук» слишком выразительна по своей социальной разнице: первая возникла из Дунайской казармы офицеров, вышедших из низов народа, вторая же бесшумно явилась из потемок королевского конака. Апис почему-то воспринял мои слова равнодушно.

— Я дьявольски устал за эти проклятые дни, — ответил он и, присев на постель, скovyрнул с ног сапожищи. — За меня не стоит бояться. Во мне прочно сидят три пули, но они никогда не мешали мне наслаждаться радостями жизни. Мой девиз остается прежним: «Уеденье или смрт!» Через горы трупов, наваленных вокруг меня, словно мусор, я уже прозреваю в будущем новую страну без королей — ЮГОСЛАВИЮ! Кто осмелится мешать мне в этом деле — тому пуля в лоб, и катись в яму...

5. ЛЮБОВЬ И БРАТАНИЕ

Напиши, так не поверят, что тогда в общении противников еще уцелели остатки рыцарских нравов, чего совсем не стало в военной морали при войне с гитлеризмом. Наш французский пароход, переполненный сербскими воинами и беженцами, был задержан в море германской подлодкой, которая с шумом вынырнула на нашем курсе. Молодой немецкий офицер в свитере и с лицом, обрамленным шотландской бородкой, поднялся по трапу на палубу, невольно наводя ужас на всех пассажиров.

— Имею указание снять всех русских, после чего

можете продолжать свой путь. Итак, русских прошу к трапу...

Конечно, среди множества больных и раненых было немало наших добровольцев. Но все они молчали, не желая оказаться в плену. Молчал и я. Вперед осмелился выступить один лишь Николай Иванович Сычев, сказавший подводнику по-немецки:

— Молодой человек, я русский врач. Вряд ли я составлю вам приятную компанию, чтобы заодно с вами нырять в этой дурацкой железной бочке. И вы не имеете права арестовывать меня, лишая тем самым больных людей медицинской помощи.

Немецкий офицер отчетливо козырнул Сычеву:

— Извините, герр доктор! — И его субмарина погрузилась...

Италия, ссылаясь на боязнь эпидемии, отказала нам, сильно завшивленным, в своем убежище, римская Консульта желала спровадить нас на остров Крит, чтобы мы там тихо и мирно передохли, никому не мешая. Англия, правда, обещала отличную санобработку, но при условии, что сербы грудью станут на защиту подступов к Суэцкому каналу. Франция же сговорилась с Россией, чтобы сербы сначала отдохнули на греческом острове Корфу, а потом их отправят для укрепления фронта в Салониках.

Вот мы иплыли...

Здесь не место для скрупулезной бухгалтерии, чтобы подсчитывать, сколько было солдат в сербской армии и сколько теперь осталось; скажу лишь одно: с нами плыли ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ, потерявших папу и не знавших, куда делась их мама. А что мы, русские, ведали о Корфу? Едино лишь лирику старых преданий. Когда эскадра адмирала Федора Ушакова сражалась в этих краях, русские создали здесь Республику Семи Островов, многие переженились на гречанках, увезя их в Россию, на острове Корфу свято хранилась память о благородстве русских людей.

Нынешний Корфу был облюбован титулованной знатью, остров напоминал экзотический парк, наполненный ароматами, в кипарисовых рощах укрывались роскошные виллы. Но в самом городе немудреные дома-коробки, (которыми, наверное, здорово бы восхитился Корбюзье) излучали от своих стен нестерпимый жар, словно раскаленные противни. Мне-то еще повезло — я устроился в дешевом отеле, на самой окраине, и по утрам меня будила «пиккола-итальяна», девочка лет семи, распевавшая трогательные серенады под музыку нищенского оркестра — из двух гитар и пяти мандолин. Но райский Корфу, наполненный дворцами, руинами и памятниками, стал для сербов островом страданий. Смертность не убавлялась, а кладбищ не хватало, потому мертвецов топили в море, подальше от берегов, а крохотный островок Вид с древней крепостью превратился в «покойницкую»: сюда свозили тех, кто еще не умер, но должен умереть, и люди знали, что они обречены, а над «островом смерти» с утра до ночи кружились тучи стервятников, орущих от восторга небывалой сытости...

Вот уж не думал я тогда о любви! Но она пришла, неожиданная, как удар молнии при ясном небе, одно

лишь имя женщины — Кассандра — напоминало мне о взятии Трои, где Кассандра досталась в добычу мне, новому Агамемнону в заплатанных штанах и в раздрызганных опанках. Нас свел случай. Я познакомился с Аристидом Кариади, который до войны спекулировал в Одессе оливковым маслом и теперь крайне сожалел, что война поневоле принудит русских полюбить масло подсолнечное. Кассандра была его дочерью, уже овдовевшей, но бездетной. Слушая дифирамбы отца, посвященные бочкам с оливковым маслом, она запускала гибкие руки под скатерть, и мои пальцы погибали в хрусте ее пальцев, словно жертва, угодившая в сплетение щупалец осьминога.

Кассандра жаждала любви, и получила ее. Не жалую!

Сколько счастья испытал я в эти краткие душевные ночи, когда рядом со мною засыпала эта некрасивая, но пылкая гречанка, казавшаяся мне самой прекрасной женщиной на свете. Зато как убивалась моя Кассандра, как страдала она, вдруг известившись, что воинский долг повелевает мне отбыть в окопы Салоникского фронта. Плачущая навзрыд, облаченная во все черное, словно в день моего погребения, она провожала меня до паровой пристани, забегая вперед, чтобы видеть мои глаза.

— Мы обязательно встретимся, — горячо убеждала она меня. — Обещай, что ты вернешься на Корфу... я буду ждать!

— Обещаю. Жди, — отвечал я.

— Когда? — допытывалась Кассандра.

— В шесть часов вечера после войны...

Так говорили женщинам тогда все мужчины. Так говорил и я, уверенный, что в шесть часов вечера после войны для всех нас откроется эпоха великого человеческого счастья и на развалинах Трон каждый Агамемнон отыщет свою алчущую любви Кассандру... Что я мог сказать тогда на прощание?

— Жди. Вернись. Если ничего не случится...

Случилось многое. Но более никогда я не был на Корфу!

Греция пока считалась нейтральной, а древние Салоники поминались на Руси как родина Кирилла и Мефодия, наших славянских первоучителей. Но в этом приморском городе было столько спекулянтов, шпионов и проституток, что имена наших просветителей поминались лишь всуе, как залежавшийся товар, на который трудно сыскать покупателя. Здесь ценилось совсем другое! Салоники сделались тогда центром международного шпионажа, где почти открыто торговала своеобразная «биржа секретов». В закоулках города таились самые матерые агенты Германии и стран Антанты, а завербованные ими женщины без стыда жертвовали своей красотой, чтобы за одну ночь узнать о незначительных переменах в устройстве нового английского пулемета...

Я появился в Салониках весной, когда Западный фронт наших союзников основательно вздрогнул от ужаса — там, во Фландрии, на берегах тишайшего Ипра, немцы применили отравляющие вещества. Безобидные немецкие красители фирмы «Фарбениндуст-

ри», которые я пропускал через погранзаставу Граево, обернулись для миллионов людей сущей трагедией.

Настроение у меня было угнетенное. Радиостанции русских фронтов резко оборвали работу, из чего я догадался, что идет подготовка к переходу на новый шифр, которого полковник Артамонов не мог знать. Но он предупредил, что прежний шифр — уже двенадцатый по счету после начала войны — не составляет тайны для немцев. Я спросил — не ошибается ли он?

— Вряд ли, — сумрачно ответил Артамонов. — Австрийцы, словно издеваясь над нами, этим же шифром передали в эфир, что для жителей оккупированного Белграда вводится месячная норма кукурузной муки в один килограмм на каждого человека... Кто-то, очевидно, гадит нам сверху.

— Может, снизу?

— Нет. Снизу гадят мелко, а сверху всегда крупно...

1915 год был для России крайне тяжелым. Весь военный потенциал Германии был запущен против Восточного фронта. Русское командование не раз обращалось к союзникам, чтобы они предприняли наступление на западе, дабы облегчить положение русской армии, погибавшей от нехватки вооружения. Но в ответ Генштаб получал от союзников жалобы на их трудности. Артамонов, появившись в Салониках, сообщил, что в России готовятся новые силы для Салоникского фронта, а про англичан сказал:

— Британский эгоизм известен. Они не дадут своих солдат, зато проведут множество конференций на тему: сколько им нужно солдат? Львиную долю трудов они возлагают на союзников, зато львиную долю чужих успехов приписывают себе...

Новости из России не радовали. Немцам удалось создать непрерывный фронт — от Риги до Багдада, а когда к ним примкнули царская Болгария и султанская Турция, Россия оказалась изолированной от союзников с юга, Черное море, как говорили моряки, действительно стало для них «бутылкой», пробка от которой оказалась в руках противника. Черное море утюжили германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» под флагами султанского полумесяца, а волны лениво укачивали мины с надписями белилами — по-русски: **ДОРОГО ЯИЧКО КО ХРИСТОВУ ДНЮ**. Болгарская армия, укрепленная германцами, вышла к границам с Грецией, но переходить ее рубежи еще не решалась...

Артамонов закупил в Салониках допотопную типографию, пригодную лишь для печатания визиток с приглашениями на свадьбу, полковник решил издавать газету «Русский Вестник».

— У вас все уже есть, — сказал я, — не хватало еще только газеты, чтобы сонные греки заворачивали в нее скумбрию.

— Не спорьте, — отвечал он мне, — скоро здесь, в Салониках, будет испытана союзная дружба, именно здесь решится взаимодействие русских, сербов, англичан и французов.

— Ну-ну, — сказал я. — Чем больше пауков в од-

ной банке, тем кровожаднее драка меж ними... почитайте Дарвина!

— А что мне Дарвин? Что он понимал в наших делах?..

Союзники были активнее нас. Они арестовали консулов враждебных государств, взяли под контроль полицию, подчинили себе почту и телеграф в Салониках. Французы получали информацию от агентов-музыкантов, у которых передатчики были вмонтированы внутри роялей — пианистам оставалось только исполнить вечерний фокстрот на клавишах рояля. Англичане обрывают пиратские шайки для свершения диверсий (прообраз будущих отрядов «коммандос»). Офицер австрийской разведки Макс Ронге, мой противник, писал: «Это были бесстрашные, мускулистые парни, обвешанные пистолетами и громадными кортиками, они выходили на войну целой общиной, с женами, детьми и стариками; бродили по ночам, убивая неприятельских солдат и перехватывая множество сообщений». В этих шайках оказались и русские, ибо однажды, когда их рассаживали по катерам, я услышал:

Мы ребята-ежики, в голенищах ножики,
по две гири на весу, револьверчик в поясу.
Я отчаянный родился, вся деревня за меня,
вся деревня бога молит, чтоб повесили меня...

— Кто эти горлопаны? — спросил я Артамонова.

— А кто их знает. Наверное, бежавшие из плена. Побираться и воровать стыдно, вот и пристали к англичанам, которые не брезгают ничьими услугами, лишь бы не самим пакостить...

Не знаю, чем объяснить мое дурное состояние, но интуиция все время подсказывала мне, что я нахожусь под неусыпным наблюдением враждебных глаз, уже давно следящих за мною. Чтобы изменить внешность, я приделался пижоном, носил дорогой перстень, курил дорогие египетские сигареты, а два пистолета, болтавшиеся под мышками на ремнях подтяжек, никак не вселяли в меня уверенности в безопасности. Я жалел, что не знаю греческого языка, иначе с моей «наполеоновской» внешностью вполне мог бы сойти за прожигателя жизни, мелочного спекулянта кокаином, туалетным мылом или презервативами, столь драгоценными в это любвеобильное время. Странно мне было думать, что я нахожусь на родине Кирилла и Мефодия, а в тени этих кипарисов, может быть, не раз отдыхал апостол Павел, диктуя своим ученикам «Послания к Солунянам». Боже милостивый, сколько здесь, в этом городе, перебивало апостолов, но еще более деспотов...

Сейчас Салоники видели новых властелинов!

В это время лорд Китченер, посетивший Салоники, настаивал перед союзниками вообще плюнуть на Балканы, оставив сербов и греков на съедение немцам, а все войска, включая и русские, перебросить в Синайские пустыни — для охраны Суэцкого канала и Египта. Русская ставка, вкупе с французской, доказывала обратное: если оставить Балканы на растерзание, тогда шаткая политика Румынии сразу подчинится диктату Германии (как это и случилось с Болгарией) и германский фронт — при подобном повороте политики —

вплотную сольется с турецким, дивизии генерала Макензена могут оказаться на Кавказе.

Неожиданно в Салониках появился и Апис, а на мой вопрос, где его носила нелегкая, он скупно пояснил:

— Торчал в румелийской Битолии, где австрийцы устроили штаб, мешавший переброске сербов с Корфу в Салоники.

— Ну?

— Все в порядке. Штаба не стало. Перебили там всех, а циндарская ярмарка в Битолии веселилась, как прежде...

Казалось, что Апис в эти дни — дни создания союзного фронта в Салониках — переживал нервное состояние, близкое моему.

— Я не знаю, кто за мной охотится, но вечерами лучше не высовываться на улицы этого вонючего городишка. Не буду удивлен, — сказал Апис, — если я стал персоной нон грата не только для австрийцев или для Карагеоргиевичей, но даже... для англичан. Ты, дружок, заведи себе хорошую гадючью нору, чтобы на всякий случай в ней можно было отсидеться...

В мае 1916 года сербская армия стала осваивать позиции под Салониками, добровольцы из Черногории поступили под начало французского командования, а Россия твердо обещала выставить под Салоники свой экспедиционный корпус — около сорока тысяч русских солдат. Артамонов нервно сообщил мне:

— Ваши предсказания о пауках в банке оказались верными. Союзники относятся к сербам, как породистые псы к шелудивым бездомным собакам. Им не дают оружия, не дают лекарств, от сербских офицеров скрывают штабные документы, английские и французские солдаты, эти «томми» и «паулю», каждый вечер гуляют в публичных домах Салоник, швыряясь деньгами, а сербским офицерам не разрешают появляться даже на базарах, чтобы купить кусок дешевого мыла.

Горькая правда. Союзники не говорили «сколько штыков», а ядовито спрашивали: «сколько у вас едоков?» За каждый обрывок бинта или таблетку аспирина они попрекали сербов, которые ценою крови давно оплатили горы бинтов и эшелоны с аспирином. Больно мне было слышать, как жаловались сербские ветераны:

— Под немцем погано, а под союзником еще гаже. Лучше в своем окопе на соломе подохнуть, нежели попасть во французский госпиталь, где простыня чистая, а тарелка пустая...

Вскоре на фронт прибыла Особая русская пехотная бригада, уже обстрелянная в боях за Францию, где она прославилась себя бесшабашной храбростью и кровавыми бунтами.

— А кто против нас? — спрашивали. — Немаки или австрияки?

— Болгарская армия, — отвечал я с чувством стыда.

Узнав об этом, наши долго не думали: вешали на штык полотенце и махали им над окопом, крича в сторону противника:

— Эй, братушки окаянные! Вы на кой хрен немакам продались? Али не мы за вас кровь ведрами проливали? Мой дед до сей поры на де-

ревяшках ползает, для вас же, сволочей, свободу от турка добывал...

Со стороны «братушек» слышалось — ответное:

— Перестань лаяться! Разве мы будем против вас воевать? Да нас послали, как скотину на выгон...

Французы и англичане старались отсиживаться в тылу, не забывали побриться утром в парикмахерских города, вечерами все кафе и рестораны были заняты ими, а фронт удерживали те же несчастные сербы и русские да в придачу к ним еще черные, как сапоги, сенегальцы и войска из Марокко.

Я был причислен к Особой бригаде, ко мне иногда приволакивали «братушку» с другой стороны, для начала, чтобы он очухался, я давал пленному по зубам, а потом спрашивал:

— Номер полка? Кто командует?

Мне, откровенно говоря, было их жаль, но еще больше я жалел сербов, которые, осатанев от окопной тоски, уже начали стрелять один в другого — по обоюдному уговору, чтобы разом покончить с этой проклятой житухой. Наши еще не стрелялись, но, подсчитывая убитых, иногда с тоской вопрошали:

— И когда эта чехарда кончится? Опять нафаршировали народу стока, что бумаги на «похоронки» не хватит...

Я усердно отписывал в царскую Ставку на имя начальника штаба генерала Алексеева: «Все зиждется на доблести и работе сербских и русских войск, постепенно тающих, так как на них возлагаются самые ответственные задачи...» Когда в дело вступала германская артиллерия, между наших окопов возникали воронки, в которые мог бы свалиться автомобиль. Снаряды большого калибра мы называли «чемоданами», а в английской армии их именовали «Джек Джексон» (по имени негра, знаменитого чемпиона по боксу, которому в Америке разрешили жениться на белой женщине). По вечерам марокканцы и сенегальцы с лязгом открывали банки с сардинами и пили кофе с коньяком, а мы, братья-славяне, жевали пресные галеты и бегали в соседнюю деревню к македонцам, чтобы купить у них виноградной самогонки...

Ей-ей, не скрою, я иногда начинал думать так же, как думали и мои солдаты: «И когда эта чехарда кончится?» Однажды я ночевал в своей землянке, когда внутрь ее пластуны-лазутчики вбросили, как мешок, пленного «братушку». Я спросонья встряхнул его за воротник шинели, впотьмах размахнулся что было мочи и как следует врезал ему по зубам:

— Номер полка? Кто командир?

— Здравствуй... — был ответ. — Номер полка семнадцатый, а командиром я — полковник Христо Иванчев... Неужели забыл?

Я торопливо засветил лампу и обомлел: передо мною стоял мой давний приятель Христо Иванчев, с которым мы вместе кончали в Петербурге Академию российского Генштаба.

— Извини, брат, — сказал я. — Конечно, я чрезвычайно рад встрече, но лучше бы ты мне не попадался,

— Так не в гости же я к тебе набивался, — ответил Иванчев, — только отошел в сторонку, тут на меня твои пластуны и навалились. Неужели твоя разведка прохлопала, что напротив вашей Особой бригады стоит как раз мой Семнадцатый?

— Садись, — сказал я. — Плевать на всю эту дислокацию, лучше нам выпить. У меня есть бутылка местного вина... Такая кислятина — как раз для исправления наших косых глаз!

Разговор, конечно, получился нервный, сумбурный:

— Слушай, из-за чего мы воюем?

— А вы ради чего? — спрашивал Иванчев.

— На нас напала Германия, а на вас никто не нападал.

— Но мы, болгары, имеем исторические права на Македонию, которую оторвали себе эти зазнавшиеся Карагеоргиевичи.

— Иди ты к бесу, Христо! Там половина македонцев оставляет тапочки на порогах мечетей, а другая половина грезит о былом величии Византийского царства... Уж если кому и сражаться за Македонию, так это — грекам, только грекам!

— Так чего же вы, русские, застряли в Македонии?

— Этого и сам не знаю. Но тебе рад. Давай выпьем.

— За что?

— Да хотя бы за то, чтобы разорвать эту Македонию, словно лягушку, и пусть каждому от Македонии по куску достанется. А вы, братушки несчастные, немца на подмогу позвали.

— Не мы! А наш царь Фердинанд...

— Так гоните его в три шеи.

— То же самое могу и тебе посоветовать... Гони своего царя, если ты такой уж храбрый! — отвечал мне старый приятель.

Прежняя дружба позволяла нам быть откровенными. Я сетовал на большие потери в бригаде, Иванчев признал большие потери в своем 17-м полку. Мы конфиденциально — без свидетелей — дружески договорились шадить людей, тем более что Россия и Болгария — как две родные сестры, надо беречь их нерушимые узы.

Утром я вывел Иванчева на бруствер окопа, часовому сказал:

— Болгарский полковник приходил по делу... не стреляй!

Иванчев сдержал слово, и наши потери уменьшились. Исподтишка, как бы ненароком, я вразумлял своих солдат:

— Вы не особенно-то прицеливайтесь. Голова — это тебе не мишень, чтобы очки выбивать. Головой думать надо. Братушки обещали палить поверх ваших черепушек, а вы тоже не старайтесь калечить людей напрасно. Им еще пахать надо...

По ночам случались сцены «братания», о котором на русско-германском фронте еще не ведали. Русские солдаты Салоникского фронта тишком от начальства сходились на нейтральной полосе, иногда запрыгивали в окопы болгар, чтобы их не видели свои офицеры, там они судачили о своих делах, обменивались вся-

кой ерундой — табаком или спичками, а утром снова сидели в окопах как ни в чем не бывало.

Братание коснулось и сербов. У многих семьи остались на оккупированной территории, всякие связи с женами и родителями были потеряны. Теперь они перебрасывали письма в траншеи болгарам, а те брались доставить их по адресам.

Артамонов уже выпускал в Салониках «Русский Вестник», до наших окопов иногда доходили разрозненные номера «Военной газеты для русских войск во Франции». Для меня были интересны только перепечатки из иностранных газет, помещаемых под рубрикой «В стане врагов». Там я вычитал, что Вена давно превратилась в сплошной госпиталь, к ее вокзалам из Галиции и Македонии один за другим подкатывали санитарные поезда, пропитанные кровью. Венские врачи так спешили, что ампутации рук и ног проводили без анестезии.

6. В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Иногда трудно установить границу, где кончается разведка и начинается контрразведка, — так из обычного молока можно делать сметану или простоквашу. Но с молоком тоже надо уметь обращаться, иначе получится отвратная сыворотка, которую впору выплеснуть на помойку. Говорю это к тому, что, лишенный информации из Генштаба, изолированный союзниками от связи с русским командованием, я зачастую бывал одиноким Дон Кихотом на перепутье, в каждом встречном подозревая соперника, желавшего скрестить со мною меч свой. Я работал как разведчик, наступая, и оборонялся сам — как контрразведчик...

Первая русская бригада прибыла во Францию кружным путем — через Сибирь, грузилась же на корабли в китайском порту Дальний (близ Порт-Артура), откуда морем и прибыла в Марсель, где на удивление публики, встречавшей ее, бригада маршировала, распевая из Пьера Беранже — такое знакомое:

Грудью подайся,
плечом равняйся!
В ногу, ребята, идите,
смирно, не вешать ружья!
Раз-два, раз-два...

Готовилась и новая партия русских войск, которые из Архангельска — дорогою древних викингов — плыли в Брест французский, а вскоре ожидалось в загаженных окопах под Салониками, где им вместо привычных шей да каши предстояло научиться открывать консервные банки с мясом тех бычков, что лет тридцать тому назад еще резвились на фермах Техаса... Теперь и эта заваль пригодится: русские такие, что все сожрут!

Но сразу усилилась работа вражеских разведок; по ночам стали пропадать с постов часовые, австрийцам не терпелось узнать, как русские оказались в Македонии — через Архангельск или через Дальний; в соседних деревнях были умышленно отравлены колдцы, и теперь, куда ни ступи, всюду ноги развезжались в осклизлых лужах эпидемийного поноса.

Зараза не коснулась меня, а прибытия войск русской бригады я не дождался. Виной тому обстоятельства, не совсем-то приятные для меня. Сербская армия, несмотря на все ее бедствия, теперь окрепла, даже усиливаясь за счет славян, дезертировавших из австрийской армии, а из Америки приплывали в Салоники сербы-эмигранты, желавшие воевать за честь оскорбленной родины.

Братание с болгарами было выгодно нам, русским. Но оно становилось опасным для немцев, подозревавших болгар в сохранении давней русско-болгарской дружбы. Не нравилось оно и союзникам, которые в миролюбии русских заметили желание покончить с войной. Французы натравили на нас свои колониальные войска, марокканцы часто прочесывали из пулеметов нейтральную полосу, пересекая возможные встречи братьев-славян; заметив же в траншеях крадущегося русского, сенегальцы обыскивали его и, найдя хоть пачку болгарского табаку, давали такого хорошего тумака, что из глаз искры сыпались...

Англичане поступили с нами более радикально. Они попросту подкатали тяжелую артиллерию и открыли огонь по тем местам, где встречались солдаты для братания. Громадный валун, под которым хранилась сербско-болгарская «почта», был разнесен вдребезги. При этом один великобританский «Джек Джексон» вскрыл мой блиндаж, словно консервную банку с говядиной, и меня вынесло на свет божий — словно перышко. Свидетели моего полета рассказывали, что, описывая траекторию, я все время орал благим матом, пока не шмякнулся на землю, словно лягушка. Думали — конец, не стало полковника. Но меня лишь контузило. Я перестал слышать, долгое время не мог говорить. Смутно, будто во сне, помню, что меня навестил с вражеской стороны полковник Христо Иванчев и, плачущий, оставил мне полную фуражку смятых перезрелых слив...

Мне очень не хотелось тогда умирать!

Наверное, это мое счастье, что я попал в госпиталь греческого Красного Креста; за ранеными ухаживали монашенки, весьма симпатичные, которые, подобрав полы халатов, иногда танцевали между кроватями, чтобы создать в палате для умирающих доброе игривое настроение. Здесь меня и отыскал полковник Апис.

Из разговора с Аписом, могучая фигура которого невольно привлекала внимание сублильных монашек, танцевавших между кроватями, у меня сложилось убеждение, что Апис уже вступил в борьбу с королевской семьей и сам будет убит или разделается с Карагеоргиевичами столь же решительно, как однажды удалось ему расправиться с Обреновичами...

— Договоримся так, друже, — сказал Апис, — когда выйдешь из этого танцкласса, старайся каждый вторник и каждый четверг ужинать в ресторане «Халкидон»... Не будем даже подходить один к другому. Но я должен знать, что ты еще жив, а ты, увидев меня, будешь знать, что я жив тоже... Драхмы есть?

— Нету. Все взлетело на воздух в блиндаже.

— Прямое попадание. Понимаю. Подозрительно точное...

Апис щедро отвалил мне греческих денег, и мы простились. Но я уже понял: если охотятся на Аписа и его друзей, значит, я тоже попал в проскрипционные списки, лежащие на рабочем столе королевича Александра Карагеоргиевича. Я покинул греческий госпиталь раньше времени — после того, как однажды в тарелке с супом обнаружил странный привкус, от которого меня вырвало. Чтобы запутать следы, я умышленно укрылся в еврейском квартале Салоник, а мой «наполеоновский» профиль наводил местных аборигенов на мысль, что я принадлежу к их племени, и на «иврит» я отмалчивался, а на вопросы, сказанные на «идиш», отзывался охотно.¹ Я снимал комнатушку в бедной семье еврея-перчаточника, кормился же в еврейской харчевне с «кошерным» мясом, никогда не обнажая головы во время еды, чтобы ничем не отличаться от ортодоксальных евреев. Угрызений совести я не испытывал, ибо каждый разведчик Генерального штаба имеет моральное право на время исчезнуть, если он чувствует, что ему можно оставить игру...

Моя «отсидка» в еврейских трущобах пошла на пользу. Если за мной и велось наблюдение, то этот «хвост» отвалился сам по себе, как хвост у ящерицы, почуявшей опасность. Наконец я покинул свое «убежище Монрепо», провонявшее чесноком и луком, но разом — почти стремительно — изменил свой облик, приодевшись в лучшем магазине Салоник, после чего, благоухая «белой сиренью» марки Броккаров, разыскал Артамонова в штабе Сэррайля, и он неприятно обрадовался мне:

— Наконец-то и вы! Сознаться, кто эта Афродита, которая такой долгий срок удерживала вас в своих объятиях.

— Просто шлюха, — ответил я. — Не являлся по зову совести, ибо требовалось время, чтобы залечить свежий триппер.

— Тогда все ясно, — расцвел Артамонов, — и никаких претензий к вам не имею... Слушайте! Завтра в полночь отходит французский пароход в Марсель, и вы обязаны отплыть на нем. Генштаб уже не раз настаивал на вашем возвращении.

— В Марсель? — неуверенно хмыкнул я.

— Да. Игнатъев в Париже проинструктирует вас о дальнейшем. Ваше отплытие весьма кстати, — со значением произнес Артамонов. — И не вздумайте задерживаться. Вы слишком легкомысленно отказались от предложения Александра вступить в его «Белую руку», а «Черная» оставила здесь немало кровавых следов... Не мне вам, опытному разведчику, объяснять прописную истину: нельзя засовывать палец между деревом и его корою, иначе можете так и погибнуть возле этого дерева...

На прощание Артамонов сказал с небывалой грустью:

¹ Здесь необходимо сделать маленькое примечание, слегка поправив автора. Салоникские евреи зачастую придерживались в разговоре испанского или даже староиспанского языка, которого автор не мог знать.

— Завидую вам! Увидите родину — передайте ей нижайший поклон от меня... заблудшего. Мне очень горько. Прощайте...

Сам он больше никогда не увидит России, так и завязнет на Балканах, притворяясь «специалистом» по русским делам, в которых сам черт не мог бы тогда разобраться. Был как раз четверг — день нашего свидания с Аписом. Ресторан «Халкидон» казался пустынен, но Апис сидел за столом, углубленный в чтение французской газеты, и, проходя мимо, я тихо сказал:

— Вы, наверное, уже ознакомились с карточкой меню?

— Да, пожалуйста, можете воспользоваться.

— Благодарю, — отвечал я, добавив шепотом: — Завтра отплываю в Марсель и на всякий случай... прощаюсь.

Нарочитым шуршанием газеты Апис скрыл свой шепот:

— Хорошо, что вас не будет. Здесь начинается облава на всех нас... на всех, кто верит в «Уеденье или смрт».

Он не ушел, словно контролируя меня, за что впоследствии я остался ему благодарен. Я заказал себе легкий ужин, когда в ресторан вошли два рослых человека в белых брюках и черных пиджаках, оба в соломенных канотье, при одинаковых тросточках. Явно умышленно они задержались возле дверей, о чем бурно дискутируя. Вслед за ними появилась разряженная женщина, очень красивая, с большим родимым пятном на щеке; она сразу направилась к моему столику, без тени смущения сказав:

— Господин секретный агент российского Генштаба, наверное, изнывает в одиночестве. Ах, бедняжка! Надеюсь, за вашим столом найдется место для меня... и для моих друзей.

— Вот тех, что стоят в дверях? — спросил я.

— Да. Они не мешают нашему разговору...

От женщины исходил приторный запах дорогих духов; садясь, она расправила юбку, которая отчаянно захрустела, отчего я понял, что эта бабенка напичкана секретами с ног до головы, ибо так сильно крахмалят юбки только германские шпионки, используя их вроде отличной бумаги для писания симпатическими чернилами. Я не успел ответить что-либо, как слева и справа от меня затрещали венские стулья под весомою тяжестью ее компаньонов. Красавица достала зажигалку и щелкнула ею под самым моим носом. Но вместо языка пламени из зажигалки выскочил забавный чертик, высунувший длинный красный язык, словно этот чертик решил поиздеваться надо мною.

— Итак... — начал было я, понимая, что теперь не успею выдернуть из-под левого локтя бельгийский «юпитер» с семью пулями в барабане, не дадут мне выхватить из-под правой подмышки и браунинг «Астра» с очень мощными патронами.

Мужчины сдвинули стулья плотнее; я оказался зажатым между ними. а полковник Апис, зевая, равнодушно взирал в потолок.

— Я готов услужить такой прекрасной даме, как

вы, — сказал я женщине. — Но прежде предупредите своих нахалов, что сегодня они будут застрелены, а завтра уже похоронены.

Мои соседи обняли меня, приятельски похлопывая.

— Забавный парень нам попался сегодня, — хохотали они.

Женщина без улыбки спрятала в ридикюль зажигалку.

— Все это очень мило с вашей стороны, — сказала она. — Но отчего такая жестокость? Мы как раз настроены миролюбиво и готовы вести деловую беседу... с авансом наличными.

Меня покупали. Очень нагло. Как последнего подлеца.

Смешно! Эти твари не жалели даже аванса...

— Но прежде, мадам, вам придется снять с себя юбку.

— А это еще зачем?

— Ее крахмальная трескотня уже стала надоедать мне...

Два выстрела Аписа грянули раз за разом, и мои соседи, даже не успев вскочить, припали лбами к столу, влипнув мордами прямо в тарелки с салатом. Красотка в ужасе вскочила.

— Сядь, — велел я ей.

— Что вам от меня нужно? — в панике бормотала она.

— Ничего. Мы только выстираем тебе юбку.

— Отпустите меня! — вдруг истошно завопила она.

Но мощная длань Аписа уже провела по ее лицу сверху вниз, ото лба до подбородка, смазывая с лица густую косметику, отчего лицо превратилось в безобразную маску клоунессы.

— Говори, сука, какие чернила? — спросил ее Апис.

— Колларгол, — призналась женщина, зарывав.

— Это можно проявить вином, — подсказал я.

Апис взял со стола бутылки с вином и начал поливать юбку женщины, на которой, как на древней клинописи ассирийцев, вдруг проступили сочетания буквенных и цифровых знаков.

Еще выстрел — в упор! Женщина упала. Апис сорвал с нее юбку, смоченную вином, скомкал ее в кулаке и быстро вышел.

Я подозревал официанта, чтобы расплатиться по счету.

— Тут какая-то грязная семейная история, к которой я не имею никакого отношения, — сказал я. — К счастью, я лишь случайный свидетель и впервые вижу эту женщину...

Впервые я видел эту женщину, но в последний раз я видел и полковника Аписа! Итак, все кончено...

Приняв сдачу от официанта, я даже не глянул на убитых.

На пыльной вонючей улице мне вспомнился цветущий рай острова Корфу и костлявая, некрасивая

Кассандра, которая верила и будет верить всегда, что она еще станет моею.

Но только в «шесть часов вечера после войны».

Мне стало паскудно: Я и сам не знал, где я буду в шесть часов вечера после войны... и буду ли я вообще?

ПОСТСКРИПТУМ № 8.

Был уже 1928 год, когда Артамонова буквально припер к стенке американский профессор истории Бернадотт Шмит:

— Можете ли вы хоть теперь честно ответить, давали ли вы деньги на организацию сараевского убийства?

— Нет, — отперся Артамонов, — я давал полковнику Апису деньги из кассы посольства лишь на проведение фотосъемок в Боснии. Но откуда же мне было знать, что Апис употребит их с иными намерениями, вызвавшими мировую войну?

— Апис на суде утверждал, что расписки в русских руках.

— По этому вопросу, — огрызнулся Артамонов, — можете справиться в архивах московского ОГПУ, если только эти расписки Аписа московские чекисты не извели на самокрутки...

В. А. Артамонов вовремя сменил перчатки и потону остался цел, ведя жизнь эмигранта в Белграде. «Черная рука» разжалась, словно отпуская Артамонова на покаяние, а «Белая рука» приглубила его высокой монаршей милостью...

Апис остался в памяти народа, схожий с карбонариями, начинавшими освобождение Италии от австрийского гнета, облик их, обрисованный Герценом, чем-то сродни облику Аписа. «Красивая наружность, талант вождя, оратора, заговорщика и террориста, умение руководить людьми и внушать любовь женщинам», — так описывал его советский историк Н. П. Полетика.

Потребовалось время, и немалое, чтобы понять, почему Апис действительно уговаривал меня покинуть Салоники и быть вообще подальше от двора Карагеоргиевичей. Может, он предчувствовал, что я могу стать неугоден королевичу Александру и тогда меня уберут со сцены, как освищенного актера, а может быть, я стану неугоден и самой «Черной руке», которая тоже будет вынуждена учинить надо мною правду.

Апис знал слишком много, и королевич Александр — в сговоре с Николой Пашичем — арестовал Аписа и его сподвижников. Это случилось в декабре 1916 года. Драгутину Дмитриевичу предъявили обвинение — будто он желал открыть перед немцами Салоникский фронт. Представив Аписа предателем Сербии, Александр хотел нейтрализовать попытки союзников вмешаться в дело процесса, а на самом деле, убирая Аписа со своей дороги, Александр желал одного — укрепить свою личную власть диктатора.

В таких случаях очень легко шагают по трупам!

Процесс закончился лишь в 1917 году. Но демократы Сербии и комитет эмигрантов на острове Кор-

фу выступили против смертной казни. Александру было открыто заявлено:

— Если вы расстреляете Аписа, то выроете себе могилу, а когда вернетесь в Сербию, в эту могилу сами и свалитесь.

На королевича был проведен сильный нажим с трех сторон — России, Франции и Англии. Русский Генеральный штаб и русская Ставка энергично требовали отмены жестокого приговора, ибо Апис сделал многое не только для Сербии, но и помогал разведкам стран Антанты. Однако королевич Александр пренебрег просьбами ближайших союзников. Кажется, его более тревожила оппозиция своих же министров и депутатов Скупщины, кричавших:

— Что угодно, но смерть — ни в коем случае!

Александр ушел от них, гневно хлопнув дверями.

Сына поддержал только его отец — король Петр, впавший в старческое слабоумие, уже почти безумный:

— Убей их, иначе они убьют самого тебя!

Предателем Сербии был не Апис — предателем был сам королевич Александр, который шел на сговор сепаратного мира с Австрией, но Вена властно требовала от него головы Аписа...

Ночью осужденных вывели на окраину Салоник, заранее выбрав глубокий овраг для погребения. Но когда пришли к месту казни, было еще темно, и конвоиры не могли стрелять прицельно.

— Придется подождать до рассвета, — сказали палачи.

В тюремной камере Апис оставил предсмертное письмо. «Я умираю невиновным, — писал он. — Пусть Сербия будет счастлива и пусть исполнится наш святой завет объединения всех сербов и югославян — тогда и после моей смерти я буду счастлив, и та боль, которую я ощущаю оттого, что должен погибнуть от сербской пули, будет мне даже легка в убеждении, что она пронзит мою грудь ради добра Сербии и сербского народа, которому я посвятил всю свою жизнь!»

— Уже светает, — сказал начальник конвоя...

Апис в ряд с товарищами вырос над обрывом оврага.

— Да здравствует Сербия! Да здравствует будущая свободная страна — ЮГОСЛАВИЯ! — были их последние слова.

Дали первый залп — Апис вздрогнул от пуль.

Дали второй залп — Апис лишь пошатнулся.

Дали третий залп — Апис опустился на корточки.

— Сербы, вы разучились стрелять, — прохрипел он.

— Добейте его! — раздались крики офицеров. — Добейте, иначе этот бык сейчас снова подымется...

Его добивали пулями и штыками. И — добились!

Правда от народа была сокрыта, а королевич Александр, умывая руки от крови невинных, сообщил русскому царю Николаю II, что уничтожил «революционную организацию», желающую гибели всем монархам. Долгие 36 лет никто в Югославии не знал ни вины, ни правоты Аписа — правда покоилась в личных тайниках королевской семьи Карагеоргиеви-

чей, недоступная гласности. Но патриоты Сербии по клочкам выявляли истину, когда уже исполнилась мечта Аписа о новой свободной Югославии...

В 1953 году Иосип Броз Тито потребовал, чтобы народ социалистической Югославии узнал сущую правду о героях прошлого, умерщвленных с именами «злодеев».

Тогда же Верховный суд Народной Республики Югославии пересмотрел дело Аписа, и полковник Драгутин Дмитриевич (он же и Апис) был посмертно реабилитирован!

Вся его прежняя деятельность была признана полезной для освобождения балканских народов.

Из числа классических «злодеев» Апис перешел в историю под именем «национального героя».

Так бывало в истории. И — не раз бывало...

Глава третья

ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА

*Рыдай, буревая стихия,
В столбах буревого огня!
Россия, Россия, Россия —
Безумствуй, сжигая меня.
Андрей Белый*

Написано в 1944 году:

...мой возраст насторожил врачей медицинской комиссии, когда я был отозван в Москву, но мое здоровье они нашли в хорошем состоянии, чему немало и сами удивились. На приеме у начальства мне указали готовиться в дальнюю командировку. Теперь уже никто в мире не сомневался в нашей победе, и для меня, кажется, нашлось важное дело. Я смирил свое любопытство, не спрашивая, куда забросит меня судьба, задав лишь вопрос:

— Надолго ли я буду в отлучке?

— Пожалуй, до конца войны, — отвечали мне.

Я сказал, что в таком случае мне крайне необходимо побывать в том городке, где я оставил женщину с двумя дочерьми, которых перевезу в Москву, поселив их в своей квартире.

— Это ваша семья?

— Нет. Беженцы, которых я приютил у себя.

— Вопрос отпадает, — указали мне. — Сейчас не время для разведения лирики. Москва и так переполнена наезжими. Вот если бы эта женщина была вашей законной женой, тогда...

Тогда все стало ясно. Пристроившись к эшелону, увозившему в глубокий тыл тяжелораненых, я добрался до городка ранним утром, когда в доме все еще спали, а постаревшая Дарья Филимоновна кола полена для самоварной лучины.

— Никак и вы объявились? — с трудом разогнулась старуха. — Подкинули мне жильцов, а сами пропали невесть где...

За чаем, разложив на столе засохшие в пути бутерброды, я — в присутствии дочерей — сделал предложение Луизе Адольфовне, объяснив ей причину своего внезапного появления:

— Я не претендую на ваши женские чувства, да

это было бы и глупо в мои годы, но прошу вас быть моей женой. В этом случае моя совесть будет чиста перед вами и вашими дочерьми. Будем практичны. Квартира в Москве — к вашим услугам, а положение моей жены нельзя сравнить с нынешним...

В городском загсе заспанная, явно больная женщина растапливала печку. Скупно поджав морщинистые губы, она безо всяких эмоций внесла в книгу запись регистрации нашего брака. Наверное, мы, новобрачные, выглядели весьма странно, почему она и не поздравила нас. Когда же мы покинули жалкое помещение захудалого загса, Луиза Адольфовна разрыдалась:

— Господи, да что же это со мной происходит?

— Успокойся, — ответил я. — БРАКИ СОВЕРШАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ, а в наших загсах только ставят печати в паспортах...

По дороге домой Луиза тревожно допытывалась:

— А разве твое сочетание со мной, ссыльной немкой, не повредит тебе и твоей службе? Неужели не боишься так легкомысленно связывать судьбу со мною и моими детьми?

— Человеку в моем возрасте уже ничего не страшно...

Луиза перестала плакать. Она даже успокоилась.

— Мои предки из бедных богемских гернгутеров выехали на Русь еще при Екатерине, я не знала иной родины, кроме России, и всегда верила, что русские люди добрые, но ты... Всевышний увидел мои страдания и послал тебя к нам, чтобы мои девочки, Анхен и Грета, не погибли на этом проклятом вокзале.

— Не благодари. Со мною еще многое может случиться.

— Только вернись. Не оставь нас одних. Заклинаю!

После неизбежных хлопот с московской пропиской и определением девочек в школу я стал собираться в дорогу. Лишь теперь я понял, что во мне что-то безжалостно рвется и может оборваться навсегда. Прощаясь, я умолял Луизу сберечь мои записки, как самое святое, и пусть накажет дочерям хранить их, никому не показывая лет двадцать—тридцать, чтобы справедливое время отсеяло все злые плевелы...

...Эти страницы, как ни странно, я дописываю уже в итальянском порту Бари, надеясь, что первым же обратным самолетом их переправят по московскому адресу и они станут эпилогом всей моей проклятушей, но и замечательной жизни. Впрочем, у меня нет никаких дурных предчувствий. Однако я переживаю очень странные впечатления! Порою мне кажется, что сейчас я обрел вторую молодость и мне опять предстоит встреча с драконом — в тех самых краях, где начиналась моя зрелая жизнь.

Земные катаклизмы, не раз губившие цветущие города и миры давних цивилизаций, вряд ли, наверное, были способны нанести такие разрушения, какие испытал Сталинград, жестоко истерзаный огнем и металлом. Пилот умышленно снизил наш «дуглас», чтобы мы, его пассажиры, воочию убедились в гран-

диозности панорамы той битвы, которая решила исход войны. Сталинград — я не ожидал этого! — уже курился дымами самодельных печурок, оживленный примитивным бытом его воссоздателей, но сам город еще находился в хаосе разрушения, а вокруг него — на множество миль — война раскидала по балкам обгорелые остовы танков, виднелись разбросанные вдоль насыпей скелеты эшелонов, сверху угадывались искореженные грузовики и обломки самолетов, торчком врезавшиеся в сталинградскую землю. Я невольно вспомнил фельдмаршала Паулюса, говорившего, что он хотел бы опять побывать в Сталинграде, уже в новом, отстроенном, но ему, как и мне, вряд ли это удастся...

Нас, пассажиров, было немало, и все мы понадобились на фронте, слишком далеко от России, но слишком важным для всех нас, русских. Тут были генералы, заслуженные партизаны, авиатехники, минеры, врачи-хирурги, опытные связисты, целый штат переводчиков и даже гордый московский дипломат, оказавшийся моим соседом, жестокий порицатель политики Уайтхолла.

— Черчилля, — рассуждал он, — еще смолоду так и тянет на Балканы, словно петуха на свалку, где зарыто жемчужное зерно. Он и сейчас ведет двойственную политику между народной армией маршала Тито и югославским королем Петром II Карагеоргиевичем, которого держит в Каире вроде кандидата на белградский престол, давно оплеванный самим же народом...

Я ответил дипломату, что согласен с ним:

— Но, извините, не во всем! Россия с давних времен тоже смотрела на балканские дела слишком заинтересованно, подобно тому, как богатый сосед заглядывает в огород бедного соседа, которому необходимо помогать. Так что тяготение Черчилля к Балканам я понимаю — хотя бы политически.

— Понимаете? Но, позвольте, почему?

— Так сложилось... Стрелка компаса Европы, как бы сильно его ни встряхивали, как бы ни отвлекали ее приложением к иным магнитам, все равно будет указывать именно на Балканы, и Черчилль это учитывает, именуя Балканы «подвздошной Европы». Гитлер всюду вызвал сопротивление народов, но, скажите, где он встретил самое мощное противодействие своим планам? Только в южных славянах. И, пожалуй, одни лишь сербы способны сражаться до последней крайности, ибо никогда не сдаваться, — этому их научила сама великая мать-история...

Над калмыцкими степями мы летели без опаски, и я припомнил, как недавно меня, раненного, мотало здесь в разрывах снарядов немецких зениток. А теперь — тишина, солнце, облака, впереди Астрахань; мой сосед-дипломат уже нервничал:

— Генерал, вы не боитесь летать над морем?

— А вам не все равно, куда падать?

— Я, честно говоря, побаиваюсь...

«Дуглас» уже пронизывал жаркий воздух над Ленкоранью, близилась Персия, и мой сосед потащил к себе чемодан:

— Коллега, как вы относитесь к пище святого Антония?

— Не откажусь от меню блаженного старца, если в его рацион не входят сороконожки, саранча и сколопендры...

Глянув в раскрытый чемодан, я воочию убедился, что библейские святые питались гораздо хуже наших дипломатов школы Молотова и Вышинского.

А вот и знакомый мне аэродром Тегерана. Англичане сразу предложили автобус, чтобы наша делегация прокатилась по городу, но я решил остаться в самолете, желая вздремнуть. Все пассажиры, и даже отчаянные заслуженные партизаны, искренне волновались, где бы им тут, в Тегеране, отоварить московские талоны на обед. Палот вразумил их:

— Да идите в любую харчевню! Вы же доллары получили, так и шикуйте себе на здоровье... А продовольственных карточек здесь нету.

Далее мы летели на очень большой высоте, преодолевая горные пики, но даже здесь термометры показывали 25 градусов выше нуля, перегретым моторам нелегко было тянуть машину в этом опасном звенящем пекле. «Дуглас» совершил посадку в Багдаде, столице Ирака, и тут, как и в Тегеране, первая речь, которую мы услышали, была английская.

Пилот, уже бывавший в Багдаде, предложил выкупаться. Но в Тигре, переполненном черепахами, плывущими по своим важным делам, это казалось даже опасно, мы купались в озере Хабанийи.

Снова мы в небесах. Глядя в иллюминатор, я не радовался бесконечной желтизне пустынь с редкими оазисами. Но я невольно вздрогнул, когда под крылом «дугласа» открылась зеленеющая Палестина, такая ветхозаветная. Конечно, сверху ничего не высмотришь, но я дополнил земной мираж воображением, невольно воскрешая в памяти «палестинский цикл» нашего знаменитого живописца Поленова... Под нами — в знойном мареве — уже простирались Синайские пустыни, и врач, проверив мой пульс, сказал, указывая на иллюминатор:

— Удивляюсь, как в этих краях могут жить люди?

— Между тем, — ответил я, — библейский Моисей сорок лет гонял своих евреев именно в этой Синайской пустыне, чтобы вымерли все рожденные в египетском рабстве, а остались жить только те, кто никогда не знал оков рабства.

— Пульс нормальный... Неужели вы верите в эти глупые сказки, давно отвергнутые нашей передовой советской наукой?

— Из уважения к вам, доктор, не стану спорить, тем более что теперь можно любоваться дельтою Нила... Каир!

Каир в годы войны напоминал Вавилон с чудовищным смешением языков: тут было скопище греков, евреев, австралийцев, чехов, киприотов, сербов, мальтийцев, индусов, встречались и наши белогвардейцы, но все они дружно ругали хозяев положения — англичан. Впрочем, мы лично не имели причин для недовольства, ибо на аэродроме «Каиро-Вест» они встретили нас с приятным дружелюбием. Мы жи-

ли в палатках, снабжённых холодильниками, набитыми бутылками с пивом, обедали с английскими летчиками. Эти brave и веселые ребята с большим сомнением отнеслись к нашему маршруту — лететь сначала до Мальты, чтобы потом из Бари садиться прямо на свет сербских костров:

— Вы разве не боитесь лететь почти тысячу миль в сухопутном самолете над морем, над которым не затихает война? Есть ли у вас хоть надувные жилеты, чтобы барахтаться в них часика два-три, после чего можно смело тонуть?..

Увы, жилетов у нас не было. Под нами снова лежала пустыня — на этот раз Ливийская, где не так давно была разгромлена армия Роммеля, танки которого, выкрашенные в желтый цвет, нашли свою могилу под Сталинградом; все мы приникли к иллюминаторам, желая видеть панораму великой битвы, о которой так много кричали в Лондоне, но... пески, пески, пески. И вот наконец увидели море! Наш самолет словно повис над бездной, а мы, пассажиры, невольно поежились при мысли: что будет с нами при встрече с немецкими «мессерами»? Однако штурман, впервые летевший над Средиземным морем, вывел нас точно на Мальту, которая сверху казалась ничтожной горошиной, растущей посреди синего поля.

Никогда не забуду, что добрые мальтийцы, узнав о появлении русских, вывесили из окон своих квартир красные флаги. В тавернах Ла-Валетты мы чуть не лопнули от избытка пива всяких сортов, ибо возле дверей стояли длинные очереди жаждущих — нет, не выпить, а только ради того, чтобы чокнуться кружкой с русским. Глава нашей миссии справедливо решил:

— Летим в Бари! А то все здесь съедемся...

Южная Италия переживала дни освобождения. Мы благополучно приземлились на аэродроме в Бари. Это случилось в феврале 1944 года, а на всю дорогу от Москвы ушло больше месяца. Я заметил, что раньше из Одессы в Бари попадали гораздо скорее:

— Сюда ходил пароход под флагом Палестинского общества, продавая билеты по дешевке нашим богомольцам, плывшим в Бари поклониться христианским святыням. Но самое удивительное в том, что многие жители Бари тогда знали русский язык.

— Откуда вам это известно? — удивился дипломат.

— У меня была длинная жизнь, и не забывайте, что я окончил Академию старого русского Генштаба, а мы, генштабисты, были обязаны знать очень многое... Иногда даже такие вещи, какие в обыденной жизни вряд ли могли пригодиться. Но знать надо!

Барийский аэродром был плотно заставлен союзническими «дакотами», «мустангами» и «аэрокобрами»; здесь же ютились итальянские самолеты типа «савойя», моторы которых издавали звуки играющего аккордеона, отчего нашей молодежи хотелось потанцевать. Нас опекали шумливые и щедрые американцы. Не обошлось и без итальянской экзотики, включая неизменные спагетти. Но именно в Бари я впер-

вые вкусил от брэнного тела осминога, испытав такие же приятные ощущения, какие, наверное, испытывает человек, которому привелось ради вежливости, дабы не обидеть радушных хозяев, жевать старую галошу...

Нам предстояло совершить прыжок через Адриатику, чтобы оказаться среди партизан героической Югославии. Однако начальник нашей миссии огорчил нас неприятным известием:

— Придется ждать. Янки перехватили сигнал тревоги. Партизаны маршала Тито дважды готовили посадочные площадки для нас, но усташичетники перебили охрану площадок, устроив свои ложные площадки с фальшивыми кострами, чтобы вся наша миссия угодила в их западню. Погуляйте, товарищи...

Время ожидания я решил употребить с пользой для себя, предложив своим попутчикам составить мне компанию.

— А что здесь смотреть? Нищета, и только.

— За нищетой Бари увидится многое. Достоинна всеобщего внимания древняя базилика святого Николая Чудотворца и очень пышное надгробие польской королевы Боны Сфорца, известной отравительницы, кончившей тем, что ее тоже умертвили ядом.

— Вы здесь бывали раньше? — спросил дипломат.

— Никогда.

— Так откуда вы это знаете?

— Но я ведь учился в старой доброй гимназии, а там преподавали не только «закон божий», как многим теперь кажется...

В один из дней американцы сообщили, что в районе Медено-Поле нам приготовили место для посадки, и ночью можно испытать судьбу. Мы вылетим вечером, чтобы в сплошной темени ночи разглядеть звезды партизанских костров... Моторы уже ревут, меня торопят.

Читатель, конечно, достаточно извещен о легендарной судьбе Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), возглавляемой подлинным героем славянского мира — маршалом Тито.

По сути дела южные славяне создали в Европе даже не «сопротивление», а образовали целый боевой фронт против захватчиков, и Гитлер никогда не забывал учитывать угрозу этого фронта для всего вермахта, для всей Германии.

Вплоть до осени 1943 года немцы, итальянцы и усташа провели шесть мощных наступательных операций против НОАЮ — с танками и авиацией, причем к этому времени югославские партизаны освободили от оккупантов уже половину всех территорий своего государства.

Примерный подсчет времени показывает: наш герой попал в Югославию где-то в начале марта, а 25 мая 1944 года немцы предприняли седьмое наступление, и оно было самым страшным, самым кровавым, самым жестоким...

1. ДОМА И СОЛОМА ЕДОМА

Вот она, жизнь офицера российского Генштаба — можете смеяться надо мною, но иногда можно и пожалеть меня...

Я отбывал домой в самом возвышенном настроении, часто поминая народную мудрость: дома и солома едома!

До Марселя добрались нормально, каюта на пароходе оказалась мне удобнее парижского экспресса. Граф Игнатъев не сразу узнал меня, настолько я изменился, но потом долго говорил о бессовестном поведении французов, алчущих русской кровушки на своих же фронтах:

— Да, мы просили у них оружие, это верно. Но Россия ни разу не снизошла до того, чтобы кланчить французских или английских солдат для затыкания своих дыр во фронте, хотя нашей армии было намного тяжелее, нежели союзникам...

Я в свою очередь рассказал Игнатъеву о горестном положении наших воинов под Салониками, где из полотенец сначала крутят портянки, а потом из портянок режут бинты для перевязывания ран; союзный Санитет ломится от избытка медицинских инструментов, но русские врачи используют в качестве стерилизаторов жестяные банки из-под автомобильного бензина.

— В каком амплу решили возвращаться в отечество?

— Для удобства лучше под видом серба...

Игнатъев вручил мне билет до Кале, откуда я должен переправиться в Англию, чтобы плыть далее — до Романова-на-Мурмане, который протянул рельсы от Кольского залива до Петрограда. Алексей Алексеевич предупредил, что англичане хорошо освоили путь до нашего Мурманска, где чувствуют себя хозяевами, а консерватизм их общества несколько не пострадал даже после очень сомнительных успехов в Ютландском сражении на море.

— Один мой приятель, когда ему подали телятину с желе из смородины, осмелился — экий нахал! — заменить желе обычной горчицей, после чего в Лондоне на него смотрели как на дикаря, желающего вкусить человечины. На этом его карьера офицера связи при англичанах закончилась, и он сам догадался убраться домой, где с горчицей все в порядке!

В Кале шла посадка на миноносец № 207, я — в форме сербского офицера — никаких подозрений не вызвал.

На северных морских путях, ведущих в Россию, недавно взорвался крейсер «Хэмпшир», на котором британский лорд Гораций Китченер спешил в Петроград, дабы побудить наших генералов к большей активности. В книге Джона Астона сказано: англичане «надеялись, что присутствие этого сильного и беспристрастного человека будет способствовать принятию разумных решений» в русских военных кругах. Я знал Китченера как жесточайшего колонизатора, и, наверное, прибыв в Россию, он бы навсегда запретил нам потребление горчицы. Я появился в Англии, когда вся страна была погружена в печаль по случаю

его гибели; в поезде, идущем в Портсмут, я наслушался всяких вздорных речей от морских офицеров, для меня оскорбительных:

— Как не уберегли тайну выхода в море «Хэмпшира»? Если же русские знали о визите к ним Китченера, не могли ли они за бутылкой водки подсказать немцам, где удобнее расправиться с их гостем, чтобы избежать его визита в Россию?..

Дикая нелепость подобных слухов была очевидна. Я плыл на родину тем самым путем, который в войне с Гитлером оживили союзнические караваны с поставками по лендлизу. Думаю, нашим североморцам приходилось тут нелегко, но мое тогдашнее плавание к родным берегам было попросту утомительно-нервным. Англичане требовали от меня, чтобы в случае гибели корабля я четко знал, в какой люк вылезать, в какую шлюпку садиться, за какое весло хвататься. Паче того, ради условий секретности они все время дурачили меня, будто наш корабль плывет в Америку. В кают-компании часто повторялись рассуждения:

— Россия уже шатается. Наша святая обязанность — или подтолкнуть ее, падающую, чтобы она долго не мучилась, или, напротив, удержать над пропастью, благо эта богатая сырьем держава еще может нам пригодиться... Дальний Восток более интригует японцев, зато вот Кольский полуостров, по данным ученых, таит в своих недрах удивительные сокровища...

Они рассуждали в моем присутствии столь откровенно, ибо я выдавал себя за дипкурьера с корреспонденцией от Пашича к сербскому посланнику Спалайковичу. Думаю, что хозяевам кают-компании было не очень-то приятно, когда однажды — в конце такой дискуссии — я сказал им на английском языке:

— Качка была сильная, но ваш корабль не потерял остойчивости, ибо в его трюмах полно артиллерии, из чего я понял, что вы решили Россию еще не толкать, а поддерживать...

Мурманск (Романов-на-Мурмане) остался для меня в тумане, как сказочное видение; хорошо запомнил только ряды унылейших барачков, возле которых дружно мочились какие-то лохматые типы явно преступного вида, слишком подозрительно озиравшие мое парижское пальто и мой чемодан из желтой кожи. Провожаемый их долгими и алчущими взорами, я выбрался к станции, которая тоже была барачком, но здесь уже пыхтел на путях состав из пяти вагонов с окнами, заклеенными бумажками.

Конечно, за кратчайший срок построить железнодорожную магистраль от Кольского залива до столицы попросту невозможно, и потому пассажиры героически выносили рискованные крены вагонов, грозившие перевернуть состав кверху колесами, а на синяки и шишки даже не обращали внимания. На редких полустанках я видел и создателей этой железной дороги — люто-мрачных германских военнопленных и русских землекопов.

Первые весьма охотно объясняли мне суть этой трассы:

— Под каждой шпалой — скелет померанского

гренадера. Еще канцлер Бисмарк доказывал в рейхстаге, что все Балканы не стоят костей одного померанского гренадера, а здесь...

Кладбище! Русские мужики говорили о том же:

— Сколько тут шпал до Питера — столь и могил. Округ болота, хоронить негде, так мы усопшего под шпалу какую ни на есть сунем — и далее гоним, а паровоз всех придавит...

До самой Кеми я не вылезал из вагона-ресторана, где кухня предоставила к моим услугам такие деликатесы, о которых я даже забыл в Европе: черная икра, осетрина, медвежья окорока, налимы, рябчики и куропатки величиною с цыпленка. Петрозаводск, столица Олонецкой губернии, удивил меня музыкой духовых оркестров на бульварах, изобилием товаров и провизии в магазинах — казалось, местные жители совсем не ведали лишений войны. Итальянский дипломат Альдрованди Марескотти, проезжавший через Петрозаводск чуть позже меня, тоже попал под очарование этого волшебного города — с его особой неяркой красотой, со множеством храмов и музеев. «За двойными стеклами окон, — писал Марескотти, — видно множество гиацинтов в полном цвету. Несмотря на жестокий холод, мы встречаем на улицах красивых женщин, одетых по последней моде, как в Париже или в Риме: короткие платья, у всех прозрачные чулки...»

— Когда будем в Петербурге? — спросил я проводника.

— В Петрограде, — поправил он меня, — будем точно по расписанию — в десять утра. Дорога славитя точностью...

Что первое я заметил в военном Петрограде и чего не видел ранее в мирном Санкт-Петербурге? Мужские профессии доблестно осваивали женщины. Я видел их кучерами на козлах пассажирских пролеток, они браво служили кондукторами в трамваях, обвешав свою грудь, словно орденами, разноцветными свертками билетов, наконец, они же сидели в подворотнях домов — их называли тогда не «дворничихами», а «дворницами»...

Господи, помилуй Акулину милую! С непривычки мне было противно видеть женщин, исполняющих мужскую работу.

Проходят годы, минуют столетия, люди свято хранят память о великих певцах, славословят писателей, ставят на площадях памятники дипломатам и полководцам, но имена шпионов, за очень редкими исключениями, пропадают в туне, и лишь немногие из них осмеливаются оставить после себя мемуары.

Все люди, жертвующие собой во имя высших идеалов Отчизны, так или иначе, но все-таки верят, что их имена останутся на скрижалях истории. Иное дело — офицер разведки Генштаба, остающийся безымянным, как бы навеки погребенным в недрах секретных архивов, куда посторонним нет доступа. Именно так! И чем долее он никому не известен, тем больше ему славы, но эта слава тоже законспирирована, как и сам агент разведки. История не любит поминать людей нашей профессии, словно на них наложено

гнусное клеймо касты неприкасаемых. Но, скажите, найдется ли такой актер, который бы согласился всю жизнь играть лишь «голос за сценой», оставаясь невидим и неизвестен публике? А вот агент разведки умышленно таится за кулисами, желая остаться неизвестным, ибо его известность — это гибель, и для него, разоблаченного и казнимого, нет даже парадного эшафота, чтобы народ запомнил его лицо. Так что ему ордена и почести? Что они могут значить, если офицер разведки не осмелится надеть их в «табельные дни» народных празднеств, ибо он не вправе объяснить людям, за что им эти ордена получены.

Агентов уничтожают без жалости. Враги! Но иногда их умышленно уничтожают свои же — тоже без жалости, ибо эти люди невольно делаются опасны, как носители чудовищной информации, для государства невыгодной. Знаменитая шпионка кайзера «фрау Доктор» (Элиза Шрагмюллер) была добита в гестапо, ибо не могла забыть то, что забыть обязана. На могильном камне английской шпионки Эдит Кавель, расстрелянной немцами, высечены ее предсмертные слова: «Стоя здесь, перед лицом вечности, я нахожу, что одного патриотизма недостаточно». Много было домыслов по поводу этих слов, и если разведчику «одного патриотизма недостаточно», то спрашивается, что же еще требуется ему для того, чтобы раз и навсегда ступить на тропу смерти? Думаю, все дело как раз в патриотизме самого высокого накала, который толкал людей на долгий отрыв от родины, на неприемлемые условия чужой и враждебной жизни, чтобы в конечном итоге — вдали от родины! — служить опять-таки своей родине...

Я никогда не считал свою профессию выгодной в денежном или карьерном отношении. В конце-то концов, будь я инженером путей сообщения или грозным прокурором, я зарабатывал бы гораздо больше, а пойдя я по штабной должности, угождая начальству, я бы выдвинулся в чинах скорее. Но я никогда не раскисался в избранном мною пути, и не потому, что любил риск, вроде акробата под куполом цирка, — нет, мне всегда казалось, что я делаю *нужное* для народа дело, за которое не всякий (даже очень смелый человек) возьмется.

Я всегда был очень далек от политики, не вникал в социальные распри, не уповал на грядущее благо революции, но, смею думать, что именно любовь к отчизне и к справедливости ее народных заветов повела меня туда, где я должен быть, и не кому-нибудь, а именно мне, бездомному бродяге, пусть выпадет то, что я обязан принять с чистым сердцем...

Если угодно, эти слова можете считать *моей исповедью!*

От вокзала я пешком прошел до Вознесенского проспекта, где долго стоял перед дверями своей старой квартиры, в которой меня ожидало лютное одиночество и... пыль, пыль, пыль. Подергал ручку двери и горько рассмеялся. Пришлось звать швейцара и городового с улицы, дабы в присутствии понятых — соседей произвести взлом дверей собственной квартиры.

— Вы уж меня извините, — сказал я людям, ког-

да под натиском лома и топора двери слетели с петель. — Был у меня ключ. Был! Еще старенький. Но потерялся. Что тут удивительного, дамы и господа? Сейчас не только ключи — и головы теряют...

Было неприятно, что в ванне лежала мертвая иссохшая мышь. Наверное, она попала в ванну случайно, а погибла в страшных муках — от жажды, ибо краны были туго завернуты.

Я позвонил в Генеральный штаб, доложил о своем прибытии.

Интересно, где-то я теперь понадоблюсь?..

2. МЫШИНАЯ ВОЗНЯ

Где только не приходилось спать в годы войны, но самой дикой была первая ночь, проведенная в своей же квартире, на скрипучем отцовском ложе, где никто, казалось бы, не мешал наслаждаться желанным покоем. Никто, кроме этой соседки за стеною — мыши! Бедная, вот уж настрадалась она... и некому было ей помочь. Никогда не был сентиментален, но сатанинские муки крохотного зверька, не сумевшего выбраться из глубины ванны, ставшей могилой, были так мне понятны, будто я сам пережил страдания этой жалкой мыши.

Вскоре меня стала угнетать неопределенность моего положения. Генштаб, безусловно, зафиксировал возвращение своего агента, но более ничем не беспокоил. Это меня удручало. Иногда стало мниться, что я не оправдал доверия Генштаба, что там, в самых высоких инстанциях, мною недовольны, как простаком, а порою даже думалось, что, останься я в Салониках, ко мне бы отнеслись с большим вниманием. А без дела я был — как тот мышонок, который в поисках воды погиб от жажды. По чину полковника я теперь щеголял по слякоти в новеньких галошах, как бы давая понять нижестоящим, что эти блестящие галоши прокладывают мне прямую дорогу к генеральским чинам...

Смешно, не правда ли? Но я тогда не смеялся.

Без вызова я сам побывал на верхнем этаже здания Главного штаба на углу Невского, где и без меня забот всяких хватало. Поговорив с коллегами, я с немалым огорчением убедился, что наша агентурная разведка ныне занята не столько разведкой, сколько борьбою с агентурой противника, умело пронизавшей наш военный и государственный аппарат — сверху донизу, вдоль и поперек. Дело дошло до того, что недавно в столице открыто провдидлась через швейцаров подписка на помощь сиротам-беженцам, а все собранные денежки спокойно упыльвали в Берлин — на развитие подводного флота Германии.

Разговор с начальством был для меня тяжелый и неприятный, я сорвался, нервы мои не выдержали попреков:

— Послушайте, я ведь старался не ради того, чтобы дослужиться до галош. Если для меня не сыщется никакого дела, я могу просить отставки, не отягощая в дальнейшем свою судьбу тяжким бременем генеральских эполет. В конце концов я могу довольствоваться и пенсией полковника,

На это было сказано:

— Во время такой ужасной войны просить об отставке могут только совсем уж бестолковые люди.

— Так и считайте меня таковым. Я согласен на все, лишь бы не выслушивать ваших глумливых сентенций...

В самый острый момент разговора вдруг появился Николай Степанович Батюшин и, отвесив поклон в мою сторону, присел к подоконнику, листая какие-то бумаги. Потом сказал:

— Вернулись? Глаза целы? Руки-ноги на месте? Ну и скажите судьбе спасибо, что живым оставили.

— Благодарю. Но вы, Николай Степанович, появились не ради того, чтобы присыпать мои раны солью.

— А придется! — ответил Батюшин. — Ваше имя неожиданно попало в швейцарские газеты, в них обрисован — и довольно-таки точно! — ваш внешний портрет. Швейцарская полиция работает на руку германской, что вас, надеюсь, никак не обрадует.

Я уже привык балансировать на острие ножа, однако подобное сообщение меня достаточно обескуражило:

— Когда и где меня подцепили — не знаю. Очевидно, мое имя возникло чисто случайно... Хотя, — вдруг догадался я, — на фронте под Салониками англичане имели немало поводов для недовольства мною, и, чтобы дезавуировать меня как русского агента, они могли дать обо мне информацию в Швейцарию, дабы навсегда закрыть мне пути в Германию.

— Похоже на правду, — согласился Батюшин. — Да, похоже. Тем более что майор Нокс, как очевидец гибели армии генерала Самсонова, не нашел ни одного доброго слова о вас лично. По его словам, вы занимались там всякою ерундой.

— Простите. Какой ерундой я мог заниматься?

— Нокс заметил: вы искали опору в поляках или в мазурах, всегда расположенных к России, а вам следовало вербовать агентуру среди местных жителей — пруссаков.

— Чушь! — отвечал я. — Не вербовать же мне было разъяренных прусских мегер, которые ошпаривали крутым кипятком наших солдат из окон. Там все население с детских яслей воспитано в ненависти к нам, русским. Местных славян немцы превратили в своих рабов, и тамошние юнкеры не уберутся из Пруссии, пока не вышвырнем их оттуда...

Среди офицеров разведотдела скромно посиживал и капитан Людвиг фон Риттих, который даже без злобы заметил:

— Любить свое отечество никому не запрещено. Мои предки вышли на Русь из той же Пруссии, два столетия верой и правдой служили династии Романовых. Но это не значит, дорогой вы мой, что я стану обливать вас из окна крутым кипятком.

Я постарался сохранить полное спокойствие:

— Вам легче, господин капитан, нежели мне. У вас в запасе имеется вторая отчизна, из которой вы явились на Русь и в которой снова укроетесь, если с Россией будет покончено. А куда... мне? — спросил я, сам дивясь своему вопросу.

Но фон Риттих оказался способным больно ужалить:

— Пока в Сербии существует полковник Апис, запятнавший себя царевубийством, вы всегда сыщете дорогу до Белграда...

Я почему-то опять вспомнил несчастную мышь, которую так и не выкинул из ванны, моя рука невольно вздернулась для пощечины, но Батюшин (спасибо ему) вовремя перехватил ее:

— Господа, мы же не извозчики в дорожном трактире, где сивуху заедают горячим рубцом. Оставайтесь благородны...

— Останемся, — сказал я, натягивая перчатки. — Но я чувствую, что наша разведка превратилась в какую-то лавочку, и потому будет лучше, если я завтра же стану проситься на передовую. Лучше уж погибнуть полковником с именем, нежели тайным агентом без имени... Всего доброго, господа!

Я вернулся к себе на Вознесенский и, пересилив брезгливость, первым делом выбросил из ванны дохлую мышь, которая высохла, став почти бестелесной. Звонок по телефону вернул меня в прежнее бытие. Батюшин сказал:

— Я вижу, что Балканы вас здорово потрепали. Ваши нервы уже ни к черту не годятся. Знаете, в таких случаях иногда полезно общение с умными и приятными женщинами.

— Извините, Николай Степанович, по бардакам не хожу.

— Так в бардаках и не встретитесь приятных и умных женщин. А я зову вас вечером посетить салон баронессы Варвары Ивановны Иксуль фон Гильденбандт, урожденной Лутковской, которая в первом браке была за дипломатом Глинкой... Помните ее портрет Ильи Репина? Во весь рост. В красной кофточке. Широкой публике он известен под названием «Дама под вуалью».

— А к чему мне лишние знакомства?

— Я думаю, вам будет весьма любопытно взглянуть на женщину, из-за любви к матери которой наш великий поэт Лермонтов стрелялся на дуэли с Эрнестом Барантом...

Тогда я не понял, что в разведотделе для меня готовили новое дело, почти домашнее, дабы я малость поостыл после всего, что мне довелось испытать вдали от родины.

— Ну, так что вы решили? — спросил Батюшин.

— Хорошо, Николай Степанович, я приду... О чем мне хоть говорить-то с этой баронессой?

— Да она сама разговорит любого...

Вечером я появился в особняке баронессы на Кирочной улице. Знаменитая «дама под вуалью» была, естественно, без вуали, а в ее прическе элегантно серебрилась прядь седых волос. Я слышал, что в числе многих имений Варвары Ивановны одно, доставшееся от мужа, было в Лифляндии, почти под самую Ригу, и называлось оно «Иксуль», где сейчас шли жестокие бои...

— Предупреждаю, — с вызывающим юмором сказала Варвара Ивановна, — что все баронессы в те-

атральных пьесах — злодейки и распутницы, а во время войны все шпионки — обязательно баронессы... Вас это не пугает, господин полковник?

— Меня давно уже так не пугали, — ответил я...

В числе многих гостей баронессы, великих артисток и сенаторов, скромных живописцев и модных адвокатов, я не сразу заметил и Батюшина, зато был рад увидеть в салоне Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, который очень хорошо отозвался о хозяйке дома, как о женщине самых передовых воззрений:

— Она не только дружила с семьей Чехова, но в пятом году вызволила из Петропавловской крепости молодого Максима Горького. Я не принадлежу к числу ее друзей, мне просто понадобился план имения баронессы «Иксуль», возле которого немцы ведут активное наступление. Там же, возле имения, железнодорожная станция, и если немцы возьмут ее, то сразу перережут важнейшую магистраль Рига — Петербург...

Комнаты салона напоминали музей, так много было в них итальянских скульптур и живописных полотен, а во множестве женских портретов я распознал черты самой владелицы дома. Ее салон был украшен редкостной коллекцией старинных бронзовых часов — буль, ампир, люисез, форокайль, и все они бессовестно выстукивали свои мотивы, назойливо напоминая об уходящем от нас времени. Заметив мой неподдельный интерес к старине, Варвара Ивановна пояснила:

— Я имела несчастье быть женой дипломатов, которые торопились покинуть меня, дабы поселиться на другом свете. Многие тут осталось от них... А вы, как я слышала, лишь недавно вернулись в Питер? Что более всего вас удивило на родине?

Если бы об этом спрашивал Бонч-Бруевич, я бы сознался, что в столице заметил «немецкое засилье», но женщине, носившей фамилию Иксуль фон Гильденбандт, я не мог так отвечать и высказал свое мнение о социальном разброде в обществе:

— Народ в оппозиции к правительству, министры в оппозиции к царю, Дума в оппозиции к министрам. Мне, свежему человеку, многое кажется странным... Не знаю, насколько это справедливо, но, как говаривал еще Бенжамен Констан, «даже если народ не прав, правительство все равно останется виноватым». Можно лишь гадать — чем все это закончится.

Варвара Ивановна поправила седую прядь волос с некой небрежностью, как бы намекнув мне о своем возрасте, а следовательно, и о более глубокой ее житейской мудрости.

— Все кончится, как в опере Мусоргского «Борис Годунов», — услышал я неожиданный ответ дамы. — Под звоны колоколов царь умирает, народ восстает, но тут является самозванец, и, окруженный ревущей от восторга толпой, он входит в храм, а жалкий нищий-юродивый прозревает, становясь мудрецом, и при этом он начинает петь... Вы разве не помните его слов?

Мне пришлось сознаться в своем невежестве:

— Признаться, баронесса, забыл.

— А вы вспомните: «Плачь, святая Русь, плачь, православная, ибо во мрак ты вступаешь...»

— Страшно, — ответил я баронессе.

— Еще бы! — усмехнулась она. — Ежели все началось Ходынккой, так Ходынккой все и закончится... Сейчас, пока мы столь мило беседуем, немцы снарядами разносят мой древний замок на станции Иксукуль, и что там уцелеет — не знаю...

Я покинул салон, озвученный биением ритма уходящего времени, заодно с полковником Батюшиным, и на улице между нами возник деловой разговор. Батюшин рассказывал о невосполнимых потерях среди кадровых офицеров на фронте.

— Чтобы хоть как-то пополнить их убыль, началось массовое производство в подпрапорщики и прапорщики всех более или менее грамотных и смелых солдат, вчерашних рабочих, канцеляристов, детей лапочников и священников...

— Ну и пусть! — сказал я, думая о чем-то своем.

Николай Степанович встряхнул меня за локоть:

— Сразу видно, что вас давно не было в наших питерских Палестинах, иначе бы вы не остались равнодушны. Пусть-то оно пусть, но, случись революция, и это новое офицерство, весьма далекое от старой кастовости, может породить таких Бонапартов, что от Руси-матушки одни угольки останутся.

— А как бои под Иксукулем? — спросил я.

— С переменным успехом, — ответил Батюшин. — Впрочем, об этом гораздо лучше меня знает Бонч-Бруевич...

...Ныне же станция Иксукуль-Икшкиле — тихое дачное место под Ригую, и пассажиры поездов, равнодушно поглядывая в окна, никогда не задумываются, что здесь шли страшные бои, вся земля тут пропитана кровью латышских стрелков и русских солдат из штрафных батальонов и что именно здесь когда-то жила в древнем замке репинская «Дама под вуалью».

3. ДЕТСКАЯ ИГРА

Ко времени моего возвращения на родину в политике слишком обострился «румынский вопрос», и я втайне надеялся, что скоро предстоит вернуться на Балканы, но — совсем неожиданно — меня вдруг пожелал видеть Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич.

Первые же его слова были расхолаживающими:

— Никаких серьезных дел за кордоном пока не предвидится, а посему, милейший, поработайте-ка на домашней кухне, чтобы не потерять присущих вам навыков...

Бонч-Бруевич занимал пост начальника штаба Шестой армии, составленной из частей ополчения для охраны подступов к столице со стороны моря и Псковского направления.

— К сожалению, — продолжил Михаил Дмитриевич, — в Питере меня не жалуют, именуя «немцедем». Причиной тому, что среди подозреваемых в шпионаже я обнаружил немало сановных персон, занимающих высокие придворные должности... Разве

вы сами не заметили вражеского засилья в наших верхах?

— Заметил! Мало того, некоторые офицеры и генералы, носившие до войны немецкие фамилии, быстро «русифицировались»: фон Ритты сделались Рытовыми, Ирманы стали Ирмановыми.

— Но говорить об этом опасно, — сказал Бонч-Бруевич. — Стоит коснуться этой темы, как сразу следует нападение доморожденных либералов, обвиняющих меня в великодержавном шовинизме и даже в черносотенстве. Однако мне все-таки удалось сослать в Сибирь для катания тачек немало остзейских немцев, мечтающих об «аншлюсе» Прибалтики к Германии...

Бонч-Бруевич подтвердил, что функции русской разведки растворились в насущных проблемах контрразведки. Пока что, дабы я не сидел без дела, он просил меня помочь разобраться в результатах хаотической эвакуации промышленности из Риги; при вывозе оборудования заводов выяснилось, что самые ценные станки были сброшены из вагонов под насыпь, а кто виноват — не докапайтесь. Запасы ценнейших цветных металлов вообще куда-то пропали, будто их никогда и не было.

— Так спешили, что умудрились где-то утопить даже памятник Петру Великому... Латыши держат нашу, русскую, сторону, формирования латышских стрелков показали себя на фронте превосходно, — рассказывал Бонч-Бруевич, — но первую скрипку в рижском концерте играют все-таки немцы... Впрочем, все это лишь предисловие, а суть дела вам до скажет Батюшин.

Батюшин встретил меня довольно-таки мрачно:

— Тут у меня в арестантской комнате штаба сидит капитан артиллерии Пассек с Двинского плацдарма, которым командует генерал Черемисов. Пассек явился с повинной... сам виноват, дурак! Не желаете выслушать его исповедь?

Пассек, явно страдающий, рассказал нелепую историю. В лифляндском городе Венден (ныне Цесис) имел жительство ротмистр фон Керковиус, дом которого славился гостеприимством. Невзирая на «сухой закон», вин и водок всегда было в изобилии. Офицеры прямо с передовой спешили провести вечер у Керковиуса, где их любезно привечала хозяйка, очень приятная женщина. Конечно, за вином следовали карточки, откровенные разговоры о делах на фронте, иногда в Венден наезжал «отвести душу» и сам генерал Черемисов, у которого ротмистр Керковиус состоял в роли офицера для особых поручений... Пассек рассказывал:

— По-моему, в вино добавляли какой-то дурман, ибо многие из нашей компании не выдерживали, хотя в окопах спирт лакали, как воду. Таких оставляли отсыпаться до утра, а утром они объявлялись должниками в карточном проигрыше. Вестимо, никто не смел возражать, потому что ни бельмеса не помнил. Так случилось и со мною. Я понял, что мне не отыграться, хотя специально навещал Керковиусов в надежде «сорвать карту».

— Сорвали? — спросил я.

— Напротив, еще более запутался в долгах. Но при этом у меня возникли некоторые подозрения, — признался Пассек.

— Какие? — допрашивал я. — Считайте, что вы попали на прием к врачу-венерологу, перед которым не стоит стесняться.

В глазах Пассека блеснули слезы.

— Мне стыдно, — сказал он, — даже очень стыдно... Когда все офицеры засыпали мертвецки пьяные, жена Керковиуса — внешне вполне пристойная дама! — проверяла их полевые сумки, даже рылась в офицерских бумажниках.

— Но денег, конечно, не брала?

— Нет. Деньги ее не волновали.

— А с каких пор вы знаете ротмистра Керковиуса?

— С начала войны. Еще с Либавского плацдарма.

— А его жену?

— Она появилась при нем тогда же...

— Какова ваша задолженность? — вмешался Батюшин.

— Страшно сказать. Уже под восемь тысяч рублей, или...

— Что «или»? — вдруг рявкнул Батюшин.

— Или передать план расстановки батарей возле станции Иксуль, где развернулись бои. Понимаю, что я достоин презрения. Что делать — не знаю. Помогите... такой позор...

— Ясно! — пресек его стенания Батюшин, выкладывая на стол пачки денежных купюр. — Карточный долг — это долг чести.

— Поедете в Венден? — спросил Батюшин, когда Пассека снова увели в арестантскую комнату.

— Это же детская игра, — ответил я. — Достаточно одного жандарма, чтобы Керковиусы оказались в Сибири... Впрочем, давайте мне этого несчастного капитана Пассека, поеду вместе с ним, заодно он меня и представит.

— Представит вас командиром Шестнадцатого стрелкового полка, прибывшего на пополнение. Заодно под видом интендантского чиновника с вами поедет военный юрист Шавров.

Шавров, уже пожилой человек, я и Пассек дневным поездом отъехали в «Ливонскую Швейцарию», где меня несколько не могли тешить красоты древнего Вендена, зато я заранее переваривал в своем желудке немалую порцию оливкового масла, которое помогло бы мне нейтрализовать винный дурман.

— Не дрожите, будто к вам подключили провода высокого напряжения, — заметил я Пассеку.

— Извините. Я не знаю, как вести себя.

— С нами? Как можно проще.

— Нет, не с вами, а с мадам Керковиус.

— Проще простого, — надоумил его Шавров. — С самым нахальным видом вручите этой халде деньги, а потом ведите себя как обычно.

Навстречу нашему поезду медленно ползли длинные составы с оборудованием рижских заводов, в них же ехали горемычные семьи латышских рабочих, не желавших оставаться «под немцем». В Венден

поспели к вечеру. Пассек указал дом на Плеттенбергской улице, где царило шумное веселье. Моя полевая сумка не таила в себе ничего секретного, но в нагрудном кармане походного френча лежала диспозиция для моего полка с указанием сроков начала его развертывания. Среди множества подписей под документом легко угадывалось факсимиле командующего Шестой армией генерала Фан дер Флита, которое с легкостью базарного фокусника подделал сам Батюшин. Изнутри дома Керковиусов слышались вздохи граммофона, нетрезвые голоса банкетов. Со стороны недалекого фронта автомобили подкатывали офицеров, еще грязных после окопов, но желавших в винном и картежном обалдении забыться от военных невзгод. Шавров присел в уголке, даже незаметный в тени громадного фикуса, а я проследил, как Пассек вернул долг хозяйке дома, и женщина, хорошо владевшая собой, ничем не выразила огорчения оттого, что «птичка» так легко вырвалась из ее «когтей».

Я был представлен даме, и тот же Пассек вполне к месту намекнул, что с прибытием моего полка возможны перемены в боевой обстановке у станции Иксуль. При этом я выразительно похлопал себя по нагрудному карману френча:

— Господин капитан Пассек прав — мой полк, составленный из резервистов столичного гарнизона, отступать не станет.

По расширенным зрачкам красавицы я догадался, что она уже достаточно взбодрила себя хорошею дозой кокаина. Пассек, оглядевшись среди гостей, вслух заметил отсутствие ее мужа, и женщина пояснила, что муж вернется позже — заодно с генералом Черемисовым. Я постоял в стороне, оценивая общую картину дешевого и малопривлекательного веселья. «Сухой закон» здесь был не в чести, толстая служанка Хильда обносила гостей винами и закусками. Шавров совсем затерялся в листьях громадного фикуса, только огонек его папиросы, вспыхивавший в потемках, будто сигнализировал мне о его непрерывной бдительности. Я взял с подноса рюмку водки, искоса наблюдая за хозяйкой дома, сидящей на диване с видом прожженной «львицы». Мне отчасти были знакомы шаблонные повадки немецких шпионов, подготовка которых в роли соблазнительниц была очень схожа с той «школой», что проходили высокооплачиваемые проститутки для фенешбельных борделей.

Керковиус в томной позе перекинула ногу на ногу, покачивая носком туфли — словно метроном, отбивающий ритм музыки:

— Вы смутили меня, господин полковник... так смотрите! Я пожалуюсь мужу. Он у меня страшный ревнивец...

Легко поднявшись с дивана, она провела меня в отдельную комнату, где возле буфета Хильда перетирала стаканы.

— У меня есть бутылка чудесного вина, — сказала Керковиус, присаживаясь подле меня за низенький столик. — Хильда, проверь двери, чтобы сюда не совались пьяные рожи...

Не знаю, какую роль сыграло оливковое масло, но удар алкоголя с дурманом был столь силен, словно меня по затылку огрели оглоблей. Я еле ворочал языком, решив отдаться во власть событий, и, как последний забулдыга, уронил голову на стол.

Впрочем, сознание не покинуло меня, я слышал:

— Хильда, загороди нас от окна...

Осмотр моей полевой сумки ничего ей не дал, зато из нагрудного кармана с нежным шелестом был извлечен секретный пакет, и Керковиус, уходя, строго наказала Хильде:

— Не отходи от окна, чтобы его не видели с улицы...

Мне оставалось ждать, когда она вернется. Ожидание затянулось, и я пришел к выводу, что копировальная фототехника у Керковиусов не самой лучшей берлинской марки. Наконец моя дульцинея вернулась и, вложив пакет с приказом в карман моего френча, была столь заботлива, что даже застегнула на мне пуговицу. Только теперь я оторвал голову от стола.

— Работа вполне профессиональная, — сказал я, — за которую вам, фрау Керковиус, наверное, хорошо платят...

Хильда с криком метнулась к дверям, но они уже были заперты снаружи. Я понял, что Шавров не сидел без дела, однако где же он сам? Молчание затянулось. Керковиус, чтобы выгадать время, нужно для обдумывания обстановки, медленно вытаскивала папиросу из моего раскрытого портсигара.

— Обычное дамское любопытство, — сказала она.

Но в этот момент из потаенной комнаты, где скрывалась подпольная фотолаборатория, вышел торжествующий юрист Шавров, на вытянутой руке он держал еще мокрую фотокопию секретного приказа, изъятую им из раствора фиксажа.

— Подобное дамское любопытство, — возвестил он, — карается всего лишь восемью годами каторжных работ... Суща ерунда!

У мадам Керковиус прорезался грубый голос:

— Этот бандитский налет дорого вам обойдется... я буду жаловаться Фан дер Флиту и генералу Черемисову.

С улицы раздался гудок автомобиля.

— Как по заказу! — сказал я. — Кстати прибыл генерал Черемисов с вашим супругом. Велите своей многоопытной служанке, чтобы она не дергалась, а сидела, держа руки поверх стола.

Шавров открыл дверь в гостиную, где шла игра в карты и царило пьяное веселье офицеров, но сам остался в буфетной, чтобы женщины не вздумали выскочить в окно. Я появился в гостиной как раз в тот момент, когда из сеней входил плотный здоровяк генерал Черемисов, движением плеч скидывая шинель на руки своего адъютанта Керковиуса. Тот принял шинель с плеч генерала, уже отыскивая на вешалке свободный крючок.

Меня даже прознобило. Но... сомнений быть не могло!

Керковиус, сопровождавший Черемисова, был не

кто иной, как майор фон Берцио, когда-то схваченный мною на границе в Граево, а потом разоблачивший меня в Кенигсберге.

— Добрый вечер, господа! — басом произнес Черемисов.

Берцио увидел меня — наши глаза встретились.

Без секунды промедления опытный немецкий агент с размаху набросил на голову Черемисова его шинель, и генерал беспомощно взмахивал руками, сясь освободиться от нее.

В руке Берцио тут же сверкнул револьвер.

— На память... тебе! — выкрикнул он.

Пуля вжикнула под моим локтем, а Берцио исчез в темноте коридора, выводящего в уличный сад. Одним ударом я опрокинул на пол тушу Черемисова и, перепрыгнув через него, болтающего ногами в сапогах со шпорами, выскочил в коридор.

В раскрытых дверях — четкий силуэт убежавшего Берцио.

— На! На! На! — трижды выкрикнул я, стреляя...

Когда он упал, я еще постоял над ним, наклонившись, и, помнится, дулом револьвера расправил ему роскошные усы. Сомнений не было — да, передо мною лежал он, именно он. Я вернулся в гостиную, где после серии выстрелов все миглом протрезвели и теперь смотрели на меня с некоторым испугом.

— Господа! — объявил я. — Ваше казино прогорело, советую разехать по своим частям. Но прежде я позволю себе составить список присутствующих, отметив звание каждого.

— А это еще зачем? — стали галдеть офицеры.

— Затем, — пояснил я, — что своим пребыванием в грязном притоне вы нарушили правила благородного поведения, и всем вам предстоит суд офицерской чести. Господин Пассек, где вы? Прошу вас к столу, и сразу начинайте составлять список.

Командующий боевым Двинским плацдармом наконец-то выпутался из шинели, которую в ярости разодрал кавалерийскими шпорами. Вскочив на ноги, Черемисов начал орать на меня:

— Это мы еще посмотрим... Привыкли трепать честных людей, и даже на фронте легких лавров взъекуете? Известно ли вам, что я только вчера из Могилева, где обедал подле его величества?

В дверях появился невозмутимый юрист Шавров:

— Не спорьте. Суд будет справедлив, и, лишившись эполет генерала, вы можете ездить в Могилев и далее... обедать.

— Вы, наверное, из «Правоведения»? — спросил я Шаврова.

— Нет, окончил Военно-юридическую академию.

— Почти коллеги! Я ведь в юные годы был «чижик-пыжик», но ни Спасовича, ни Кони из меня не получилось.

— Сожалеете? — усмехнулся Шавров.

— Да как сказать... В компетенцию военного человека тоже ведь входят вопросы милосердия и возмездия.

Я позвонил в жандармское управление Вендена:

— Выезжайте на улицу магистра Плеттенберга...

— Сволочь! — послышался голос мадам Керковнус.

Отвечать на ее ругательства я не считал нужным:

— Берите с собой зимние вещи. Меха и прочее.

— К чему они мне?

— К тому, что Сибирь славится морозами...

4. ЛУКУЛЛ УГОЩАЕТ ЛУКУЛЛА

Вот и снова Питер, звончатые трамваи, переполненные инвалидами, уличные мальчишки, виснувшие на «колбасе», все извозчики с утра нарасхват...

Но годы шли, и сам не заметил, как и когда перешагнул за сорок. Увлеченный событиями, я пропустил свою жизнь, но теперь, на пороге зрелости, словно споткнулся о камень. Возникло какое-то бессилие и даже пустота в душе. Разрешение подобных кризисов одни видят в поисках истинного бога, другие уходят в толстовство или в политику, а мне... что мне? Осталось лишь навесить эполеты генерал-майора и на этом успокоиться — в отставке на пенсию.

Никто не знал дня моего рождения, следовательно, и гостей ожидать не стоило. Я позвонил в Елисейский магазин, заказав множество дорогих деликатесов с доставкой на дом, и в полном одиночестве, ничего не желая, сказал сам себе:

— Если Лукулл не угощает своих гостей, тогда Лукулл угощает сам себя, и это должно быть приятно одному Лукуллу...

Весь прошлый год посвятив разгрому России, австро-германцы сумели овладеть лишь небольшой частью ее западных рубежей, почти не затронув исконно русских земель. Немцы оказались неспособны изменить ход войны на востоке, ибо Россия, даже ослабленная поражениями, сохранила свою боевую мощь, все поля ее были засеяны, как в мирные дни, заводы работали с небывалой активностью, принаровясь к нуждам фронта. Но пока русская армия сражалась один на один с врагом, союзники накапливали резервы, и в 1916 году кайзеру пришлось развернуть свои силы на запад, где его армия сразу напоролась на неприступные стены Вердена, который стал символом стойкости французского солдата. Между тем наши прошлогодние осложнения на фронте вызвали перемены в высшем командовании: великий князь Николай Николаевич был отправлен на Кавказ, Ставка перебралась из Барановичей в Могилев-на-Днепре, а главнокомандование водрузил на свои плечи сам император...

Бонч-Бруевич — при встрече со мною — спросил:

— А где вы успели нашить себе так много врагов?

— Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно...

Разговор получился искренний. Я не скрывал, что служу ради чести, а значит, обязан из самых лучших побуждений делать карьеру, и мне не всегда приятно видеть своих однокашников по Академии Генштаба уже генералами. Бонч-Бруевич признал, что мое производство задерживается Ставкой:

— Государь утвердил законоположение, единое

для всех: никакой полковник Генерального штаба не может претендовать на генеральство, не прокомандовав полком не менее года.

— Но известно ли государю, — отвечал я, — что полковник разведки Генштаба нигде не получит пелый полк, чтобы целый год гонять его с песнями. Даже под Салониками, где застрял русский батальон, я так и не понял — кто кем командовал: я батальоном или сам батальон командовал мною?

— Ходят слухи, будто вы в этом батальоне устранили сцены «братания» с нашим противником — болгарами.

— Так не грызть же им горло... Болгарам не хотелось стрелять в нас, а для нас болгары навсегда остались «братушками», ради свободы которых Россия в крови уже выкупалась.

Бонч-Бруевич не утаил от меня, что кто-то сознательно затирает мое продвижение по службе, хотя генерал Алексеев, начальник штаба при Ставке царя, человек рассудительный, хотел бы иметь меня в Могилеве. Я сказал, что удивлен.

— Напрасно! Алексеев достаточно наслышан о вас, и он даже советовал поручить вам какое-либо дело с выходом за кордон, чтобы вы смогли отличиться... для генеральства.

Мне было ясно, что в лице Михаила Дмитриевича я имею доброго советника, но планы Алексеева, пожелавшего видеть меня в Ставке, показались чересчур химеричными. Скоро в разведотделе Генштаба мне предложили работу, далекую от дел домашних, и казалось, откажись я от нее, мне всю жизнь таскать бы по слякоти галоши полковника. Первый вопрос был таков:

— Знаете ли вы британского генерала Туансайда?

— Как пишут в учебниках по изучению иностранных языков, нет, я не знаю генерала Туансайда, но зато я имею двоюродную тетку, которая хорошо играет на виолончели.

— Не шутите! Туансайд командует экспедиционным корпусом в Месопотамии, близ Багдада, сейчас он застрял в аулах Кут-эль-Амара, где его корпус окружен турками и курдами. Однако вышенареченный Туансайд решительно отверг помощь нашей кавалерии князя Баратова, идущего к нему на выручку со стороны Кавказа, а сам не смеет пошевелиться в этом Кут-эль-Амаре.

— Отверг? Почему? Мы же союзники.

— Липовые. Или вы не знаете англичан? Они согласны претерпеть унижения турецкого плена, лишь бы не допустить нас в нефтеносные районы Месопотамии, Аравии или Южной Персии...

Тут я понял, что мои генеральские эполеты уже подвешены под куполом цирка, мое дело — не сорваться с трапеции, совершая тот смертельный прыжок, во время которого загадочно умолкают цирковые оркестры, а публика в ужасе закрывает глаза.

— Когда прикажете выезжать?

— Первым же поездом до Тифлиса, а в Карсе для вас приготовят проводников из армян и конвойных казаков. Все!

Чтобы изучить обстановку, времени не остава-

лось. До отхода поезда я уяснил лишь одно: англичане уже делали три попытки деблокировать корпус, но все они окончились неудачей, а вместе с Туансайдом в Кут-эль-Амаре парились еще пятеро британских генералов, которым Багдад только снился.

Сборы были недолгими. В самый последний момент, уже готовый покинуть квартиру, я вспомнил несчастную мышь, погибшую от жажды. На всякий случай, если опять произойдет подобное, я нарочно пустил в ванной тонкую струю воды из крана, чтобы животное могло напиться. Кажется, все. Ключ от квартиры я оставил у швейцара, и старик проводил меня низким поклоном.

...ранняя весна, но Тифлис встретил меня таким оглушительным градом, словно я попал под обстрел картечью. Затем хлынул ливень, который я пережил под крышей вокзала. Тифлиса я так и не увидел, но запомнил собачонку, которая плыла вдоль улицы, превратившейся в бурную реку, и, громко лая, низверглась с водопадом в каком-то кривом переулке.

Пассажиров ожидала пересадка на карсский поезд, а громадная толпа военных, ожидающая посадки, не слишком-то высоко оценивала мой чин полковника. При первом же ударе гонга, возвещающего начало посадки, стремительная река многолюдья подхватила меня и понесла вдоль вагонов, как недавно уносило бездомную собачонку. Офицеры, их жены, солдаты, чиновники и сестры милосердия с такой быстротой заполняли вагоны, словно шла ускоренная кино съемка в комическом фильме.

Минувшая зима в горах была на диво морозной и снежной, мой сосед по купе, участник Эрзерумского штурма, наглядно хвастал белым маскировочным полшубком и альпийской обувью:

— А ишо дали нам по два сухих березовых полена, чтобы опосля победы над вражиной обогрелись у костерка...

Я соображал, как генштабист: потеря турками Эрзерума заставит султана оттянуть войска из пустынь Синая, что сразу облегчит англичанам защиту Суэцкого канала. Карс, куда я направлялся, с 1877 года законно принадлежал России, уже не однажды омытый русской кровью. В этих краях когда-то процветало могучее Армянское царство, но сейчас деревни армян напоминали пещеры троглодитов; убогие сакли не имели даже окон, я не видел ни огородов, ни даже цветочка, и только громадные кладбища предков подсказывали, что люди здесь жили очень давно...

С невеселыми мыслями я объявился в штабе Кабардинского полка; дежурный адъютант, чертыхаясь, никак не мог разобраться в ворохе телеграфной ленты.

— Только что получили, — сказал он мне. — Мы вас ждали. Это для вас. Впрочем, читайте сами, господин полковник...

Я прочитал.

— Что вы опечалились, господин полковник?

— Печалиться станут в Лондоне... Генштаб извещает, что моя поездка в Кут-эль-Амар отпадает в силу тех причин, что генерал Туансайд сдался туркам

на капитуляцию. Теперь мне приказывают срочно выезжать в Новороссийск.

Ох, и проклинал же я тогда Туансайда, по вине которого сорвался мой великолепный прыжок «под куполом цирка», а теперь следовало ехать в Новороссийск. Как раз в это время наши десанты готовились к высадке в Трапезунде, вся Новороссийская бухта была заставлена транспортом, на которые грузилась кавалерия кубанских казаков. Для сохранения тайны от самого Дуная до Батума радиостанции хранили молчание, а на почтах лежали громадные мешки неотправленных писем. Но казаков провожали в «туретчину» их деды и бабки, жены и молодухи, все это кубанское общество столько пило и так отчаянно плясало на пристани, что тайна будущей операции вряд ли укрылась от взоров вражеской агентуры. Я печально смотрел на красивых кубанских казачек, лихо отстукивавших каблуками в неумном веселье, а самому думалось: сколько же их здесь, которые вскоре накроют свои головы черными вдовьями платками... Из газет мне стало известно, что германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» недавно обстреливали Потти, Сухум и даже курорты в Сочи, а отважная армия генерала Брусилова, дабы помочь союзникам, совершила дерзкий прорыв фронта возле Луцка...

Пожилой комендант города встретил меня со вздохом:

— Как бы я хотел побывать в Трапезунде, да вот... годы уже не те. Завидую молодежи. Восток. Яркие звезды. Дивные ароматы. Шеншины... ах, какие шеншины!

Я ознакомил его с документами:

— Нет ли у вас чего-либо на мое имя из Петрограда?

— Есть, — отвечал он, порывшись в бумагах, — вам следует ожидать тральщик под номером триста второй.

Тральщик № 302 пересек Черное море точно по диагонали, причалив в Одессе, где меня с нетерпением ожидал чиновник министерства иностранных дел Повалишин, первым делом показавший мне драгоценный золотой портсигар с бриллиантом.

— Эту дешевку, — сказал он, — от имени его императорского величества я обязан вручить румынскому министру Братиану, дабы он скорее посадил Румынию в нашу общую колымагу. Сколько же еще ждать, когда румыны включатся в общую борьбу? Правда, в Бухаресте желают за свое участие в войне против Германии иметь Трансильванию, но... В таком деле мелочиться не станем. Ведь портсигар от русского царя тоже чего-то стоит!

Повалишин передал пакет из Генштаба, соответственно просургученный печатями. Мне вменялось в обязанность проследить, чтобы портсигар от имени Николая II не затерялся, а в разведотделе Генштаба будут ожидать мой подробный отчет о делах в Румынии, о настроениях при дворе короля Фердинанда, о готовности румынской армии к войне и прочее...

— Как сказано в Священном писании, «мертвое —

мертвым, а живое — живым...». Наверное, мы еще поживем.

Эти мои слова повергли чиновника в трепет:

— Послушайте, к чему вы это вспомнили?

— Да так, — вяло ответил я. — Порою мне кажется, что я давно устал жить. Но это ведь несурязица, ибо я еще ни разу не жил... как живут все нормальные люди. Вот тут сказано, чтобы проследить за доставкой портсигара по назначению. Так что, прикажете мне и за вами следить? Челуха...

Повалишин истово перекрестился:

— Да бог с вами, полковник! Какая-то мистика... меня даже прознобило. Уж вам-то, офицеру Генштаба, чего бы не жить?

А в самом деле — почему бы мне еще не пожить?

5. ВОЗВЫШЕНИЕ

Если бы человек заранее знал, что его ждет впереди, он бы ничего, кроме смерти, впереди не видел. Судьба-злодейка тем и хороша, что иногда выписывает такие забавные кренделя на скользком льду жизни, каким, наверное, мог бы позавидовать даже российский чемпион-конькобежец Панин-Коломенкин...

Желаю немного позлорадствовать. Страны Антанты (как и германский блок) усиленно стягивали Румынию в войну на своей стороне. Румыния издавна жила с оглядкой на Германию, но воевать не спешила, занимая удобную позицию «вооруженного выжидания», как бы прикидывая — кто сильнее, кто побеждает, где выгоднее? Прорыв армии Брусилова возле Луцка, кажется, убедил молодого короля Фердинанда I (из династии Гогенцоллернов), что выгоднее ехать в «русской телеге», которая увезет далеко — даже туда, где не сыскать ни одного валаха.

Повалишин называл румынского короля «хапугой»:

— Теперь, по слухам, ему уже мало Трансильвании, он желает иметь и всю Буковину до самого Прута, включая и Черновицы, а заодно уж станет выклянчивать у нас и Бессарабию...

Я в истории с дарственным портсигаром был вроде постороннего наблюдающего, но следовало ожидать, что Генштаб потребует от меня выводов, зрелых и обстоятельных. Пока там Повалишин будет разводить тары-бары с министром Братиану о выгодах, какие получит Румыния от войны, я должен общаться с полковником Семеновым, нашим военным агентом в Бухаресте, который сразу заявил мне, что если Румыния вяжется в войну на стороне России, то Россия никакой пользы не обретет. ,

Ладно! Расскажу о личных своих впечатлениях. Королевско-боярская Румыния напоминала мне самонадеянного пижона, под элегантным фраком которого грязная, заплатанная рубашка. Фальшивый блеск валашской аристократии казался подозрительным. Нищая страна донашивала обноски Европы, считавшей Румынию своими задворками. Слишком выразительны были босые ноги крестьянок на асфальте, их неестественно вздутые животы — не от бремени люб-

ви, а от питания мамалыгой. Бухарест иногда называли «балканским Парижем», но я-то, помотавшись по свету, уже знал, что жизнь столиц редко отражает облик страны и народа. Разве это не верно, что, прожив всю жизнь в Петербурге, можно удавиться от тоски по России? Киселевское шоссе в Бухаресте было принято сравнивать с нашим Невским проспектом, но... что я увидел? Вереницу колясок, в которых румынские генералы катали своих метресс, упитанность которых была такова же, как у нашей Иды Рубинштейн на портрете Валентина Серова.

— Жалко! — сказал я Повалишину. — Безумно жалко отдавать великолепный портсигар, чтобы потом проливать кровь русских солдат за эту выставку костей, хрящей и сухожилий...

Семенов неожиданно огорошил меня новостью: в подвалах германского посольства в Бухаресте собраны тонны взрывчатки и бидоны с заразной сывороткой, вызывающей сап у лошадей, а у человека фурункулез, — эти средства Вильгельм II желал употребить в Румынии, если она осмелится сражаться против него.

— Фердинанд влезет в войну, а потом нам предстоит защищать его королевство от нашествия армий Макензена. Все заводы Румынии дают столько вооружения, чтобы его хватало для стрельбы на маневрах, после чего румынские офицеры принимают пыльные поцелуи от своих дам... Вы, дорогой, будьте тут поосторожнее с дамами! — предупредил Семенов в конце информации.

— А что? — наивно спросил я.

— Здесь нет аристократки, которая не развелась хотя бы три-четыре раза. Мне страшно бывать на приемах, ибо сидишь, как дурак, между женщинами, и никогда не знаешь, кто с нею рядом — вчерашний муж или сегодняшний? Бухарест — это такой Содом, что им не воевать, а судиться надобно!

Семенов советовал избегать свиданий с русским послом С. А. Козелл-Поклевским, ибо тот считался заядлым германофилом, но знакомство с ним все-таки состоялось, и я польстил послу, сказав, что пост посла в Бухаресте — самый трудный и едва ли не самый ответственный в мире:

— Наверное, вы обладаете умом Спинозы, ибо составить список гостей для посольского раута, чтобы разведенная жена не встретилась со своим бывшим мужем, это столь же сложно, как и составить головоломный ребус для журнала «Сын Отечества».

— Увы, это так. А вы зачем в Бухарест пожаловали?

— Как будто ради сопровождения портсигара.

— Вещь отменного вкуса, — сказал посол, аппетитно причмокнув. — Удивительно, что вас не снабдили пулеметом для охраны царского дара...

Информация, которую я собирал, радовать никак не могла. Братиану уже хвастал перед дамами своим портсигаром, но, желая воевать за Трансильванию, кланчил у нас и Бессарабию. Я был возмущен, считая это политической наглостью.

— Повалишин говорил мне, что на вокзале в Бухаресте нельзя чемодан на одну минуту оставить — сразу

стащат! Но Братиану, кажется, считает нашу Бессарабскую губернию вроде такого же чемодана. Если бы не мне, а вам, — сказал я Семенову, — пришлось давать отчет в Генштабе, что бы вы там выразили... как самое главное?

— Так и доложите, что через месяц после начала войны Макензен будет кататься по Киселевским аллеям, а все бухарестские дамы мгновенно станут женами его офицеров...

Грешен, я тоже не избежал общения с дамами бухарестского света и полусвета. Смею заверить читателя, что не было ни одной, которая бы не проклинала своей загубленной жизни в настоящем браке, желая образовывать новый — более серьезный и страстный... именно с таким мужчиной, как я, о котором женщина может только мечтать! Все подобные намеки я геройски отражал ссылками на сложность политической ситуации, говоря:

— Мне было бы очень больно оставить вас вдовой в самую цветущую пору жизни. Вспоминайте иногда обо мне...

Побывать в Бухаресте и не показаться в аллеях Киселевского шоссе — это все равно что побывать в Париже и не увидеть Елисейских полей. Семенов не раз катал меня вдоль шоссе в старомодном ландо, поименно перечисляя румынских Ганнибалов заодно с их женами — бывшими, настоящими и будущими. При этом я все более впадал в минорную апатию.

— О чем загрустили? — спрашивал атташе.

— Да опять о той же Бессарабии! Это очень плохо, если глаза у Братиану намного больше его желудка...¹

Повалишин вскоре сообщил, что нам здесь больше нечего делать, а Семенов подтвердил, что война решена. Перед отъездом я был представлен королю Фердинанду I, еще молодому человеку, женатому на внучке русского императора Александра II, женщине красивой и очень распутной. Мне сказать королю было нечего, а король тоже не знал, что сказать мне. По этой причине, весьма значительной, не тратя слов на пустые любезности, Фердинанд I сразу навесил на меня массивный орден «Короны Румынии» с латинским девизом: «Через нас самих», после чего он подал мне руку, пожелав доброго пути до Петербурга.

Орден был величиною с чайное блюдечко, и в Петербурге на меня смотрели, как на бухарского принца. В Генеральном штабе меня ждали, и, естественно, ждали моего доклада.

Но мой доклад был чрезвычайно лапидарен.

— Позволю высказаться в двух словах, — сообщил я. — Если румынский король выступит на стороне Германии, нашей России потребуются пятнадцать дивизий, чтобы разбить его армию. Если же румынский король примкнет к нам, то России потребуются тоже пят-

надцать дивизий, чтобы спасти Румынию от разгрома ее немцами. В любом случае мы ничего не выиграем. В любом случае мы теряем лишь пятнадцать боевых дивизий...

(Румынская армия была разбита немцами в рекордный срок, и почти вся страна была оккупирована. Но удивительно, что мнение нашего героя почти идентично мнению Э. Людендорфа, писавшего, что война с Румынией взяла у Германии дивизии, необходимые на других фронтах: «Несмотря на нашу победу над румынской армией, мы стали в общем слабее».)

Неприятности ожидали меня дома. Едва я открыл двери моей квартиры, как меня сразу обдало таким отвратным зловонием, что я невольно подумал о самом худшем. Из комнаты в комнату носились гудящие эскадрильи непомерно разжиревших мух. Осторожно, словно криминалист, прибывший на место преступления, я на цыпочках обошел всю квартиру. Густая пыль на паркете и мебели не хранила никаких следов. Наконец я включил электрический свет в ванной комнате и... ужаснулся!

В глубоком резервуаре ванны сидела гигантская рыжая крыса, а днище ванны было сплошь завалено обглоданными костями крысиных ребер и черепов. Тут же валялось множество чешуевидных крысиных хвостов, чем-то похожих на длинные пружины, которыми крыса пренебрегла, достаточно сытая. С минуту я не двигаясь, оторопел, и молча смотрел — то на эту крысицу, пожравшую своих собратьев, то на тихую струйку воды из крана, нарочно не закрученного мною до конца. Крыса-монстр, уже облысевшая от старости, пристально взидала на меня из глубины ванны с какой-то лютейшей ненавистью. После долгой жизни во мраке глаза ее заплыли от гноя, а из острой пасти, мелко и противно щелкавшей зубами, торчали два желтых клыка.

В прихожей вдруг стал названивать телефон.

Телефон надрывался. Он звонил, звонил.

Но мне сейчас было не до разговоров...

Содрогаясь от невыносимого зловония, я не спеша расстегивал кобуру, а сам думал. И — понял: это была не просто крыса, каких немало на помойках, а крыса — аристократка. В крысином царстве, как и в человеческом обществе, слишком велики социальные различия между особями. Крысы делятся на патрициев, повелевающих, и на плебеев, беспрекословно им подчиняющихся. Дисциплина жесточайшая! Лишь один взгляд крысы-аристократки вызывает разрыв сердца у крысы-плебей. Ясно и происхождение свалки крысиных останков — плебсы сами лезли в ванну, покорно отдаваясь на съедение, чтобы их королева была сыта.

Телефон истошно и надрывно звал меня к себе! Я взвел на револьвере курок, и он тихо щелкнул... Громадная гадина вдруг заметалась внутри ванны.

Боже, какой писк... боже, какое визжание!

Выстрела я почти не слышал, но с этого момента

¹ Бессарабия дважды (в 1812 и 1878 годах) была закреплена за Россией; Братиану явился главным зачинщиком отторжения ее от нашей страны, и Парижским протоколом 1920 года Бессарабия была признана румынской территорией. Возвращена, вместе с Буковиной, в состав СССР в 1940 г.; ныне она является лишь частью Молдавской ССР.

я почему-то решил, что проживать в этой квартире более не смогу.

С револьвером в руке, еще дымившимся после выстрела, я дошагал до прихожей и сорвал трубку телефона. Голос:

— Поздравляю...

— С чем? — выкрикнул я, размахивая револьвером.

— С редкостным возвышением...

По тону говорившего я понял, что со мною не шутят. Только что прикончивший крысу, я возвышался... я очень высоко взлетал, и тем больнее мне будет падать с той головокруглительной высоты, на какую слишком щедро вознесла меня судьба, отныне смотревшая на меня снизу вверх, как эта крыса из ванны.

Впрочем, сейчас вы все узнаете сами...

6. ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА

Потаенные пружины высшей власти, незримо управляющие людьми, как марионетками в кукольном балагане, сработали неожиданно. Нарушив свои прежние указания о производстве генштабистов, царь лично присвоил мне чин генерал-майора. Я понимал этот жест царя — как одобрение моего визита в Бухарест, откуда я вывез орден неприличных размеров.

Странная жизнь! Сколько раз я рисковал головой, а моя карьера двигалась, как старик по лестнице с остановками на каждом этаже, чтобы отдышаться. Но стоило совершить прогулку в Бухарест, где я расцеловал сотни дамских ручек, и меня вознесло выше меры, а для вчерашнего полковника сразу нашлось место при царской Ставке. Это случилось со мною в сентябре 1916 года, когда Румыния была уже переставлена немцами на инвалидные костыли, а Западный фронт впервые ужаснулся, увидев новые чудовища военной техники — танки... Мне предстояло переселение в Могилев-на-Днепре, где я должен ведать вопросами координации всех фронтовых разведок, суммируя эти секретные данные для «высочайших» докладов.

Теперь мне всегда неловко, отчего люди делают круглые глаза, узнав, что я служил в царской Ставке и почему до сих пор уцелел. Приходится объяснять, что пребывание в Могилеве — невелика заслуга, а более скучной и постылой жизни, чем в Ставке, я никогда не испытывал. Люди, мало искушенные в нюансах того времени, почему-то твердо убеждены, что Ставка состояла сплошь из оголтелых монархистов, скрежетавших зубами от ненависти к трудовому народу. А я отвечаю, что если бы не влияние генералов Ставки, то и отречение Николая II от престола не произошло бы столь обыденно, как это случилось в действительности... Иногда меня даже спрашивали:

— Вас изгнала из Ставки, конечно, революция?

— Точно так, — отвечал я. — Но если назову вам главного виновника моего удаления, вы немало тому подивитесь...

.....

Могилев не стоит описания, хотя и богат историей. Здесь когда-то бывал и вездесущий Карл XII, который содрал с города столь много серебра, что даже чеканил деньги для своих шведов. При мне в Могилеве жило более 50 тысяч человек, половина русских, а половина евреев. Николай II занимал две комнатенки в доме губернатора, свита его заполнила номера гостиницы «Франция», а штаб во главе с Алексеевым размещался в здании губернского правления. Мне было выгоднее снять частный домишко с садом, чтобы по ночам незаметно принимать у себя фронтовых курьеров с секретными докладами.

Делать же доклады самому императору мне почти не доводилось, хотя я виделся с ним каждый день, и не один раз — в общей столовой, где стояли два накрытых стола, закусочный с бутылками и обеденный. Лакеев изображали солдаты, стеклянной посуды не было (ибо Ставка считалась на походе), а к бутылкам первым подходил царь, по лейбгвардейской привычке, никогда не морщась, он выпивал чарку, мы следовали его примеру (тоже не морщась и не спеша закусывать), после чего гофмаршал рассаживал нас по списку, кому сидеть ближе к его величеству, а кому подальше. Я сидел в конце стола, общаясь с сербским военным агентом полковником Леонткевичем. Напиваться при царе-батюшке позволялось одному лишь его флаг-капитану и адмиралу Косте Ниллову, который однажды удивил меня чересчур откровенным возгласом:

— Скоро все будем болтаться на уличных фонарях. Россию ждет такая заваруха, что даже пугачевщина покажется всем нам лишь забавной оффенбаховской опереткой...

Никто из генералов не реагировал на этот бестактный выпад, Николай II тоже смолчал, хотя в Ставке уже знали, что в Петрограде не все спокойно. Леонткевич, давно обретавшийся в Могилеве, отчасти просветил меня в тех вопросах, которые оставались в тени событий, отлично закамуфлированные внешним почитанием императорской власти. Среди генералов Ставки давно сложилось мнение, что Николая II лучше бы заменить его братом Михаилом, командиром «Дикой дивизии», чтобы хоть на время оттянуть возникновение революции до победы в войне. Морис Палеолог, посол Франции, и Джордж Бьюкенен, посол Англии, были, кажется, осведомлены об этом заговоре, созревшем в Ставке, и этот военно-политический «комлот» поддерживали многие генералы, не исключая и умного, но осторожного Алексева. По слухам, генералы хотели загнать царский поезд в маневровый тупик какой-то станции и, пока царь наслаждается там неведением, быстро произвести престольную рокировку, поменяв Николая на Михаила...

Мне, признаюсь, в это не особенно верилось!

Я был выше головы загружен делами, поглощенный событиями Рижского фронта, где наша разведка оказалась в руках латышских офицеров, а их агентура работала против немцев превосходно. Имея доступ к самым секретным источникам Ставки, я почти с ужасом обнаружил, что в стране насчитыва-

лось полтора миллиона дезертиров (почти сто полнокровных дивизий!).

— Что случилось? — недоумевал я. — Эскадра адмирала Рожественского плыла к Цусиме на явную гибель, имела долгие стоянки в чужих портах, никто не держал матросов в клетках, но вся эскадра имела лишь одного дезертира, а тут...

Генерал Сергей Цабель, ведавший разездами царя по железным дорогам, говорил, что в гарнизоне Петрограда служат если не дезертиры, то попросту отлынивающие от фронта.

— Зажрались они там на всем готовом, бесплатно катаются на трамваях по бабам и скорее согласятся на любой бунт, лишь бы их не гнали в окопы. Некоторые столичные батальоны насчитывают до пятнадцати тысяч человек, так что в казармах заводят для них уже четырехэтажные нары, каких не бывает даже в тюрьмах. Мало того, всю эту сволочь не успели даже привести к присяге, и, ничем не связанные, они — уже готовый горючий материал для любого возмущения...

Я не раз видел царя с фанерной лопатой в руках за очисткой от снега тропинки, ведущей к его «дворцу». Николай II был в черкеске, в черной папахе с красным башлыком и работал усердно, как старательный дворник. Но я заметил мешки под его глазами, дряблое лицо и нездоровый вид, невольно подумав, что его приятель Костя Нилов не только сам пьет, но не забывает наливать и его величеству. Пока царь орудовал лопатой, начальник штаба Алексеев стоял возле него, листая какие-то бумаги, и общался о делах итальянской армии при Трентино.

— А что слышно из Петрограда? — спросил его царь...

3 февраля 1917 года Америка разорвала отношения с Германией, вот-вот готовая объявить войну кайзеру. Но Ставку и царя более тревожили известия из столицы, вначале успокоительные, а затем будоражащие, нервнующие. Во время одного из обедов я четко расслышал слова императора, сказанные им Алексееву:

— Я всегда берег не свою самодержавную власть, а берег только Россию. И я не убежден, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье русскому народу...

Эти слова я мог бы и закавычить, ибо, вернувшись из столовой, сразу их записал. Было понятно, что Николай II хотел оправдать свое нежелание видеть в России парламентарное правление. Разговоры об очередях за хлебом в столице казались нам еще вымыслом, а император, получая телеграммы от жены из Царского Села, иногда облегченно вздыхал, будто с хлебом уже все в порядке. Для меня оставался некоторой загадкой генерал-адъютант Николай Рузский, командующий Северным фронтом, который вел себя в Ставке чересчур независимо, даже развязно, и, кажется, с каким-то необъяснимым злорадством выжидал нарастания столичных событий. Из-под стекол очков Рузский почти брезгливо оглядывал ближайшее окружение императора и не раз говорил так, будто ему все известно:

— Теперь уже поздно. Страна просила реформ, а ей дали Гришку Распутина, народ окрысел от войны, а Брусилов мечтает о штурме Вены... Не знаю, хватит ли на всех нас фонарей и веревок, и не лучше ли сдать ее на милость победителя?

Лейб-хирург профессор Федоров сказал ему:

— Прекратите, Николай Владимирович! Да и где этот ваш победитель, у которого вы собрались в ногах валяться?

— Уже стоит за дверью, — невнятно отвечал Рузский...

Что-то уже несомненно таилось за дверями царской Ставки, готовое постучать костяшками пальцев и войти в наше общество, вроде гольбейновского скелета из его чудовищной «Пляски смерти», но... Но дни текли по-прежнему однообразно, редко отличаясь один от другого, а комендант Ставки, генерал Воейков, начинал ремонт могилевской квартиры, ожидая приезда жены, и носился по магазинам города, отыскивая обои.

Не знаю, какова была точность информации, получаемой генералами штаба, но я знал много. Даже очень много. У меня был свой телеграфист, и я, занимаясь перлюстрацией, проследил за нарастанием революции в Петрограде из самого нервного источника — со слов императрицы, писавшей мужу по-английски. Вот как росла кривая на диаграмме ее личного беспокойства: «Совсем нехорошо в городе... волнуясь относительно города... революционное движение продолжается... вчера революция приняла ужасающие размеры... известия хуже, чем когда бы то ни было...» И, наконец, последняя ее телеграмма — словно истошный вопль: «Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Войска уже перешли на сторону революции...»

— Баба! — помнится, сказал я тогда.

Накинув офицерскую бекешу и опоясав ее портупеей, я вышел на улицу — прогуляться. Был вечер, Могилев осветился огнями окон, тихо падал снежок, ожидалась оттепель. Я думал, что в Ставке слишком увлеклись подсчетами, сколько муки осталось в Петрограде, а женским очередям возле булочных придают великое, чуть ли не решающее значение. Мол, побольше бы нам хлеба и булок, тогда все бабы разбегутся из очередей по домам — и все останется, как прежде. Почему-то в Ставке много говорят о том, что оборонные заводы дорабатывают последние пуды инструментальной стали, но при этом забывают о забастовках на тех же заводах. Кое-кто намекает на черные замыслы масонов. Но я-то уже точно знал, что царская охранка еще в 1911 году выкрала в Париже списки думских масонов, а их суетливая возня возле престола нисколько царя не испугала...

В окнах обывателей уже погасали теплые огни, Могилев как бы смыкал свои очи, отходя ко сну, мало озабоченный очередями в столице. Меня эти буханки да булки с изюмом тоже не волновали — телеграммы царицы совсем об ином, более важном, нежели «хвосты» возле хлебных лавок. Переполненный смутными впечатлениями, я возвращался домой, чтобы работать до утра.

Понедельник 27 февраля остался надолго памятен, и не только мне, уже приученному скрывать душевные эмоции.

В этот день Родзянко от имени Думы дважды телеграфировал государю, что требуется новое правительство из таких людей, которые известны возмущенному обществу столицы с положительной стороны. Николай II был необычно мрачен, малоразговорчив, а за обедом посадил подле себя генерала Н. И. Иванова, носителя бороды лопатой, истинно русского, воистину верующего. Во время обеда они тихо беседовали. Смысл их беседы не стал «тайной мадридского двора», и вечером, когда я навел Ивана в его салон-вагоне, украшенном множеством икон и живописных картин, Николай Иудович сам же и сказал:

— Государю благоугодно назначить меня командующим в Петрограде, дабы навести там благочинный порядок. С тем и еду, дабы карать и миловать, забирая с собой Георгиевский батальон с пулеметной командой. Еду через станцию Дно, а «голубой» поезд его величества проследует на столицу через Лихославль — прямо на Тосно, прямо в Царское Село...

Все ясно. И невольно думалось нечаянным каламбуром: «Вот она, последняя ставка последней Ставки царя...». А больше ничего не хотелось думать, и в каком-то отупении, разбитый за день обилием слухов и попросту болтовней наших лжепророков, я за час до полуночи хотел рухнуть в постель, чтобы выспаться, когда свет автомобильных фар ярко осветил мои комнаты. Запорошенный снегом, вошел генерал-путеец Цабель:

— Я за вами! Собирайтесь. Два литерных, государев и свитский, готовы к отправке. Нам следует сопровождать их.

— Когда надеетесь быть в Царском Селе?

— Первого марта...

Во вторник на одной из станций нас известили с перрона, что старая власть свергнута, взамен ей в Петрограде образовано «временное правительство». В свитском поезде, идущем впереди царского, возникло всеобщее недоумение, я тоже не понимал, что может означать «временное»? Мы рассуждали, что война продолжается и потому никакие перемены в верхах правления сейчас нежелательны.

Наконец, нас ошеломила телеграмма из Петрограда, гласившая, что литерные А и Б не имеют права следовать в Царское Село через станцию Тосно. Генерал Цабель свирепо рявкнул:

— Кем подписана эта телеграмма?

— Каким-то казачьим сотником Грековым.

— Ну, знаете ли, — заговорили все разом, — если уж такая мелюзга решает, куда нам поворачивать, значит, в столице настоящая кутерьма, и нам лучше туда не соваться...

Сообща было решено: пусть лейб-хирург Федоров известит Воейкова, а Воейков доложит императору, что далее ехать опасно; разумнее через Бологое по-

ворачивать на Псков, где штаб генерала Рузского предоставит гарнизон для защиты Ставки.

При этом в свитском вагоне все дружно согласились:

— Да, да, да! Псков — городок тишайший, там пересидим, пока бабы из очередей сами же не скочырнут всех этих «временных»... потом-то и развернемся!

— Куда? — спросил я, думая о своем.

— Ну, хотя бы обратно... в Могилев.

Записку с подобным предложением оставили с офицером, который высадился из нашего вагона, чтобы дожидаться «голубого» поезда. В полночь на станции Бологое нас ожидала ответная телеграмма Воейкова, настаивавшего на том, чтобы в любом случае прорываться в Царское Село. Решили подчиниться, а в Малой Вишере к нам заявился офицер-путеец, доложивший Цабелю, что Любань и Тосно уже в руках революционеров.

— А где же Иванов с Георгиевским батальоном?

— А черт его знает...

Станция была по-ночному ярко освещена, но людей — ни души. Мы вошли на платформу, и лишь в два часа ночи подкатил царский поезд, совершенно темный, будто неживой; из тамбура выскочил один генерал Нарышкин, и Цабель его окликнул:

— Кирилл Анатольич, а где же все?

— Дрыхнут, — отвечал Нарышкин.

— Так разбудите! Теперь власть «временная», Любань и Тосно уже заняты.

Воейков выбрался из своего купе, заспанный, еще плохо соображая, что происходит. Кто кричал, что надо возвращаться в Могилев, кто видел спасение в Пскове, а кто и помалкивал. Дворцовый командант для начала сладчайше прозевался.

— Сам я ничего не решаю, — сказал Воейков.

— Так доложите его величеству...

Воейков разбудил царя, и тот решил ехать на Псков, откуда удобнее развернуть в сторону Петрограда все боевые силы фронта, подчиненного Рузскому. Пока паровозы брали на станции воду, я случайно заметил на заборе афишку, сначала приняв ее за театральную. Вчитавшись, понял — передо мною список членов «временного правительства», которое в кратком резюме, обращенном к народу, выражало уверенность в том, что, заменив слабую власть монарха, оно приведет Россию к скорой победе над Германией, а потом начнет создавать новую счастливую будущность. Я вернулся в вагон, и меня спросили: что, кроме похабщины, меня так увлекло на этом заборе?

Мне было скверно. Я ответил:

— Поздравляю, господа... дослужились! Теперь у нас новый военный и морской министр — Александр Иванович Гучков, и отныне все мы, как никогда, близки к победе...

Пассажиры (назовем так) двух литерных А и Б на что-то еще надеялись, не ведая той правды, которая не оставляла им никаких надежд. Георгиевский батальон, врученный царем генералу Н. И. Ива-

нову, распался сам по себе. Часть его офицеров просто покинула эшелон, не желая быть карателями, а солдаты, заподозрив неладное, всю дорогу скандалили и матерились, на каждой станции требуя петроградских газет:

— Коли нас везут, так хотим знать, на што везут?..

Яснее всех выразился Пожарский, командир батальона:

— Стрелять в свой народ мы не станем, и даже в том случае, если прикажет стрелять сам император..

Машинист отказался вести поезд и удрал. Георгиевский батальон, в котором каждый солдат таскал на себе по 120 патронов, этот героический батальон застрял в тишине дачной Вырицы, и здесь солдаты отказались повиноваться.

— Так хоть постройтесь ради прощания, — обратился к ним генерал Иванов; а когда они построились, он стал плакать: — Воля ваша, но неужто вам, ребята, старика не жалко?

В одиноком вагоне, прицепленном к паровозу, Николай Иудович окружным путем вернулся в Могилев, где уже не застал очень многих... никогда не увидел он больше и царя!

7. «ВЕЛИКАЯ И БЕСКРОВНАЯ»

Если заговор генералов и существовал, то они, наверное, своего добились: царский поезд притих, загнанный в тупик псковской станции. Между тем из Петрограда поступали сведения о поголовном избии офицеров, в Ставке уже открыто поговаривали, что, пожалуй, только отречение царя может смирить кровожадные инстинкты толпы... Само слово «отречение» перестало быть крамольным, а Родзянко телеграфировал в Ставку, чтобы не снимали частей с фронта для подавления хаоса в столице, ибо сейчас любые войска перейдут на сторону восставшего народа, лишь усиливая всеобщий кавардак. Стало известно, что Николай II вроде смирился со своей участью, желая сохранить престол для своего сына Алексея, страдавшего гемофилией; ради этого он прежде имел доверительную беседу со своим лейбхирургом Федоровым:

— Сколько лет проживет мой сын?

— Не долее сорока, — ответил ему врач.

— Я хотел бы остаться в России частным лицом и заниматься воспитанием сына, как и каждый отец...

Ко мне вдруг на цыпочках, словно крадучись, подошел чиновник Суслов — из канцелярии министра двора графа Фредерикса.

— Вы, наверное, многое знаете? — прошептал он, намекая на мои функции при Ставке верховного главнокомандования.

— Допустим, — нехотя согласился я.

— Скажите, если разом снять все войска с фронта и бросить их на Петроград, чтобы они, закаленные в боях, мигом раздавили гидру революции, тогда можно ли спасти монархию?

— Можно, — не отрицал я, обрадовав Суслова.

— Тогда я побегу... спасибо... так и скажу...

— Пойдите! Но в этом случае мы вынуждены оголеть фронт перед немцами и, спасая престиж монархии, сдать Россию под ярмо вражеской оккупации... Кто вас послал ко мне с подобным глупым вопросом? Подумайте сами, что важнее сейчас — или судьба престола, или честь Российского отечества?

— Вы меня не так поняли, — смутился Суслов...

Николай II еще уповал на генерала Рузского и его авторитет в Северной армии. Николай Владимирович вскоре появился — согбенный и бледный, он был в форме генштабиста, и как-то нелепо-расслабленно шаркал ногами в громадных резиновых галошах. Офицеры подтянулись, отдавая ему честь. Рузский едва козырнул нам в ответ. Но, заметив свиту придворных, толпившихся на платформе, старик сказал им с усмешкой:

— А что, господа? Прав я или не прав? Кажется, и пришло время, чтобы платить дань победителям...

При этом мне снова вспомнилась «Пляска смерти» Гольбейна, и в ушах, словно drobные кастаньеты, весело застучали костями высохшие скелеты будущих жертв этого сумбурного времени. Я, конечно, не присутствовал при беседе Рузского с царем, но говорили, что генерал царя не пощадил, напротив, повышенным тоном он высказался, что вся политика за последние годы была дурным сном, а русский народ, самый терпеливый на свете, терпение потерял. Он же сообщил царю и о том, что карательная миссия генерала Иванова завершилась анекдотом.

— Итак... отречение? — тихо спросил царь.

— Иного и быть не может.

— В таком случае я хотел бы предварительно знать мнение командующих фронтами и флотами. Сблаговолите поручить Алексею опросить всех по телеграфу из Могилева...

Связь Ставки работала хорошо, и вскоре все командующие (и даже дядя царя Николай Николаевич с Кавказского фронта) подтвердили необходимость отречения императора. Лишь один адмирал Колчак, командовавший Черноморским флотом, почему-то «воздержался», что для меня показалось странным, ибо Колчак-то как раз и был единомышленником Тучкова...

На перроне вокзала я встретил профессора Федорова¹.

— Сергей Петрович, — спросил я его, — это правда, что наследник престола не доживет до сорока лет?

— Он может прожить и дольше, но всегда останется неизлечимо больным. Думаю, решение государя передать престол брату Михаилу, а не сыну Алек-

¹ С. П. Федоров (1869—1936) — остался на родине и уже в 1928 году стал заслуженным деятелем науки РСФСР. Известный хирург-новатор, он до конца своих дней состоял профессором Военно-медицинской академии в Ленинграде, оставив немало научных трудов, имеющих большое значение для развития отечественной хирургии.

сею, созрело после моих слов. Но государь напрасно думает, что останется крымским помещиком, сажая розы и воспитывая сына. Вряд ли ему позволят оставаться в стране, где он оставил немало позорных пятен...

Теперь в Пскове ожидали поезда из Петрограда, в котором должен приехать Родзянко, чтобы официально принять отречение от императора. День выдался бодряще-морозным, дышалось в такой день легко и приятно. Я решил прогуляться по городу. Ко мне приблудился, как бездомная собачонка, полковник Невдахов, из личной охраны царя, часто плававший:

— Государь-то еще как-нибудь уцелеет, его и «Василий Федорович» примет, а вот что будет с нами?

Странно, что жизнь в Пскове текла в привычном русле, и, казалось, жителям было наплевать, что в тупике станции застрял «голубой» вагон с императором, решающим почти гамлетовский вопрос: быть или не быть? На базаре бойко торговали мужики и бабы, наехавшие из деревень, продуктов было много и все по дешевке, улицы Пскова оживляла публика, спешившая к кинематографу, юнкера из местной школы подпрапорщиков предлагали румяным гимназисткам проводить их до дому.

На вокзале генерал Цабель злобно ругал Родзянко:

— Во, хитрая хохлятина! Сам-то со своим мурлом чпугался ехать, так обещал прислать к вечеру собачьих депутатов — Гучкова да Шульгина... Теперь вот околевай, жди их!

— Когда они обещали прибыть во Псков? — спросил я.

— Да как будто часа в четыре...

Но лишь около восьми вечера прибыл поезд из Петрограда, переполненный пассажирами донельзя, и машинист едва сбавил скорость, как на перрон, спотыкаясь и падая, уже посыпалась публика. Толпа, словно озверев от недоедания, скопом ринулась на штурм вокзального буфета. Впереди всех шариком катился толстый полковник в раздуваемой ветром шинели, и на мои вопросы, какова политическая обстановка в столице, он отвечал словами, очень далекими от политики:

— Фунт хлеба — пятачок, а масло — в полтинник... Извините, больше не могу, жена велела занять очередь поскорее!

Конечно, Шульгина с Гучковым в этом «обжорном» поезде не было...

Поезд с депутатами Государственной думы прибыл в Псков лишь около десяти часов вечера, составленный из одного вагона, прицепленного к тендеру паровоза. Их встречали случайные люди, был одинокий выкрик «ура», а какой-то пьяненький даже спел: «На бой кровавый, святой и правый...» Я стоял поодаль от свиты, но уже тогда мне в голову пришла мысль, что Гучков и Шульгин — попросту самозванцы, берущие на себя право говорить от имени всего русского народа. Из вагона сначала выскочили два подозрительных солдата с винтовками, украшенными пышными красными

бантами, за ними, косолапо ступая, вышел Гучков, а потом и Шульгин в котиковой шапке. Почему-то думцы надеялись, что их проведут в штаб Рузского, но граф Фредерикс взмахом руки указал на ярко освещенный вагон царя:

— Извольте сюда — государь давно ждет...

Мне бы, наверное, лучше не торчать тогда на перроне, куда меня влекло обычное любопытство, ибо Гучков, проходя мимо, вдруг замер. Он узнал меня и с каким-то гадливым выражением на лице удивленно протянул слова:

— Ах, это вы... вот где! Уже в Ставке... ладно...

Сцена отречения императора описана во множестве книг, и потому нет никакого смысла повторять то, что давно всем известно. Помимо царя, в его голубом вагоне был министр двора Фредерикс, много плакавший, генерал Рузский, слезинки не обронивший, Кирилл Нарышкин, сурово молчавший, и другие лица свиты. Я тоже имел право присутствовать при этом историческом спектакле, но Воейков приставил к дверям вагона коменданта Гомзина, который раскинул передо мной руки:

— Александр Иваныч просил больше никого не пускать...

Я не сразу сообразил, что Гучков — на правах военного министра — уже начал распоряжаться в Ставке, как у себя дома, и мне на миг стало даже смешно от такой его прыти.

С этим я удалился, но в конце спектакля все-таки досмотрел его финальную сцену, которую великолепно разыграл Гучков после подписания царем отречения. Появись из вагона и увидев людей, он, не выходя из тамбура, произнес краткий спич:

— Русские люди, обнажите головы и перекреститесь, как положено православным... Только что государь император сложил с себя тяжкое царское бремя, и отныне наша великая Русь вступает на новый путь демократического обновления...

Черт меня дернул снова попасться ему на глаза!

И опять, следуя мимо, Гучков возле меня запнулся:

— О, уже генерал-майор... быстро, быстро вы скачете! Впрочем, хвалю служебное рвение... буду вас помнить!

Ночью в пятницу 3 марта оба литерных А и Б повернули назад — в Могилев. Я сидел в купе, бездумно листая последний номер журнала «Солнце России», и не знал того, что через сутки после нашего отъезда на путях Пскова остановился вагон Бонч-Бруевича, в советах которого я так нуждался... Перрон могилевского вокзала, как обычно, был ярко освещен электрическими фонарями. Свет их казался неестественно мертвым, а фигура Алексева, отдающего честь свергнутому императору, выглядела игрушечной, омертвевшей. Помнится, я сказал Цабелю:

— Сергей Александрович, не кажется ли вам, что это лишь начало, в котором и конца не видно? «Временные» так и останутся временными, но русские качели будут раскачиваться и далее, а кому-то из нас лететь с них прямо в крапиву.

— Погодите, — мрачно отвечал Цабель. — Это

сейчас радуются, что царя спихнули. Пройдет срок, и все эти болтуны из Думы еще взвоят, поминая его царствие, яко блаженное...

Внешне в Ставке мало что изменилось, и даже Алексеев по-прежнему делал доклады императору о положении на фронтах. Часовые дежурили, как и раньше, охраняя наш покой, стрекотали телеграфные аппараты, под настольными лампами, сладко потягиваясь, мурлыкали приبلудные кошки. Наконец в субботу рог столичного изобилия высыпал в Ставку свежайшие деликатесы: Михаил продержался на трестеле всего шесть часов и отрекся, обиженно считая, что брат «навязал» ему престол, словно лишнюю мебель в квартире, где и без того своего барахла хватает. Среди нас муссировались слухи о том, что — рядом с Временным правительством — возник Совет рабочих и солдатских депутатов. Как к нему относиться, никто толком не ведал.

Затем телеграф принял свежую ленту — знаменитый Приказ № 1. Отныне солдаты имели право не выполнять распоряжений офицеров, прежде не обсудив их в своем кругу; они могли смещать офицеров и назначать новых — по своему усмотрению; отдавать офицеру честь стало не обязательно, а титулы вообще отменялись. Алексеев полтора часа сидел у телефона, уговаривая Гучкова об отмене этого идиотского Приказа № 1, способного развалить любую, даже самую стойкую армию.

Нервно бросив трубку, Алексеев сказал нам:

— Отныне мне остается разрешить господам офицерам носить статское платье, ибо тут уже не до чести, а как бы уцелела физиономия...

Приказ № 1 был подписан каким-то Н. Д. Соколовым, и в Ставке гадали — кто это?

— Не знаю, — отвечал я. — Но думаю, что лучшей ахинеи трудно придумать. Попадись мне этот эндэ Соколов, я бы расстрелял его моментально, как злого врага русской армии, играющего на руку германской военщине...

— Да-а, — призадумались в Ставке, — вот и повеяло долгожданной свободой. Прав был Костя Нилов, говоривший, что скоро фонарей и веревок не хватит... Только не для нас! Не для того мы берегли Россию, чтобы нас вешали.

Воейков, так и не закончив ремонт квартиры, уже паковал вещички, собираясь в имение под Пензой, чтобы там в тишине провинции пересидеть это смутное время, — «пока все не уладится», говорил он нам. Приезжие из столицы офицеры стыдливо снимали с мундиров красные банты, искренне удивлялись:

— Как? Вы еще при погонах? А в Петрограде нас мордуют на каждом углу, на флоте творится что-то ужасное, офицеров режут в каютах, а вы еще с погонами, и на них — вензеля бывшего императора...

С передовой неожиданно нагрянул в Ставку генерал Черемисов, слишком памятный по встрече с ним в лифляндском Вендене, где мне довелось покончить с его адъютантом Керковиусом-Берцио. Человек мстительный, Черемисов сказал мне:

— А вам, жандарму, я бы не советовал щеголять царскими вензелями... как бы беды не вышло!

Меня замутило от подобного оскорбления:

— Я не жандарм! Я офицер разведки Генерального штаба.

— Может быть, — усмехнулся Черемисов. — Но сейчас при Гучкове уже работает комиссия, изучающая послужные списки всех генералов, так что, милейший, соберитесь с духом...

Цабель уже спарывал со своих погон царские вензеля, в которых буква «Н» была украшена римской цифрой «II».

— И вам советую, — сказал он. — Лучше уж сразу, чтобы потом не доказывать на улицах, что еще в детской колыбели душевно страдал за нужды российского пролетариата...

8 марта из Петрограда нагрянули депутаты Думы, объявившие царя арестованным, и увезли его в Царское Село. Затем стали наезжать какие-то проверяющие, надзирающие, убеждающие, протестующие и митингующие. Все эти «варяги», самовольно явившиеся в Ставку, объедали нас в столовой, отнимали даже наше постельное белье, а по вечерам они читали офицерам лекции, доказывая, что счастье народа возможно лишь в том случае, если в стране восторжествует всеобщее и открытое голосование. Среди этих «орателей» с их примитивными лозунгами восседал в президиуме и свой брат генштабист — полковник Плющик-Плющевский, которому сам господь бог велел бы не позориться. Наконец, однажды меня навестил странный тип, который сначала выдул целый графин воды, после чего сказал:

— Чувствуете, какова жажда трудового народа? А ведь я к вам от самого Александра Федоровича... от Керенского!

При нем оказалась справка, отпечатанная на ремингтоне, примерно такого содержания: гражданин такой-то по случаю наступившей эры свободы выпущен из психиатрической клиники д-ра Фрея и ныне назначается комиссаром от Думского комитета для упорядочения работы фронтовой разведки.

— Так вот, — сказал я этому господину, перенасыщенному самой трезвой водой, — с этой справкой можешь вернуться обратно в психиатричку и там устраивай революцию среди психов, а сюда, гад, не лезь... Понял?

Нет, не понял. Пришлось выставить его за дверь. Этим поступком я вызвал большое недовольство Плющик-Плющевского:

— Разве можно так обращаться с представителями свободного народа? Подумайте о себе... Как бы вам не пришлось стоять на углу улиц, продавая газеты!

— Я не пророк, — обозлился я, — но я уже вижу вас в Варшаве торгующим папиросами поштучно.

Но Черемисов оказался прав: Гучков поклялся «освежить» армию, устроив генералам «большую чистку». Все это он проделал канцелярским способом, где, как известно, ума не требуется. В списках русского генералитета он ставил «птички», которыми отмечал, кто годен, а кто негоден. Со службы изгнали тогда более сотни генералов, оставшихся на бобах без пенсии, и они могли утешаться только тем, что не дожили до полного развала армии. Чистка продолжалась до мая

1917 года, а в канун своей отставки Гучков наградил «птичкой» негодности и мою персону. Об отставке мне сообщил сам Алексеев, который, кажется, тоже приложил к этому руку, зачастую беседуя с Гучковым по телефону. Что я мог сказать? Но я все-таки сказал старику, что в такое время, какое переживает Россия, играть нашими головами — занятие не только рискованное, но даже преступное.

— Однако я повинуюсь, ибо плевать против ветра никак не намерен... Прощайте, Михаил Васильевич!

Звезда Гучкова уже померкла, но разгоралась звезда Керенского, и, помнится, я простился со Ставкой сразу после 1 мая. Втиснувшись в переполненный вагон, я застрял в его прокуренном и запыленном тамбуре, и, глядя на подталые поляны и леса, поникшие в какой-то нелюдимой печали, я переживал такую горечь обиды, такую страшную душевную боль...

Поезд дотащился до Петрограда к утру, и я, запертый в толпе пассажиров, вышел на площадь, поставив чемодан с вещами подле себя, по старой привычке озираясь — где бы перехватить извозчика? Я даже не сразу заметил, что возле меня остановились солдаты, которые, поплывшая шелухой семечек, уже приглядывались ко мне чересчур подозрительно.

— Гляди-кось, недобитый! — услышал вдруг я. — Видать, ишо порядков новых не знает. При погонах... А ну, — крикнули мне со злобой, — сымай с а м, пока всего не растрепали!

Терпеть подобное хамство я не собирался. Я огрызнулся на солдат, чтобы застегнули шинели и перестали плеватьсь семечками, если перед ними стоит генерал. Но в этот же момент с моих плеч погоны были вырваны с отвратительным хрустом, а потом меня попросту избили. На прощание, очень довольные, солдаты еще как следует поддали сапожищами по чемодану, он раскрылся, из него выпали на грязную панель свертки белья. Не в мои-то годы было переносить такое!

— Тыловые крысы... окопались тут... сволочи...

В ответ на мои слова они только развеселились. Я начал собирать в чемодан разбросанное бельишко. В этом мне помогла стоявшая на углу старуха-нищенка. Я защелкнул замки чемодана, выпрямился. Попрощайка сочувственно оглядела меня:

— За што ж тебя эдак-то, сердешный?

— За карьеру, бабушка... я карьеру делал.

— Так ступай с оглядкой, ныне за эфто самое и убить могут!

«Великой и бескровной» назвал Керенский эту Февральскую революцию, но сам Александр Федорович по морде, кажется, не получал. Я поплелся домой... пешком, пешком, пешком — как птица дергач, которая возвращается на родину без помощи крыльев...

Да и не было у меня крыльев — оторвали их с мясом!

8. КОМУ Я ТЕПЕРЬ НУЖЕН!

Каждый агент разведки дорого заплатил бы, чтобы хоть раз увидеть «Черную книгу тысячи имен», хранившуюся у немцев в большом секрете. В самом

конце войны американцы умудрились каким-то образом стащить ее, и с тех пор она считается бесследно пропавшей, во что я не верю. На протяжении многих лет в «Черную книгу тысячи имен» вносились грехи не только тайных агентов, но и всех людей, достаточно авторитетных в самом уважаемом обществе. Книга рассказывала, кто пьяница или наркоман, картежник или растлитель малолетних, кто живет (или жил) на содержании женщин, кто берет (или брал) взятки, кто не откажется от услуг проститутки или подвержен содомскому пороку. Все эти сведения в Берлине собирались чуть ли не со времен знаменитого Вильгельма Штибера, чтобы в нужный момент путем грубого шантажа использовать слабости человека в своих целях. Уверен, что моего имени в «Черной книге тысячи имен» никогда не было, да и быть не могло, ибо я вел жизнь очень скромную, а пороков всегда чуждался...

Вы спросите, к чему я вам все это рассказываю?

А вот к чему. Так или не так, попал я в эту «Книгу» или нет, но американцы на меня все-таки вышли. Навестивший меня полковник Робинс представился членом американской миссии Красного Креста в России, и мне, поверившему ему на слово, пришлось выслушать его речь, звучавшую в те дни весьма убедительно. Робинс был конкретен. Он не стал развешивать у меня под носом тряпье благородных декораций, чтобы в их тени разыграть спекулятивную сделку с моей совестью, — нет, он резал правду-матку в глаза, и меня от этой правды коржило. По его словам, наша разведка осталась без хозяина, связи ее центра с заграничной прерваны, а «временным» в Петрограде нет никакого дела до таких специалистов... как я, например!

— Где сейчас ваше место? — напористо говорил Робинс. — Кому нужны вы теперь у себя дома, если армия вас отвергла? Всю жизнь вы знали только свое дело, а другого и знать не можете.

— Да. Так. Увы.

— Между тем ваша агентура может быть крайне полезна нам, и не только нам, а всем союзникам по блоку стран «сердечного согласия». У вас, русских, многолетние связи не только в Европе, но даже в Азии, и центры вашей разведки, освоенные еще до войны, немцы даже не колыхнули, так отлично они конспирированы. Наконец, вы, русские, владеете такими трюками своего ремесла, каким можно лишь позавидовать.

— Благодарю. Приятно слышать.

— Чтобы не быть голословным, — учтиво продолжал Робинс, — я скажу, что самая сильная ваша агентура на заводах Круппа уже работает на нашего «дядю», и нам здорово повезло, ибо именно от ваших коллег мы получили ценнейшие сведения о германской пушке «Колоссаль», способной издали обстреливать Париж... Подумайте над моим предложением!¹

¹ Здесь, на мой взгляд, автор мемуаров допускает преувеличение. Русская агентура Генштаба, хорошо внедренная в Германию и даже в немецкий генштаб, с 1917 года стала работать на секретный американский отдел «Q2 — В», но американцы не говорили, в пользу какой страны они работают.

Невольно припомнилось подневольное житие в бараках Эссена; да, я видел там толпы изнуренных рабчих, но мог лишь догадываться, что среди этого «быдла» скрываются мои же коллеги с отличным академическим образованием. Я поверил, что полковник Робинс не дурачит меня, а наша агентура в Эссене, оставленная за бортом России, уже перекуплена «на корню», как отличное зерно для будущего прибыльного урожая. Теперь понадобился и я, генерал-майор старой чеканки, а Робинс уже дал понять, что ни масла, ни меду на меня не пожалеют...

«Заманчиво! Но... где же моя честь?»

Робинсу надоело мое молчание.

— Время идет, а вы слишком долго думаете, как и все русские... О чем думаете, позвольте спросить?

— Конечно, о своей родине... Я не спрашиваю, как вы нашли меня, но в одном вы правы: мы сейчас никому не нужны. Но я еще не теряю надежды, что со временем в России все образумится, и такие люди, как я, еще смогут послужить отчизне, ныне поступающей с нами словно злослужная матчеа.

— Разговор окончен? — резко поднялся Робинс.

— Нет! — резко ответил я. — Я верю, что вы состоите при миссии Красного Креста, но с миссией ко мне вы пришли чересчур опрометчиво, ибо я скрываюсь на чужой квартире, а ваше появление здесь угрожает людям, приютившим меня... Из вас, полковник, никогда не получится хорошего агента!

— Извините за оплошность, — откланялся Робинс.

Я закрыл за ним двери на все запоры, потом в ужасе подумал, что мне угрожало, если бы я сгоряча дал согласие.

И тут я проснулся и вскрикнул: «Что, если Страна эта истинно родина мне? Не здесь ли любил я? И умер не здесь ли? В зеленой и солнечной этой стране...»

...Я тогда скрывался на Почтамтской, дом № 5.

Впрочем, вся эта история с Робинсом случилась позже, почти сразу после Октябрьского переворота, но повествование лучше начать с тех дней, когда я появился в столице.

Оскорбленный солдатским мордобоем, я тащился на Вознесенский проспект, упоая найти в тиши старой квартиры успокоение духа. Все писавшие о Февральской революции не забыли упомянуть, что столица утопала в шелухе подсолнечных семечек. Их грызли на Руси всегда, но теперь сугробы (не преувеличиваю!) шелухи, в которых утопали ноги прохожих, казалось, навеки погребут под собой самые светлые идеалы человечества. Никакой историк не брался объяснить, как и почему возникла эта массовая эпидемия грызни семечек, ставших вдруг столь популярными у публики, и вообще — откуда взялась эта шуршащая зараза, покорившая Петроград именно в лето 1917 года? Еще я заметил, что мусор и помои не вывозились, как раньше, а копились в кучах и лужах на задних дворах, отчего зловоние стало чуть ли не главным ароматом послефевральской столицы... Наконец, я — по дороге домой — видел много митингующих, но ликующих не встречал. Напротив, на лицах прохожих

лежала несмываемая печать испуга и неуверенности; люди ходили скоробежкой, оглядываясь, словно их преследовали. Одну революцию они сделали, но теперь ожидали вторую, и если первая не принесла радости, то второй просто боялись. Об этом я услышал в разговоре двух женщин:

— Со второй или с третьей, а Россия тогда и кувырнется в канаву! Ни одного камушка не оставят, всех пронумеруют, одни шоферы выживут, развозя питание по начальникам...

Наконец-то, усталый, я поднялся на третий этаж, держа ключ наготове, чтобы отворить квартиру, но двери ее были распахнуты настезь. Сразу от порога громоздились какие-то сундуки и узлы с тряпьем, а худенькая девочка с косичками, держа на руках беременную кошку, завопила в глубину квартиры:

— Дядя Петя, а к нам лезут... с чемоданом!

Только тут выяснилось, что «дяди Пети» с окраин столицы уже теснили «классового врага» в его буржуйских пустующих квартирах, и явившийся на зов девочки дядя Петя, гордясь чистотой своих кальсон, внятно и толково объяснил мне, дураку:

— Будя! Попили нашей кровушки, а нонеча весь мир насилья мы разрушим. Но мы ж не звери, а пролетарцы вполне сознательные, потому все барахлишко твое в угловушку спихачили, вот и живи себе на здорвье... Плохо, што ли?

Из дверей комнат выглядывали какие-то остроносые и юркие старушенции, шушукались. Они, конечно, не звери. А что мне-то делать? Не драться же с ними... Я заглянул в угловую комнату, отведенную для меня, увидел свалку вещей и мебели и даже не вошел внутрь. Но, проходя мимо ванной, я увидел, что в ее фарфоровой лохани, где недавно царил пирующая крыса, теперь свалены дрова вперемешку с книгами из моей библиотеки.

Да, жильцы, конечно, не звери. Но они еще и не люди...

— Не слишком ли это жестоко, — спросил я, — греть свое пузо сгорающими мыслями людей, которые были умнее нас?

На это дядя Петя с апломбом отвечал, что у него в голове полно новых мыслей, созвучных новой эпохе, а ши варить тоже ведь надо? Я скинул шинель (без погон) и остался в мундире генерал-майора при золотых эполетах; моя метаморфоза вызвала такой переполох, что юркие старушки мигом убрали носы из дверей, а дядя Петя, кашлянув, даже отдал мне честь.

— Прошлого не вернуть, — сказал я ему. — А к пустой башке руку не прикладывают. Бог с вами, живите. У меня лишь одна просьба. Позвольте постоять на балконе... одному!

— Тока без задержки, — предупредил дядя Петя. — Балкон после революции общий, как и уборная. Мало ли кому из соседей тоже захочется подышать бурей революции...

На балконе, вцепившись в перила, я дал волю слезам. Память живо воскресила праздничный день моего раннего детства, когда из летних лагерей возвращалась на зимние квартиры непобедимая русская гвардия. А я, еще маленький, видел ряды ее штыков,

чувствовал блаженное тепло материнских рук... Как давно это было! Но и тот день, наверно, тоже ведь не пропал для меня даром, словно заранее наметив главную стезю моей жизни. Я вытер слезы, подхватил чемодан и, ничего никому не сказав, навсегда покинул свою квартиру, в которой родился.

Почти бесцельно я брел вдоль Вознесенского, по врожденной привычке все видя, все запоминая, все оценивая на свой лад. За мною топали двое, и я невольно слышал их разговор:

— Темные силы не дремлют, Ваня! Ты, милоч, эти темные силы разоблачать должен... Теперь наше время.

Я обернулся, дабы лицемерить «светлые силы», и сразу понял, что ночью в пустынном переулке им лучше не попадаться. Конечно, я оставался при оружии, хотя имеющий оружие рисковал тогда очень многим. С чемоданом в руке я вышел к разгромленной «Астории», которую занимали анархисты-матросы вместе со своими барышнями. На улицах полно было солдат с винтовками, которые шлялись просто так, но спроси любого, ради чего они шляются, ответ был бы одинаков: «Охраняем революцию от темных сил!» Возле памятника Николаю I площадь бурлила очередным митингом, и какой-то оратор в черных очках старательно втемняивал в толпу свой основной тезис:

— Мы за мир, но без аннексий и контрибуций! Это непереносимое наше условие на время текущего момента истории...

Все дружно аплодировали. Ради интереса я спросил одного солдата: кто такие аннексия и контрибуция?

— Эх ты... *темнота!* — отвечал он. — Не знаешь, что это два острова в окяине, вот капиталисты из-за них и грызутся, а мы за Аннексию и Контрибуцию кровью истекаем...

Я присел на скамейке в Александровском сквере. Возле меня оказался сухощавый малоприметный господин в сером костюме, с бородкой в стиле французского короля Генриха IV.

— Вы меня, конечно, узнали? — спросил он.

— Да, ваше сиятельство. Как не узнать князя Юрия Ивановича Трубецкого, командира кавалерийской дивизии в Прилуках.

— Я, кстати, шел рядом с вами, — сказал Трубецкой, — и по вашей походке догадался, что вам идти более некуда.

— Ваша правда. Даже голову приклонить негде.

— Сочувствую. Я ведь вас помню... мимолетно встречались в Ставке. Меня еще не уплотняли, и в моей квартире всегда сыщется комната для вас. Жена и дочери будут рады...

Так я оказался на Почтамтской улице, по дороге рассказав князю причину, почему я оказался вдруг неугоден Гучкову.

А Юрий Иванович пострадал за крупу, которую не съели солдаты. Его конная дивизия объедалась на войне дармовой курятиной и свиной, а казенную кашу выбрасывали. Но в момент революции солдаты сразу вспомнили, что крупка миновала их желудки, и

потребовали за нее деньги — наличными. Все началось с митингов, а закончилось убийством офицеров и взломом денежного ящика. Трубецкого не тронули, ибо он был любим солдатами, но князь удалился в отставку под графю «негоден».

Теперь он говорил с горькой усмешкою:

— В юности страдал из-за несчастной любви, дрался на дуэлях за честь мундира, а в конце жизни... круп а. Если великой нации не стыдно жить так, как она живет, так буду страдать я, не последний отпрыск этой великой нации...

«Главноговаривающим» в стране сделался Керенский, который мотался по фронтам, уговаривая армию наступать, но все его речи, зовущие к победе, вызывали во мне лишь смех:

— Армия хороша, когда исполняет полученные приказы, но армия гроша не стоит, если ее приходится уговаривать...

Меня, как и князя, раздражали красные банты, припиленные поверх пальто и кацавеек людей, до Февраля молившихся за царя-батюшку. Время было мерзкое, выражавшееся в анекдотах, недалеких от истины. Жена князя, тихая болезненная женщина, рассказывала, что в продаже не стало кускового сахара:

— А русский человек привык пить чай вприкуску. Так из Таврического дворца «временные» министры дали мудрый совет: завернув сахарный песок в тряпочку, можно с успехом сосать его, создавая сладчайшую иллюзию откусывания рафинада.

Изменился даже язык, исковерканный временем лихорадочной торопливости. Прощаясь, люди стали говорить «Пока!», вместо ясных названий учреждений замелькали идиотские аббревиатуры, и перед обычной табличкой на дверях с надписью «вход» люди невольно замирали, гадая, что бы это могло значить? Скорее всего, что ВХОД — это «Высшее Художественное Общество Дегенератов». А что удивляться, если вскоре появился «замкомпоморде» (заместитель командующего по морским делам)! Театры еще работали, но ходить в театры не всякий осмеливался. В самый разгар трагедии на сцену обязательно вырывался откуда ни возмись Лев Троцкий и в бурной речи излагал партреру всю великую важность «текущего момента», а заканчивая речь, не забывал погрозить кулаком сидящим в ложах. Когда же публика разбрелась из театров, на улицах и в подворотнях ее грабили, убивали, насиловали. Выпущенные из тюрем уголовники образовали множество шаек; переодетые в солдатскую форму и украшенные красными бантами, они производили в квартирах самочинные обыски с липовыми «ордерами» на конфискацию имущества «для блага трудового народа». Юрий Иванович, набродившись по городу, вечерами рассказывал:

— Гришки Отрепьевы из числа «временных» назначили ноябрь для созыва Учредительного собрания. Но, думаю, учреждать ничего не придется, ибо к тому времени все само по себе развалится ко всем чертям. Партийные разногласия отныне будут разрешаться кровавой резней, как в турецком меджлисе...

Мои скромные сбережения давно кончились, а надо

было как-то жить. Случайно к нам забрел юрист П. Н. Якоби, внук академика, бывший товарищ прокурора, который сказал, что сейчас стало очень модным «кооперироваться» по любому случаю:

— Я уж не говорю о куске хлеба насущного, но на кооператоров ныне смотрят, как на людей самых передовых воззрений...

С легкой руки Якоби составила компания, в которую, помимо меня, вошли генерал Н. Н. Шрейбер, сын сенатора, и адмирал И. Ф. Бострем, бывший помощник морского министра. Мы сообща облюбовали кинематограф на углу Суворовского и Кирочной, которому дали приличное название «Свет и тени». Труднее было добыть разрешение властей на прокручивание фильмов. Юрист и генерал с адмиралом дружно убеждали меня:

— Кроме вас, это никто не провернет. Что мы? Жалкие остатки «проклятого прошлого» — и все, а вы, как агент разведки, уже наловчились людей обдуривать...

Если при большевиках в искусстве царствовала несравненная М. Ф. Андреева, то при Керенском музаями руководила его жена — Ольга Львовна, бывшая патронессой всех зрелищ столицы. У меня об этой женщине сложилось такое впечатление, что, будучи женой «главноуговаривающего», она и сама легко поддастся на уговоры. Мне хватило трех минут, чтобы произвести должное впечатление, и против создания кинокооператива она возражать не стала, после чего я расцеловал ей ручки.

Мы, вышеназванные, стали эксплуатировать «Свет и тени», имея по вечерам миллионные выручки («керенками», конечно!). Публика стонала от восторга, когда на экране вспыхивали названия таких кинолент, как «Экстазы страсти», «Отдай мне эту ночь», «Под знаком Скорпиона» или «Смертельный поцелуй». Мы даже усовершенствовали немое кино, озвучив его за счет талантов людей, согласных на все — лишь бы не подохнуть с голоду. Так, например, когда на экране герой с героиней сближали губы в единую «диафрагму», наши голодающие за кулисами громко причмокивали губами, а в сценах ужаса они потрясали зал такими бесподобными воплями, от которых слабонервные падали в обморок... Короче говоря, наш кооператив процветал!

Однажды в поздний час я возвращался с актером Карновичем-Валуа, который рассказывал, как его недавно раздели на улице до кальсон. Я был переполнен дневной выручкой, имея при себе два-три миллиона. Актера я проводил до его дома и уже свернул в Саперный переулочек, когда меня задержал патруль из трех матросов-клевшиков с винтовками. Еще издали они — мать в перемать и размать! — велели остановиться:

— Стой, падла, в такую тебя... Оружие е?

Я не сомневался, что это бандиты, нарочно наряженные во флотские бушлаты. Они как трянули меня, так и посыпались мои миллионы. Двое кинулись подбирать «керенки» с панели, а третий — явный ворюга — сразу нащупал на мне оружие:

— Братва, шмон... да он, гад, с начинкой!

Даже не вынимая револьвера из кармана пальто, я через сукно перестрелял всех трех, а потом сказал покойничкам:

— Котят а... с кем связались?

Но вскоре после визита полковника Робинса вдруг арестовали князя Юрия Ивановича, жена носила ему сухари в Петропавловскую крепость. За что посадили хорошего человека — не знаю. Княгиня все дни плакала, а взрослые дочери притихли, даже не разговаривали. Я счел своим долгом поддерживать семью Трубецких, благо доходы у меня были.

Вот примерно в таких условиях я встретил Октябрьский переворот, после которого лучше не стало! Новые владыки столицы, Зиновьев, Штейнберг, Урицкий и Бокий, все силы террора обрушили именно на «бывших», первым делом истребляя инакомыслящую интеллигенцию. Чуждые русскому народу и русской истории, эти людишки, бог весть откуда взявшиеся, тащили на Гороховую в Чека правых и виноватых, по ночам расстреливали тысячами. Петроград опустел, скованный ужасом. Вот тогда-то и началось стихийное бегство людей из Петрограда на юг, где формировалась белая гвардия. Я тоже был близок к тому, чтобы скрыться, но я не решался покинуть семью Трубецких, давящую мне приют в самую трудную минуту моей жизни. Да, я плевал на «временных», но и новую власть не принимал тоже:

— Большевики считают насильем то, что происходило по вине чиновников царя, но свое насилье над людьми возвышают до уровня геройства, полагая, что от имени народа им все дозволено. Но у народа они никогда не спрашивали. Эти мерзавцы уничтожают людей, говоря, что это необходимо «во имя светлого будущего». Но какое же будущее ожидает Россию, если его строят на горах трупов людей, ни в чем не повинных?

Я перестал понимать что-либо. Обещанная свобода превратилась в террор, братство — в гражданскую войну, а равенство кончилось возвышением новой бюрократии — более алчной и более прожорливой, нежели она была при царском режиме. В эти черные дни я начал замечать в людях отсутствие былой сердечности, исчезли все «душевные» разговоры, люди боялись говорить открыто, ибо страшились доносов. Мне порою начинало казаться, что уже сбывается давнее пророчество Пушкина:

Но дважды ангел вострубит,
На землю гром небесный грянет —
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет...

Новые власти рассылали повестки бывшим богачам, требуя от них внести контрибуции «на благо народа». Но это было уже невозможно, ибо деньги с их банковских счетов уплыли куда-то еще при Керенском. По вечерам я с княгиней раскладывал пасьянс, гадая, что будет дальше, и рассуждал:

— Какая б ни была революция, однако народу на хлеб ее не намазать. Очевидно, большевикам не хватает денег на строительство Вавилонской башни социализма, в рай которого они созывают всех нас следовать обязательно семимильными шагами.

Только я это выпалил, как в прихожей вздрогнул звонок, и бедная княгиня схватилась за сердце:

— Это он... Юра... мой Юрочка... вернулся!

Вошли трое. Все в коже. И все при наганах:

— Вот ордер на арест князя Юрия Трубецкого!

Я спокойно перетасовал карты и даже посмеялся:

— Ах, господа-товарищи, до чего же паршиво работаете! Вы бы хоть у царской охранки поучились, как это делается... Вы опоздали — его сиятельство Юрий Иванович давно загорает в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости, в той самой камере, в которой сидел его достопочтенный предок — декабрист князь Трубецкой. А вы, наивные люди, вдруг являетесь для вторичного арестования Юрия Ивановича...

Чекисты куда-то звонили по телефону, потом точно назвали мою фамилию и мое звание генерал-майора Генштаба:

— Известно, что он здесь, должный быть арестованным.

Я сложил карты и отбросил колоду от себя.

— Вот это другое дело, и разговор между нами становится серьезным, — ответил я. — Искомый вами сатрап и душитель трудового народа здесь... отсыпается в соседней комнате. С вашего позволения, я сейчас его разбужу...

В коридоре я надел пальто, нахлобучил кепку, после чего по черной лестнице спустился во двор и вышел на улицу.

Во мне все клокотало от неумного бешенства:

— К о т я т а... не умеют даже арестовать человека!

9. НА ЗАПАСНЫХ ПУТЯХ

Полковник Апис... Гаврила Принцип... выстрел в Сараево...

Боже! Как легко бывает вызвать войну, зато до чего же бывает трудно, почти невозможно выбраться из войны, тем более если война была коалиционной... Первая мировая бойня — это чувствовалось! — близилась к трагическому завершению. Впоследствии статистики подсчитали: во Франции на 28 человек приходился один убитый, Англия лишилась одного солдата из 57, а в России недосчитались одного на 107 человек. Так что, можно считать, наша страна имела меньшее количество жертв по сравнению с союзниками (чего никак нельзя сказать о второй мировой войне, тоже коалиционной).

Германия держалась из последних сил, доедая последнюю брюкву, чтобы затем испытать позор Версаля, а русская армия, полностью разложившаяся, оголяла свои фронты, чтобы изведать позор Брест-Литовского мира. На юге России уже выковывалось мощное движение белой гвардии, а в ноябре 1917 года Ленин выступил с Декретом о мире. Но генерал Духонин, тогдашний главнокомандующий, отказался предлагать немцам прекращение боевых действий, за что и был зверски убит солдатами. Однако советская комиссия по перемирию уже выехала в Брест, и в ее составе (что меня безмерно удивило) был и мой прежний коллега — полковник Владимир Евстафьевич Скалон...

Чтобы не забыть, сразу скажу, что случилось с князем Ю. И. Трубецким. Он был освобожден из Чека по личному решению Урицкого, который — в обмен на свободу — потребовал от Юрия Ивановича сдать все драгоценности, после чего ему разрешалось вместе с женой и дочерьми выехать за границу. Об этом хорошем человеке я больше никогда ничего не слышал...

Заодно с Керенским давно исчезли и семечки, как неслыханный деликатес былого гурманства. Ноябрь был холодный, продуваемый ветрами. «Свет и тени» прикрыли, а после ухода от Трубецких я умышленно порвал всякие связи с членами «кооператива», чтобы не подводить их под мушку. Случайно я нашел приют у одного бывшего правоведа, который пускал меня лишь для ночлега, а дни я проводил в блужданиях по городу... Насущным оставался вопрос: что делать и как жить? Я не мог вернуться в Сербию, ибо после расправы с Аписом король Александр и меня бы вывел к оврагу. Пробраться на белогвардейский юг, «разрывая нитки» фронтов, на это у меня не хватало сил — даже физических.

Я голодал. Кормился от случая к случаю. Крохами!..

Между тем мне пришлось немало удивиться, когда я узнал, что большевики приняли на службу генерала Каменева, Парского, Потанова, Лебедева, Раттеля, Гутора, Зайончковского и прочих, а ведь среди них было немало и генштабистов. С этим правоведом я не ужился, ибо он, дворянин старого рода, женатый на томной смолянке, игравшей на арфе, вдруг решил — по случаю революции — сродниться с простым народом посредством примитивного «прощения», для чего не стриг ногтей и волос, мерзко рыгал после еды, а жене говорил, по-мужски потягиваясь: «Ой, Марья, чевой-то мне хоцца, може, водицы студеной испить вволюшку?..» Ну его к черту! Дурак какой-то.

Помню, я сильно озяб и зашел на Выборгской в уютную церковь св. Сампсония, строенную в честь Победы при Полтаве. Молящихся было немного, а службу вел статный красивый дьякон, в котором я сразу узнал бывшего генштабиста князя Сергея Оболенского. Он тоже узнал меня и, завершая службу, поманил за собой в притвор, угостив там меня церковным кагором. Будущий епископ Нафанаил, сейчас он искал покоя в церкви и, кажется, вполне был доволен своим назначением.

— Не удивляйся, — сказал он мне. — Хотя ныне церковь и гонима, но я решил посвятить себя служению самой высшей власти. Здесь мое последнее прибежище, где могу думать спокойно, и пусть не всем, но кому-либо облегчу душевные терзания...

Но моих терзаний он облегчить не мог, лишь озадачил:

— Будь осторожен и не сделай глупости...

— Какой? — не понял я.

— Разве не знаешь, что большевики устроили для генералов старой армии хитрую ловушку, в которую многие и попались, словно мухи в паучьи те-

нета... Ты ведь, насколько мне известно, был весьма доверителен с Михаилом Бонч-Бруевичем?

— Да.

— Так вот, — тихонько пояснил Оболенский, — его личный вагон давно стоит на *запасных путях* Царскосельского вокзала, и там его по ночам навещают... тайком, словно воры.

— Кто?

— Подобные тебе... Ты стал непонятлив! Но ведь все давно ясно. У него родной брат Владимир Бонч-Бруевич состоит при Ленине в Совнарком, вот два брата и спелись...

— Михаил Дмитриевич, — отвечал я, — всегда бывал со мною предельно искренен, и мне даже любопытно, что сказал бы он мне в моем нынешнем положении... Кто я? Кому я нужен?

Наверное, Оболенский в этот момент понял, что отговаривать меня бесполезно, ибо решение мною принято, и он, как священнослужитель, осенил меня широким крестом:

— Всевышний да наведет тебя на путь истинный...

Не кто иной, как бог и привел меня ночью на запасные пути Царскосельской дороги, на которые я выбрался со стороны Семеновского плаца, чтобы не привлекать чужого внимания. В неразберихе путей и стрелок, спотыкаясь о рельсы, я отыскал вагон Бонч-Бруевича по лучам света в его зашторенных окнах. Издали я точно определил, что часовых в тамбуре не было. Как профессионал тайной разведки, я, конечно, не подгонял события, сознательно выжидая время, затаившись в потемках, и сначала пронаблюдал за этим вагоном... Все было тихо. Но вот взвизгнула дверь, тень человека, появившись из тамбура, метнулась в сторону. Мне в этом человеке показалось нечто знакомое.

— Стой! — крикнул я. Он пустился бежать, высоко перепрыгивая через рельсы, но я все же нагнал его и остановил, чиркнув спичкой, чтобы увериться. — Я не ошибся. Это же ты...

Да, это был Володя Вербицкий, одноклассник по Академии Генштаба, с ним я вел триангуляцию в лесах Лужского уезда, мы вместе ломали шею на парфорсной охоте в Поставах (и не знал я лишь одного — что встречу его потом агентом аверба).

— Ты так срочно вылетел из вагона, будто тебя там кипятком ошпарили... Можно узнать, о чем вы там говорили?

— Лучше бы этого разговора и не было, — нылко отозвался Вербицкий. — Я пришел узнать, каковы условия приема в большевистскую армию, которая пока еще только на бумаге, а этот старый дурак начал попрекать меня и все старое офицерство за поругание заветов святой отчизны, мол, мы, бывшие офицеры, потеряли не только офицерскую честь, но и...

— Постой, — перебил я Вербицкого. — Но, может, Михаил Дмитриевич и прав, ибо все-таки армия защищает не власть, какая есть, а должна прежде всего оборонять родину.

— Милый! — воскликнул Володя, едва не плача. — Да где ты видишь родину, если вместо нее осталась костлявая и крикливая уродина. Жрем павших лошадей. Сожрем собак и кошек. Примемся жрать крыс... это родина? Нет уж, такая власть от меня услуг не дождется. Махну на юг, а там... что бог даст. Прощай.

— Прощай, — отозвался я, и Вербицкий скрылся во мраке, являя под товарные вагоны, мерзнувшие на путях станции...

По-прежнему светились окна вагона, в который мне следовало подняться, как на эшафот, чтобы проверить себя на прочность духа. Я не сомневался, что разговор с Бонч-Бруевичем будет неприятным и резким для нас обоих... Про себя я решил, что в случае чего всегда можно и отстреляться!

Бонч-Бруевич в шинели, накинутой на плечи, сидел за столом штабного купе и писал. Я не явился для него привидением с того света, и он даже не удивился моему ночному визиту. Первое слово, конечно, не за ним, а за мною, и я нашел пусть не самые удачные, но все-таки выразительные слова:

— Как видите, я не спешил к вам, как другие, ибо торопливость необходима лишь при ловле блох.

— Я вас давно ждал, — последовал странный ответ.

— Вы? Меня? Давно?

— Прошу садиться. Из этого вагона я рассылаю многим генералам и агентам разведки Генштаба приглашения, дабы они сообразовали почтить меня своим посещением... для разговора о будущем. Их личном будущем и будущем всей России. Я писал и вам по адресу на Вознесенский проспект, но... увя.

— Я теперь живу не там,

— Скрывались?

— Естественно.

Бонч-Бруевич опять-таки несколько не удивился.

— Правильно делали, — сказал он. — Попадись вы теперь на Гороховой, два, и вас бы пришлепнули, словно комара. А ваша голова еще может пригодиться для служения отечеству.

— Вы уверены в этом? — усмехнулся я.

— Да! Пока существует система государственного устройства, до тех пор будет необходима система оборонительная и охранительная. А следовательно, страна всегда будет нуждаться в людях, подобных вам... Как вы относитесь к новой власти?

Я душой не кривил, оставаясь предельно честным:

— Это не власть, а чума какая-то... зараза! Большевики изображают свою перетряску как некий народный праздник, а в моем убогом представлении революция — это не праздник, а подлинная трагедия народа, которая, боюсь, завершится для всех нас гибелью нации, истории, культуры и религии... Других ценностей в народе я не вижу, эти суть самые главные!

— Мне тоже не все по вкусу, — согласился Бонч-Бруевич. — Умный любит ясно, а дурак любит красно. Тошно от демагогии! Перегибов и свинства уже достаточно. Но мы не имеем права забывать о долге перед русским народом. Не сейчас, так позже армия возродится, отобрав все лучшее, что было в старой русской армии. Наконец, такая великая держава, как Россия, не может обходиться без глубокой и точной разведки...

Разговор принял профессиональный характер. Понизив голоса, словно остерегаясь чужих ушей, мы с великим огорчением пришли к выводу, что в этой войне наша разведка не проиграла, но и не выиграла. Не потому, что агентура Генштаба была плоха, а скорее по той проклятой причине, что предательство внутри имперского аппарата губило нашу кропотливую работу.

— Признаюсь, без службы мне тяжело, — сказал я. — Тянет в армию... без нее нет мне жизни! Но кому служить? Родине — да, я готов отдать всего себя и все свои знания. Но служить этим хамам, которые меня, заслуженного генштабиста, излучили на вокзале... нет!

— Хамства много, — не возражал Бонч-Бруевич. — Нечто подобное пережил и я сам, когда меня выдвинули в командующие Северным фронтом. Но, дорогой, по десятку гнилых яблок в корзине нельзя же судить обо всем урожае в нашем обширном саду. Скажите, вы готовы к чистосердечному разговору?

— Для этого я посетил ваш вагон, о котором ходят самые зловещие слухи. Меня волнует иное: я имел отличную аттестацию, верой и правдой служа его императорскому величеству. Таким образом, для новой власти я всегда останусь лишь «гидрой контрреволюции», которую надо душить рукою пролетариата.

Бонч-Бруевич поставил поверх плиты чайник с водой.

— А я разве не гидра? — проворчал он совсем по-стариковски. — Я ведь тоже служил царю согласно старинной немецкой поговорке: «У меня в Пруссии есть любимый король».

— Да, — отвечал я, — эта поговорка оправдывает всех нас, но я, простите, всегда ценил и слова Герцена: «У меня в России есть любимый народ». Пожалуй, ради этого и сижу подле вас и не откажусь от стакана горячего чая...

Чай пили молча, как извозчики в трактире, которые все знают друг о друге. Разговор, сначала острый, казался, увял. Михаил Дмитриевич как бы между прочим спросил:

— А вы являлись на регистрацию офицеров?

— Чтобы сидеть в тюрьме? Не дурак же я!

— Документы у вас старые?

— Новейшие, — не скрывал я, тут же предъявив их. — Сами понимаете, что пришлось побыть в амблуда карманника.

— Догадываюсь. Значит, хорошо вас учили, если не забыли прежних уроков. Но если вы ждете от

меня отличных рекомендаций, то я, милостивый государь, воздержусь.

Это меня просто ошарашило:

— Как? Разве вы знаете меня с дурной стороны?

— Напротив, с хорошей стороны. Но вы не первый, кто появился в моем вагоне, клятвенно заверяя в том, что согласен верой и правдой служить любимой советской власти.

— И...?

— И, к сожалению, получив паек, обновив себя внешне, вынюхивали наши штабные планы, после чего бежали на юг — к Каледину! А я, старый дурак, еще просил за них у Подвойского, сам нахваливал их перед Лениным, что нельзя бросаться такими драгоценными кадрами. С другой же стороны, — договорил Бонч-Бруевич, — от бывших коллег многого и не жду. Их столько трепали в разных исполкомах, столько издевались над ними в различных «чрезвычайках», что у них психика давно сдвинулась набекрень, а обид накопилось выше козырька фуражки.

Мне понравилось, что Михаил Дмитриевич не вставал горою на защиту благородства советской власти, которая третировала нас, бывших офицеров, а сумрачно признался, что он, Бонч-Бруевич, несмотря на свой богатый опыт контрразведчика, никогда не может поручиться за своих бывших коллег.

— Понимаю, — отвечал я с искренним вздохом...

Неожиданно раздалось близкое пыхтение паровоза, звонко громыкнули буксы сцепления, и тут Бонч-Бруевич удивился.

— Что-то новенькое, — сказал он. — Хоть бы предупредили с вечера. Еще завезут куда-нибудь в лес за Вырицу и в лучшем случае отпустят в одних кальсонах. Вы, кстати, при оружии?

— Конечно.

— Ловкий вы человек, как я посмотрю, — весело рассмеялся Бонч-Бруевич. — Документы у вас бухгалтера с Путиловского завода. Выбриты как следует. И даже при оружии.

— Так давайте решать, — настоял я. — У меня немалый опыт агентурной работы, и вы сами знаете, что генеральские лампы я добыл не поклонами в министерских передних. Я человек чести, и, если дал слово русскому офицера, я не подведу вас. Поверьте, не ради жирного пайка и не ради новых штанов я пришел к вам. А вы... вы боитесь поручиться за меня?

Бонч-Бруевич что-то слишком долго обдумывал. Потом извлек из своих бумаг фотографию немецкого генерала с очень гордым и очень злым лицом хитрейшего и всезнающего сатира.

— Поручусь! А вам знаком этот умник?

— Да. Это генерал Макс Гоффман, хорошо памятный по разгрому армии Самсонова, и, как я слышал, он сделал отличную карьеру, став начальником штаба всего Восточного фронта.

— Мало того, — добавил Бонч-Бруевич, — этот громила ныне возглавляет германскую делегацию по мирным переговорам в Бресте, а полковник Влади-

мир Евстафьевич Скалон, наш военный представитель в Бресте, застрелился, очевидно, не выдержав остроумных издевок со стороны этого Гоффмана...¹ Вы не согласились бы заменить покойного Скалона в Бресте?

— Я бы на месте Скалона стрелял не в себя.

— Но и в Гоффмана стрелять тоже нельзя...

Во время этой беседы наш вагон ни с того ни с этого вдруг сильно дернулся, сцепленный с паровозом, и нас, двух генералов, медленно повлекло во тьму ночи, как в бездну.

— Интересно, куда мы поехали? — насторожился я. — Впрочем, я готов через угольный тендер проникнуть в будку машиниста, чтобы узнать о его намерениях...

Бонч-Бруевич откинул одеяло на своей постели:

— Не стоит! Вообще-то, милейший коллега, я не ожидал вас увидеть сегодня, вы сами пожаловали. Так потрудитесь разделить со мною все тяготы и приятности нашего путешествия.

— Но... куда? — снова спросил я.

Паровоз быстро набирал ход, под вагоном железно прогрохотал мост через Обводный канал, а скорость увеличивалась.

— Не советую прыгать на ходу, — заметил Бонч-Бруевич. — Все русские дороги теперь кончаются в Москве, куда скоро переберется и правительство, а посему именно в Москве мы договорим до конца. И нет в природе такого соловья, который бы умер, прежде не завершив своей прекрасной арии...

Укладываясь спать, я вдруг расхохотался.

— Что вас так сильно развеселило?

— Простите, Михаил Дмитриевич, но я нечаянно вспомнил, что ваш вагон называли «генеральской лувушкой».

— Вот вы и попались в нее... Спокойной ночи!

Он оказался прав. Впервые за все эти долгие и кошмарные дни я провел спокойную и благотворную ночь.

ПОСТСКРИПТУМ ПОСЛЕДНИЙ

В конце этой книги мне очень не хватало... конца!

Первая часть романа уже была опубликована в одном из журналов, и до меня дошли слухи, что сербы восприняли роман благожелательно. Но самое я еще долго страдал в трагическом неведении: финал судьбы моего героя оставался загадкой. Так бывает в истории, что дату рождения человека обнаружить подчас гораздо легче, нежели отыскать его могилу, дабы установить год смерти. Я мог лишь догадываться, что конец жизни автора записок следует, очевидно, искать в тех майских днях 1944 года, когда немцы предприняли в Югославии самое мощ-

¹ В. Е. Скалон (1872—1917) — полковник Генштаба, по матери потомок знаменитого Леонарда Эйлера, родственник композитора С. В. Рахманинова; служил в русской разведке, считался отчаянным монархистом; как офицер всегда имел безупречную репутацию. Впрочем, существует версия, будто Скалон покончил с собой, узнав об измене любимой жены.

ное наступление против народной армии маршала Тито.

Но все-таки где же мне раздобыть истину? Обращаться за справкой в компетентные органы я не мог (и даже не хотел) по той простой причине, что меня бы там сразу спросили:

— Позвольте, откуда вы знаете этого человека?

А мне совсем не хотелось разоблачать тайну его записок, которые достались мне совершенно случайно от неизвестной женщины. Стоп! Кажется, именно с нее, именно с этой женщины и следует начинать... Я навестил своего приятеля, в доме которого мне однажды встретилась скромная дама с муфтой. Правда, с той поры миновало много лет, и потому я с большой неуверенностью спрашивал приятеля — помнит ли он тот давний вечер и кто была эта дама?

— Какая? Их было немало тогда на вечеринке.

— Ну, вот та самая, что не вынимала рук из муфты, как будто в муфте было спрятано ее самое дорогое.

— Постой, постой... я что-то припоминаю, — сказал приятель. — Да, среди моих гостей была немка.

— Немка? — удивился я.

— А что тут такого? Кажется, она русская уроженка, но потом выехала в ГДР на постоянное жительство.

— Это все, что ты о ней знаешь?

— А зачем тебе знать больше? Вряд ли эта женщина может добавить что-либо существенное к тому, что уже сказано в подаренной ею рукописи. Довольствуйся тем, что имеешь.

— Пожалуй, ты прав, — был вынужден согласиться я. — Но пойми и меня тоже: я никогда не умел писать окончания своих романов. А теперь мне как раз и не хватает удара в литавры, дабы завершить симфонию жизни человека.

— Сочувствую, но, увы, помочь ничем не могу. Выкручивайся сам как знаешь. За это ты и гонорары получаешь...

Роман давался мне с большим трудом, почти в муках. Инсульт и два инфаркта — это и был мой гонорар, полученный при написании книги. Шли годы. Я изымал из рукописи обширные куски, полагая, что их содержание не столь уж важно сегодня, и, наоборот, вставлял свои обширные комментарии, считая, что они крайне необходимы моему современнику. Во всех сомнительных случаях, возникающих в азарте работы, я привык советоваться с женою, самым беспристрастным критиком, и на этот раз, душевно вникнув в мои сомнения, она сказала:

— Стоит ли долго мучиться? Оставь все как есть, а читатель сам додумает судьбу твоего анонимного героя...

Прошло еще какое-то время, работа была мною отложена — не хватало конца! Но вот однажды (как в хорошем романе) с лестницы раздался протяжный звонок, и он показался мне неожиданно роковым, ибо время было уже позднее. Жена вернулась из прихожей, сообщив, что со мною желает ви-

даться какая-то женщина, назвавшаяся Анной Фрицевной.

— Говорит — по делу. Ты ей нужен.

— Да не знаю я никакой Анны, тем более — Фрицевны.

— Но она утверждает, что ты ей достаточно известен. Мало того, ей желательно вручить тебе какой-то подарок...

В моем кабинете появилась незнакомая пожилая дама, еще по-девичьи стройная, и, словно не замечая меня, сначала долгим взором обвела длинные стеллажи моей библиотеки.

— Садитесь, пожалуйста, — предложил я.

— Благодарю. Вы меня, кажется, не узнали.

— Признаться, нет... не узнал!

Но, взглядевшись в ее лицо, я вдруг вспомнил эту женщину, когда она была гораздо моложе. Правда, теперь она вместо муфты имела при себе обычную дамскую сумочку. По запискам своего героя я догадался, что судьба сама послала мне его приемную дочь, и тут многое прояснилось.

— Значит, это были вы... именно вы!

— Я. И опять я. Снова я.

— А сейчас проживаете в Германии... так?

— Так. Уже много лет я читаю лекции по истории русской литературы. Нередко навещаю свою родину, вот и сейчас приехала повидать сестру Грету, живущую в Казахстане, где осело немало немцев из бывшей республики немцев Поволжья. По дороге домой я решила напомнить вам о себе.

— Очевидно, для этого у вас есть какие-то причины?

— Причины имеются... Я прочла первую часть записок моего отчима, которые вы опубликовали под видом романа.

— Насколько я понял, эти записки и достались вам по наследству от отчима, имени которого мы не упоминаем.

— И вы, — ответила она, — хорошо поступили, что не стали придумывать ему фамилию, ибо это не столь важно, а важны лишь те события, в которых он участвовал.

— А если я вас немножко пошантажирую? — спросил я.

— Попробуйте, — согласилась гостя.

На клочке бумаги я четко вывел фамилию героя и придвинул к Анне Фрицевне, чтобы она прочитала.

— Все верно, — не удивилась она. — Но я уже заметила на полках вашей библиотеки и «Бархатную Книгу», из которой вы сделали правильный вывод... Впрочем, это просто случайность, что я и моя сестра Грета не стали носить именно эту русскую фамилию, ибо отчим хотел нас даже удочерить.

— Наверное, перед самым отлетом в Бари?

— Да, в России удобнее жить под русской фамилией, и он сам отлично понимал это...

Я кивнул, охотно соглашаясь с нею:

— Мне известно, каково пришлось страдать немцам, когда они покидали свое Поволжье. Но вряд ли, — сказал я, — вы можете быть абсолютно уверены в своем немецком происхождении. При импе-

ратрице Екатерине близ Саратова расселяли чехов, голландцев, швейцарцев, наконец, и малую толлику немцев, а уж потом — при общей нашей безграмотности — всех потомков степных колонистов стали называть одинаково «немцами».

Анна Фрицевна невесело посмеялась:

— Вы правы. Вопрос запутанный. Но в сорок первом не разбирались, откуда вышли на Русь наши пращуры, чтобы осваивать приволжские пустоши, где тогда скакали неисчислимые стада диких кобылиц и тарпанов. Выслали всех подряд, а мы тогда с мамой и сестренкой натерпелись всякого горя...

Жена сама догадалась, что моя беседа с Анной Фрицевной будет долгой и, наверное, для меня даже необходимой, ибо на столе появился чай. Но Анна Фрицевна вдруг стала озабоченно поглядывать на часы:

— Спасибо, но мне засиживаться у вас нельзя. Сегодня же ночным самолетом я должна вернуться в Берлин, а потому извините, если сразу перейду к делу, ради которого явилась...

Она потянулась к сумочке, на которую я давно уже поглядывал с крайним любопытством, словно из нее — как когда-то из муфты! — вдруг явится нечто такое, что сразу разрешит все мои сомнения. Первая мысль была слишком наивна: мне казалось, Анна Фрицевна подарит фотографию героя, о котором известно лишь то, что он имел профиль Наполеона... Я даже сказал:

— Знали бы вы, как трудно писать о человеке, никогда не видя его лица. Я представляю его себе, но я не вижу его.

Анна Фрицевна поглядела на меня почти с испугом:

— Его лица вы никогда и не увидите. Я привезла вам совсем другое... такое, что вряд ли доставит вам удовольствие.

1944 год стал годом наших побед, но в этом году положение НОАЮ маршала Тито сделалось трагическим. Партизаны отступали, их армия, расчлененная на части, всюду сражалась в окружении врагов, НОАЮ выдерживала последний — седьмой! — натиск гитлеровцев, которые откатывались из Греции, партизаны отбивались от озверевших банд усташей-четников. На едва приметный свет партизанских костров летели по ночам самолеты — наши и американские, взлетавшие с итальянских аэродромов. Образовался воздушный «мост», пронизанный струями огня зениток и острыми, почти режущими глаза лучами прожекторов противника.

Страшно вспоминать то время, когда в диких балканских ущельях гневно звучал славянский гимн «Гей, славяне!», и ведь даже умирающие, уходя из жизни, шепотом допевали «Мы стоим постојано као клисурије» (Мы стоим непоколебимо, как утесы)...

Москва слала братьям-славянам военные грузы, медикаменты и одежду, в горах Черногории и Македонии работали наши врачи и офицеры связи; перегруженные самолеты садились на гибельных «пятках» — между горных ущелий, заканчивая раз-

бег над обрывами в пропасти, они торопились вывалить груз и вывезти раненых из кольца окружения. Пилотам в их кабинах уже виделись слепящие фары немецких танков; наши асы взлетали при погашенных фарах, доверяясь лишь своему опыту да вздрагивающим, словно от ужаса, стрелкам приборов. Партизаны встречали русских возгласами «Живео руски войници!», а провожали словами «Живео Црвена Армия!». Одна сербская старуха босиком по снегу пришла издалека, чтобы перед смертью повидать русских. Увидев же их, она пала ниц, как перед святою божницей, и длинными седыми волосами, сама рыдающая, желала обтереть от пыли сапоги наших воинов... Я не выдумываю — так было!

Щелкнули замки дамской сумочки. Я терпеливо выжидал, и Анна Фрицевна выложила передо мною большую фотографию.

— Что это? — поразился я, разглядывая мрачный, почти зловещий пейзаж лесистого ущелья, через которое был перекинут акведук, а среди камней бродили людские тени.

— Купрешково Поле... так называется проклятое место в окрестностях Дрвара. Вы слышали о трагедии этого города?

— Да. Прямо на крыши и сады Дрвара немцы сбросили десант парашютистов СС, чтобы схватить маршала Тито и весь его штаб. Именно тогда наши летчики срочно прилетели из Бари, маршал с его штабом был вывезен на островок Вис, после чего и состоялся его визит в Москву.

— Это все в самых общих чертах, — сказала Анна Фрицевна. — Но подробности дрварских боев гораздо ужаснее, нежели вы о них начитаны... Я оставляю вам эту страшную фотографию.

— Откуда она у вас?

— Ее прислали мне из Югославии местные ветераны. В этой мрачной котловине — уже после войны! — похоронены многие из партизан, прикрывавших отход армии. Нет, это не могила вашего героя! Это лишь панорама братской могилы на том поле битвы, где нашел свой конец и ваш безымянный герой.

Фотография наводила страх, какого я давно не испытывал.

Мы долго молчали, и наше молчание понятно.

— Подробности сохранились? — наконец спросил я.

— Они таковы, что знать их тяжело. Но вам, как писателю, знать их обязательно надо...

Как и следовало ожидать, мой герой остался среди окруженных партизан, а самолет, прилетевший из Бари, чтобы забрать раненых, мог принять не более 21 человека.

— Я догадываюсь, что двадцать второму, имен-

но герою моей книги, не хватило места в фюзеляже этого последнего «дугласа». Наверное, потому он и остался здесь... именно на этом Поле!

— Вы ошиблись, — поправила меня женщина. — Транспортный «дуглас» имел гарантию фирмы на двадцать одного пассажира, но забрал... не поверите! Он забрал даже ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО, перегруженный до такой степени, что люди в его фюзеляже лежали друг на друге. Но в нем не хватало места для тридцать третьего. Вы меня поняли?

— Не совсем. Объясните, пожалуйста...

Бой тогда шел почти рядом с самолетом, летчик даже не выключал моторов, и самолет прокручивал лопасти пропеллеров, чтобы сразу оторваться от земли. Посадка проходила под жестоким обстрелом. Кажется, наш пилот презрел все гарантии фирмы, готовый совершить почти чудо...

— А конец истории очень прост, — сказала Анна Фрицевна. — Пилот был предупрежден, что заодно с партизанами необходимо вывезти в Бари и моего отчима, он часто выкрикивал его фамилию, звал, звал, но тот... не отзывался. Он просто взял автомат и занял место в бою. «Дуглас», приняв тридцать два человека, так и улетел — без него.

— Почему?

— Свое место в самолете он оставил молодой сербской партизанке, на руках у которой был грудной ребенок.

— А дальше?

Мой вопрос был попросту неуместен.

Дальше могла быть только смерть в неравном бою.

Уступив свое место в самолете, чтобы сохранить жизнь сербской матери, он нашел место в сражении, а для него нашли место в братской могиле...

Вот она, эта могила! Югославия до наших дней сберегла древние сербские обычаи, и сюда в начале вечерних сумерек всегда приходит старая женщина, одетая во все черное.

Она и есть олицетворение нашей всеобщей славянской матери.

Каждый вечер, уже согбенная, она доликает масло в неугасимую лампаду, кладет поверх могилы свежие ароматные розы.

— Лако ночи! — желает она всем усопшим, и я, глядя на эту фотографию, вдруг невольно подумал, что, может быть, сербская старуха и есть та самая женщина, для которой уступил свое место в самолете герой моего романа.

Мне хотелось рыдать — это конец романа:

Как хороши, как свежи будут розы,
Моей стравой мне брошенные в гроб...

Кажется, я сказал все, что знал.

Прощайте. Честь имею!

«ЕЩЕ ЛУЧШЕ БЫТЬ РУССКИМ»

Если угодно, в этой авторской ремарке ось замечательного романа Валентина Пикуля, повествующего о связи времен — о периоде, который по уместной сентенции У. Черчилля вошел в историю как «европейская тридцатилетняя война». Исходя из различных посылок русский, советский писатель и маститый британский государственный деятель в разное время пришли к однозначному выводу относительно 1914—1945 гг. в европейской, да, пожалуй, и мировой истории. Этот хронологический отрезок времени обрамляют две великие войны, в которых судьбы цивилизации в конечном счете зависели от нашей страны.

Валентин Пикуль ведет параллельное изложение, рассказ о жизни и свершениях героя в 1914—1918 гг. перебивается эпизодами, относящимися к концу тридцатых годов, и особенно отсылками к временам второй мировой войны. «Прошлое», — заметил писатель, — имеет привычку как бы перекликаться с будущим — это даже закономерно». Содержание романа — блестящее доказательство плодотворности творческого подхода к истории «европейской тридцатилетней войны». Надо думать, пионерские усилия Пикуля в области литературы неизбежно будут иметь последствия в исторической литературе. Образно говоря, моряк, каким на всю жизнь остался писатель, начертал подробную лоцию для тех, кто пройдет по маршрутам обеих войн. Мне, историку, занимавшемуся историей и первой и второй, это самоочевидно. Как я всецело разделяю подход и методологию романиста, судите сами.

Когда Германия в 1940—1941 гг. готовилась к нападению на Советский Союз, немецкие генералы обратились к опыту прежних войн против нашей страны. Позже, после разгрома гитлеровской Германии, в своих воспоминаниях, они проклинали непонятное легкомыслие, с которым вермахт 22 июня 1941 г. отправился в поход на Восток. Крупный военачальник, теоретик и практик танковой войны Гудериан в своих «Воспоминаниях солдата» воспроизводит первое впечатление от плана «Барбаросса»: «То, что я считал невозможным, должно претвориться в действительность?.. Зима и весна 1941 года были для меня кошмаром. Новое изучение походов шведского короля Карла XII и Наполеона I показало все трудности этого театра военных действий».

Но перед мысленным взором Гудериана все же вставала больше всего первая мировая война, военные действия «на два фронта», к чему, по его мнению, Германия Гитлера была менее подготовлена, чем Германия 1914 г. Гудериан, прошедший войну 1914—1918 гг. на Западе, все же знал о Восточном фронте понаслышке, иное дело те германские генералы, которые воевали с русскими. «В эти месяцы создалась весьма странная атмосфера, — припоминал генерал Г. Блюментрит, в 1941 г. начальник штаба 4-й немецкой армии. — Прежде всего мы себе ясно представляли, что повлечет за собой новая война. В мировую войну многие из нас еще младшими офицерами воевали в России, и поэтому мы знали, что ожидает нас. Среди офицеров чувствовалось какое-то беспокойство, неуверенность... Я приведу малоизвестный, но знаменательный факт: наши потери на Восточном фронте были значительно больше потерь, понесенных на Западном фронте с 1914 года по 1918 год... Русская армия отличалась замечательной стойкостью. Русский солдат предпочитает рукопашную схватку. Его физические потребности невелики, но способность, не дрогнув, выносить лишения вызывает истинное удивление. Таков русский солдат, которого мы узнали и к которому прониклись уважением еще четверть века назад». На что тогда надеялись в 1941 году в высших немецких штабах? В профессиональном военном исследовании, безусловно, способный историк ФРГ К. Рейнгардт «Поворот под Москвой. Крах гитлеровской стратегии зимой 1941—1942 года» в 1972 году писал: «Подготовка операции «Барбаросса» происходила в атмосфере такого оптимизма и такой уверенности в победе,

каких сегодня даже нельзя понять». Отчего же, можно, что и подчеркнул Пикуль: «От кайзера — до Гитлера! Конечно, к 1941 году многое в планах Германии изменилось, но осталось главное — вероломство нападения».

Сокрушительный разгром рейха в 1941—1945 гг. поэтому отнюдь не оказался неожиданным для тех немецких военачальников, которые знали, чем кончились вооруженные нашествия иноземцев на нашу страну в прошлом. О чем они и рассказали в послевоенных мемуарах, возродив ужас немецких военных перед Восточным фронтом 1914—1917 гг. и сожалея, что не отговорили гитлеровское руководство от пагубного похода на Восток.

Устами своего героя Пикуль еще добавляет из опыта первой мировой войны: «Германская доктрина ведения массовой войны не ошеломила нас, молодых, как она ошеломила в 1914 году старых генералов, гордившихся геройским «сидением» на Шипке».

В дополнение к сказанному Пикuleм стоит посмотреть на оценку последствий провала «плана Шлиффена». Этот план являл собой внушительное достижение стратегической мысли, которое, однако, так и не удалось претворить в жизнь. Почему? Д. Ллойд Джордж, британский премьер в годы первой мировой войны, в 1939 г. писал: «Идеалом Германии является и всегда была война, быстро доводимая до конца... В 1914 году планы были составлены точно с такой же целью, и она чуть-чуть не была достигнута, если бы не Россия... Если бы не было жертв со стороны России в 1914 году, то немецкие войска не только захватили бы Париж, но их гарнизоны по сие время находились бы в Бельгии и Франции».

Это не было преувеличением. В ходе августовского наступления русские войска при Гумбиннене разбили неприятельский корпус. При известии об этом поражении немецкое командование сняло из ударной группировки на Западе, заходившей на Париж, два корпуса и несколько дивизии, перебросив их на Восток. В результате к решающей битве на Марне в начале сентября западные союзники получили перевес в силах и отбили врага от столицы Франции.

В те дни, преисполненные тревоги и паники, в Англии и Франции широко распространялись слухи, что русские войска уже высадились в Англии. Их «видели» в Лондоне, маршировавших к вокзалам, на железнодорожных платформах в Эдинбурге, стряхивавших снег с сапог. Б. Такман, известная публицистка и историк, в книге «Августовские пушки» (1962) не без сарказма писала, что слухи о прибытии русских быстро достигли США, а в Западной Европе «нейтральные страны подхватили новость. Судя по сообщениям из Амстердама, крупные силы русских срочно перебрасываются для помощи защитникам Парижа. В Париже люди осаждали вокзалы, надеясь увидеть прибытие казаков. Перебравшись на континент, призраки превратились в военный фактор, даже до немцев дошли эти слухи. Опасения возможного появления в их тылу 70 000 русских должны были сыграть такую же роль, как и отсутствие 70 000 солдат, переброшенных Германией на Восточный фронт. И лишь после сражения на Марне, 15 сентября, в английских газетах появилось официальное опровержение этих слухов». Мир вступил в эту войну под впечатлением будущей громадной роли в ней России.

Это запомнилось надолго. В середине 30-х гг. русские эмигранты в Париже выпустили памятную брошюру, написанную А. П. Будбергом, — «Гумбиннен — забытый день русской славы», в которой подчеркивалось: «Надо признать справедливым промелькнувшее одно время в иностранной литературе выражение, что сражение на Марне, или, как его называют, «чудо на Марне», было выиграно русскими казаками. Последнее, конечно, надо отнести за счет пристрастия иностранцев к употреблению слова «русский казак», но сущность всей фразы верна. Да. Чудо на Марне было предрешиено 20 августа на поле встречи 17-го немецкого и 3-го русского корпусов».

В брошюре приводятся слова У. Черчилля, сказанные им по этому поводу в 1930 г.: «Очень немногие слышали о Гумбиннене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа. Русская контратака 3-го корпуса, тяжелые потери корпуса Маккензена вызвали в 8-й немецкой армии панику, она покинула поле сражения, оставив на нем своих убитых и раненых, она признала, что была подавлена мощью России».

20 февраля 1944 г. У. Черчилль писал И. В. Сталину: «...земля этой части Восточной Пруссии обогрета русской кровью, щедро пролитой за общее дело. Здесь русские войска, наступая в августе 1914 года и выиграв сражение под Гумбинненом и

другие битвы, своим наступлением и в ущерб собственной мобилизации заставили немцев снять два армейских корпуса, наступавших на Париж, что сыграло существенную роль в победе на Марне. Неудача под Танненбергом ни в какой степени не аннулировала этих больших успехов».

В романе умело вводятся элементы макромира в микромир героя. Написано с большим тактом и знанием исторических реалий. Да, в Восточной Пруссии наступавшая без оглядки 2-я армия генерала А. В. Самсонова потерпела тогда поражение, но этот успех дорого обошелся и Германии.

Со временем стало ясно, замечает Пикуль, «русским солдатам из армии генерала Самсонова не могло быть известно, что, сражаясь с Гинденбургом и Людендорфом, они насмерть бьются с теми самыми людьми, которые привели Гитлера к власти». И печальная эпитафия писателя к солдатам как 1914-го, так и 1944—1945 гг.: «Земля бывшей Пруссии стала землей народной Польши, но она, эта земля, не сберегла ни черепов, ни братских могил русских солдат, павших здесь в августе 1914 года»... Операции в Восточной Пруссии сковали немецкие силы. Германия не смогла оказать существенной помощи своей союзнице Австро-Венгрии, терпевшей в это время поражение от русских. Потеряв в ходе галицийской битвы (18 августа — 21 сентября 1914 г.) около 400 тыс. человек, т. е. почти половину своей армии, Австро-Венгрия так и не смогла оправиться от этого разгрома. Ее войска были отброшены к Карпатам. Осенью и ранней зимой 1914 г. русская армия провела Варшавско-Ивангородскую и Лодзинскую операции, в результате которых она вступила на земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии, и вышла на исходные позиции для вторжения в Германию. Победы русского оружия круто изменили стратегическую обстановку на обоих фронтах.

Срединные империи были вынуждены пересмотреть все свои планы. Хотя Россия в наступательных операциях 1914 г. понесла значительный урон, ее боевая мощь не была подорвана. Несмотря на неспособность ряда генералов и нередко нераспорядительность в тылу, страна перестраивалась на военный лад, для чего, разумеется, требовалось время. Этого времени в Берлине и Вене решили России не дать, перебросив в 1915 г. основные силы центральных держав на Восточный фронт. Имелось в виду разбить русскую армию, а затем обрушиться на Запад, добив союзников России. Решения эти подготовили тяжкие испытания для нашей страны и обеспечили для Франции и Англии передышку, которую они использовали для развертывания своих вооруженных сил и военной экономики.

Коль скоро Пикуль бросает своего героя в разгар войны то в плен, то на второстепенный театр войны — Балканы, имеет смысл дать хотя бы краткий обзор большой стратегии той войны. Иными словами, «вписать» сказанное писателем в своего рода историческое изыскание.

Летом 1915 г. в Париже и Лондоне в сущности только созерцали, как германские и австрийские армии, сосредоточив массу тяжелой артиллерии, пробивались на Восток. На Западном фронте в эти страшные для России месяцы в целом не проводилось сколько-нибудь значительных операций. Известный английский военный теоретик Лиддел Гарт в капитальном труде «Правда о войне 1914—1918 гг.» имел все основания заявить: в 1915 г. западные союзники «сделали мало, чтобы отплатить России за жертвы, понесенные для них последней в 1914 году». За месяцы «великого наступления» Германии летом 1915 г. русская армия потеряла еще 1410 тысяч убитыми и ранеными.

Тысячу раз прав Пикуль, когда четко формулирует: в 1915 году «австро-германцы сумели овладеть лишь небольшой частью ее (России) западных рубежей, не затронув исконно русские земли». Так сражалась русская армия. Немецкое нашествие затрагивало всю Россию. В своих мемуарах, на склоне жизни, П. Н. Милюков так вспоминает первый год войны: «По данным нашего военного ведомства, на русском фронте в начале войны стояли всего 50 пехотных и 13 кавалерийских дивизий. Постепенно переводя сюда войска с Западного фронта, австро-германцы довели в сентябре 1915 года их количество до 137 дивизий пехоты и 24 дивизий конницы. Июль и август были решающими месяцами, когда неприятельская угроза почувствовалась совсем близко. На этом страдальческом пути и я потерял дорогую мне могилу, которую никогда не пришлось увидеть. Около Холма был убит мой младший сын Сергей...»

В это время в ответ на обращения русских представителей к западным союзникам главнокомандующий на Западном фронте генерал Жоффр изрекал: «Поверьте, я

чувствую, сколь дорого обходится русскому народу эта война, но я опасюсь, что вы не в состоянии оценить значение тех потерь, которые мы сами несем. Мы теряем цвет нации». Напомним: осенью 1915 г. против Франции и Англии действовала 91 и 161 — против России.

В кабинетах держав Антанты постепенно возникла своего рода традиция — обращаться за русской помощью, чтобы выправить трудности на своих фронтах. Германское верховное командование, ошибочно оценив результаты кампании 1915 г. на Восточном фронте — Россия-де обескровлена, уже в начале 1916 г. перенесло центр усилий на Запад. В феврале завертелась «верденская мельница», немцы принялись штурмовать сильную крепость Верден. Тотчас из Франции летит отчаянная просьба в русскую ставку — помочь наступлением. Ответ России — гибельная операция в районе Деинка и озера Нарочь; она обошлась русской армии в 80 тыс. убитыми. Но у Вердена немцы временно ослабили нажим, ожидая результатов русского удара.

Наконец, знаменитое наступление Юго-Западного фронта. Его командующий генерал А. А. Брусилов тщательно изучил причину тупика в позиционной войне как на Западе, так и на Востоке. В результате разработал план наступления по всей полосе Юго-Западного фронта шириной в 340 км, выделив четыре ударных участка, каждый до 20 км. К началу операции у Брусилова было 636 тыс. против 478 тыс. человек у австрийцев. Русские также немного превосходили врага в легкой артиллерии (1770 стволов против 1301), но уступали в тяжелой (168 орудий против 545). Противник занимал очень сильные укрепленные позиции из двух — четырех полос, в каждой из которых было по две-три линии окопов. Масса узлов сопротивления, проволочные заграждения до 16 рядов кольев, местами под током, железобетонные капониры, фугасы и т. п.

Русские пробили эти укрепления. Последовало пятимесячное сражение, в ходе которого была занята территория в 25 тыс. км². Брусилов, подводя итоги грандиозной операции, указывал: за время наступления было взято в плен 450 тыс. человек, противник потерял 1500 тыс. убитыми и ранеными. Тем не менее к ноябрю 1916 г. против Юго-Западного фронта стояло свыше 1 млн. австро-германцев и даже турок. «Следовательно, помимо 450 тыс. человек, бывших в начале передо мной, против меня было перекинуто с других фронтов свыше 2 500 000 бойцов». Потери центральных держав в сражении с Юго-Западным фронтом в два раза превысили их потери на Западном фронте, в происходивших в то время боях у Вердена и на Сомме.

В целом успех «Брусиловского прорыва» не был развит. На Западе, писал Фалькенгайн, «первый выстрел на Сомме» раздался тогда, когда «опаснейший момент русского наступления был уже пережит». Не поддержали должным образом победоносные армии А. А. Брусилова и другие фронты — Западный и Северный. К победным вестям с театра военных действий примешивалась горечь: за что гибнут русские люди?

Все это было зримо, а в высшем командовании русской армии знали подоплеку. Начальник штаба Верховного главнокомандования генерал Алексеев писал русским представителям во Франции в начале 1916 г.: «За все нами получаемое они (союзники) снимут (с нас) последнюю рубашку. Это ведь не услуга, а очень выгодная сделка. Но выгоды должны быть хотя бы немного обоюдные, а не односторонние. Они нам не дают теперь необходимого». Русская армия в основном сражалась собственным оружием; так, по патронам поставки союзников составили за всю войну 1 %, по снарядам — 20 %. По сравнению с изготовленным в России импорт винтовок достиг 30 %, по орудиям — 23 %. Как правило, это было устаревшее вооружение. В народе, конечно, не могли знать этого, но понимали — Запад ведет войну русской кровью. Самодержавие представляло врагом национальных интересов, в этом сходились все противники царизма, независимо от партийной принадлежности. Все громче звучали голоса поконтить не только с самодержавием, но и с участием в войне. Когда в феврале 1917 г. царизм пал, борьбу за выход из войны возглавила партия большевиков. В этом она нашла широчайшую народную поддержку.

Видя, что в России все выше поднимается волна настроений за выход из войны, американские корреспонденты из агентства «Ассошиэйтед Пресс» глубокой осенью 1917 г. обратились к А. Ф. Керенскому с просьбой объяснить происходившее. «Вспомните только недавнее прошлое, — говорил он. — Россия начала войну ради союзников. В то время как она уже сражалась, Англия только готовилась к войне, а Америка была простым наблюдателем. Россия с самого начала войны приняла на себя главные удары противника... спасая Францию и Англию от катастрофы. Она обессилела от пе-

ренапряжения и считает себя вправе требовать, чтобы союзники взяли на себя бремя войны».

Очень запоздалый призыв! Американский генерал В. Грэвс (возглавивший интервенцию США в Сибирь в 1918—1920 гг.) написал по поводу обращения Керенского: «Это интервью имело место за шесть дней до Октябрьской (большевистской) революции». Не маниловщина Керенского и К^о в отношении западных союзников, а воля большевиков положила тогда предел использованию нашей страны в интересах Запада.

На этом рубеже Пикуль довольно резко меняет манеру изложения, вместо детального изложения много чаще переходит к широким обобщениям.

В Великую Отечественную была довершена задача, которую бросили победители в войне 1914—1918 гг. — был добит германский милитаризм. Уничтожено осиное гнездо агрессоров — Восточная Пруссия, — с карты исчезло название Кенигсберг. В. Пикуль несколько раз напоминает, что этот город встал на месте славянского поселения Кролевец. Во второй мировой войне Объединенным Нациям победу принесли подвиги и жертвы нашего, в первую голову русского народа. Своим спасением от рабства, а оно было запланировано фашистскими злодеями с размахом — «Тысячелетний рейх», мир обязан нам.

Если говорить о «сверхидее» авторского замысла романа, то я ее понимаю именно так. Избранный писателем угол зрения не может не впечатлять, а именно «любовь к отчизне, к справедливости ее народных заветов». Для русского это вечные и нетленные истины, которые последовательно отстаивает Валентин Пикуль в своих произведениях. И не он один в нашей стране.

Николай Яковлев

Валентин Саввич Пикуль

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

Роман

Редактор *И. Вигитнева*
Художественный редактор *А. Орлов*
Корректоры *Л. Волкова* и *И. Ломакова*

© Иллюстрации художника *Б. Косильникова*
Технический редактор *А. Кашафутдинова*

Сдано в набор 19.03.90. Подписано в печать 21.05.90. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 16,11. Тираж 3.426.000 экз. (1-й завод 1—2.676.000 экз.). Заказ 588. Цена 1 р. 42 к.
Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета по печати 142300, г. Чехов Московской области.

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.



СТРАНИЧКА
ЧИТАТЕЛЯ

В № 24 «Роман-газеты» за 1989 год был опубликован сборник произведений Б. Екимова «Пастушья звезда». В редакцию пришло много читательских откликов, хотим познакомить с некоторыми из них.

«На одном дыхании прочитала «Пастушью звезду» Б. Екимова. Это лучшее произведение года! Какой народный язык! Какие образы людей — мудрых, добрых, трудяг! И сколько юмора и слез — словом, все из жизни. Как жаль, что я раньше не читала произведения Б. Екимова...

Атапина В. Н.
г. Тула».

«Я открыл для себя прекрасного писателя — Бориса Петровича Екимова. Благодарю вас за эту публикацию. Передайте Борису Петровичу мое искреннее пожелание здоровья.

Иванов В.
Калужская область».

«Дорогая редакция, говорю вам большое спасибо за то, что вы опубликовали повести Бориса Екимова. Прочитала с большим удовольствием, спасибо ему. Читаю вслух — как будто пою хорошую песню...

Евстигнеева Т. П.,
Ворошиловградская область».

«Из всех произведений, опубликованных в вашем журнале в прошлом году, больше всего мне пришлось по душе повести Бориса Екимова: и «Пастушья звезда», и «Путевка на юг», и «Ночь проходит», и особенно «За теплым хлебом». Все правдиво, все высокохудожественно. Спасибо, что познакомили с великолепным художником.

Крисько В. И.
г. Солигорск».

«Рассказы Б. Екимова — это светлое и теплое чувство далекого детства. Когда их читаешь, возникает какое-то доброе чувство к людям, и уже не толкнешь в автобусе человека, подашь руку старику, не обидишься на резкость молодежи. Атмосфера доброго, человеческого долго хранит душу от зла.

Гримова И. И.
Черкасская область».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ, Витаутас БУБНИС, Олесь ГОНЧАР, Геннадий ГОЦ, Даниил ГРАНИН, Юрий ГРИБОВ, Владимир ДУДИНЦЕВ, Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь), Сергей ЗАЛЫГИН, Феликс КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора), Василий НОВИКОВ, Евгений НОСОВ, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Леонид ФРОЛОВ.

РОМАН-14 ГАЗЕТА

B

В пятнадцатом и шестнадцатом
номерах «Роман-газета»
читайте роман

ЮЛИАНА СЕМЕНОВА
«ЭКСПАНСИЯ», книга третья.

